

А. СОЛЖЕНИЦЫН – ПУБЛИЦИСТИКА

А. СОЛЖЕНИЦЫН

# ПУБЛИЦИСТИКА

**АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН**

# **ПУБЛИЦИСТИКА**

**СТАТЬИ И РЕЧИ**

**Вермонт • Париж**

**YMCA-PRESS**

**11, rue de la Montagne-Ste-Geneviève, 75005 Paris**

**1989**

**Воспроизводится по изданию Собрания Сочинений (т.9 и т.10),  
Имка-Пресс, 1981-1983.**

**ISBN 2-85065-160-5**

**World © Aleksandr Solzhenitsyn 1981-1983**

## НОБЕЛЕВСКАЯ ЛЕКЦИЯ

### 1

Как тот дикарь, в недоумении подобравший странный выброс ли океана? захоронок песков? или с неба упавший непонятный предмет? — замысловатый в изгибах, отблескивающий то смутно, то ярким ударом луча, — вертит его так и сяк, вертит, ищет, как приспособить к делу, ищет ему доступной низшей службы, никак не догадываясь о высшей.

Так и мы, держа в руках Искусство, самоуверенно почитаем себя хозяевами его, смело его направляем, обновляем, реформируем, манифестируем, продаём за деньги, угождаем сильным, обращаем то для развлечения — до эстрадных песенок и ночного бара, то — затычкой или палкою, как схватишь, — для политических мимобежных нужд, для ограниченных социальных. А искусство — не оскверняется нашими попытками, не теряет на том своего происхождения, всякий раз и во всяком употреблении уделяя нам часть своего тайного внутреннего света.

Но охватим ли весь тот свет? Кто осмелится сказать, что *определил* Искусство? перечислил все стороны его? А может быть уже и понимал, и называл нам в прошлые века, но мы не долго могли на том застояться: мы послушали, и пренебрегли, и откинули тут же, как всегда спеша сменить хоть и самое лучшее — а только бы на новое! И когда снова нам скажут старое, мы уже и не вспомним, что это у нас было.

Один художник мнит себя творцом независимого духовного мира, и взваливает на свои плечи акт творения этого мира, населения его, объемлющей ответственности за него, — но подламывается, ибо нагрузки такой не способен выдержать смертный гений; как и вообще человек, объявивший себя центром бытия, не сумел создать уравновешенной духовной системы. И если овладевает им неуда-



ча, — валят её на извечную дисгармоничность мира, на сложность современной разорванной души или непонятливость публики.

Другой — знает над собой силу высшую и радостно работает маленьким подмастерьем под небом Бога, хотя ещё строже его ответственность за всё написанное, нарисованное, за воспринимающие души. Зато: не им этот мир создан, не им управляется, нет сомнений в его основах, художнику дано лишь острее других ощутить гармонию мира, красоту и безобразие человеческого вклада в него — и остро передать это людям. И в неудачах и даже на дне существования — в нищете, в тюрьме, в болезнях, ощущение устойчивой гармонии не может покинуть его.

Однако вся иррациональность искусства, его ослепительные извивы, непредсказуемые находки, его сотрясающее воздействие на людей, — слишком волшебны, чтоб исчерпать их мировоззрением художника, замыслом его или работой его недостойных пальцев.

Археологи не обнаруживают таких ранних стадий человеческого существования, когда бы не было у нас искусства. Ещё в предутренних сумерках человечества мы получили его из Рук, которых не успели разглядеть. И не успели спросить: за чем нам этот дар? как обращаться с ним?

И ошибались, и ошибутся все предсказатели, что искусство разложится, изживёт свои формы, умрёт. Умрём — мы, а оно — останется. И ещё поймём ли мы до нашей гибели все стороны и все назначения его?

Не всё — называется. Иное влечёт дальше слов. Искусство растепляет даже захлавленную, затемнённую душу к высокому духовному опыту. Посредством искусства иногда посылаются нам, смутно, коротко, — такие откровения, каких не выработать рассудочному мышлению.

Как то маленькое зеркальце сказок: в него глянешь и увидишь — не себя, — увидишь на миг Недоступное, куда не доскакать, не долететь. И только душа занывает...

## 2

Достоевский загадочно обронил однажды: „Мир спасёт красота“. Что это? Мне долго казалось — просто фра-

за. Как бы это возможно? Когда в кроважадной истории, кого и от чего спасала красота? Облагораживала, возвышала — да, но кого спасла?

Однако есть такая особенность в сути красоты, особенность в положении искусства: убедительность истинно-художественного произведения совершенно неопровержима и подчиняет себе даже противящееся сердце. Политическую речь, напористую публицистику, программу социальной жизни, философскую систему можно по видимости построить гладко, стройно и на ошибке, и на лжи; и что скрыто, и что искажено — увидится не сразу. А выйдет на спор противонаправленная речь, публицистика, программа, иноструктурная философия, — и всё опять так же стройно и гладко, и опять сошлось. Оттого доверие к ним есть — и доверия нет.

Попусту твердится, что к сердцу не ложится.

Произведение же художественное свою проверку несёт само в себе: концепции придуманные, натянутые, не выдерживают испытания на образах: разваливаются и те и другие, оказываются хилы, бледны, никого не убеждают. Произведения же, зачерпнувшие истины и представившие нам её сгущённо-живой, захватывают нас, приобщают к себе властно, — и никто, никогда, даже через века, не явится их опровергать.

Так может быть это старое триединство Истины, Добра и Красоты — не просто парадная обветшавшая формула, как казалось нам в пору нашей самонадеянной материалистической юности? Если вершины этих трёх деревьев сходятся, как утверждали исследователи, но слишком явные, слишком прямые поросли Истины и Добра задавлены, срублены, не пропускаются, — то может быть причудливые, непредсказуемые, неожиданные поросли Красоты пробьются и взвоятся *в то же самое место*, и так выполнят работу за всех трёх?

И тогда не обмолвкой, но пророчеством написано у Достоевского: „Мир спасёт красота”? Ведь ему дано было многое видеть, озаряло его удивительно.

И тогда искусство, литература могут на деле помочь сегодняшнему миру?

То немногое, что удалось мне с годами в этой задаче разглядеть, я и попытаюсь изложить сегодня здесь.

На эту кафедру, с которой прочитывается Нобелевская лекция, кафедру, предоставляемую далеко не всякому писателю и только раз в жизни, я поднялся не по трём-четырёх примощённым ступенькам, но по сотням или даже тысячам их — неуступным, обрывистым, обмёрзлым, из тьмы и холода, где было мне суждено уцелеть, а другие — может быть с бóльшим даром, сильнее меня, — погибли. Из них лишь некоторых встречал я сам на Архипелаге ГУЛаге, рассыпанном на дробное множество островов, да под жерновом слежки и недоверия не со всяким разговаривался, об иных только слышал, о третьих только догадывался. Те, кто канул в ту пропасть уже с литературным именем, хотя бы известны, — но сколько не узанных, ни разу публично не названных! и почти-почти никому не удалось вернуться. Целая национальная литература осталась там, погребённая не только без гроба, но даже без нижнего белья, голая, с биркой на пальце ноги. Ни на миг не прерывалась русская литература! — а со стороны казалась пустынею. Где мог бы расти дружный лес, осталось после всех лесоповалов два-три случайно обойденных дерева.

И мне сегодня, сопровождаённому тенями павших, и со склонённой головой пропуская вперёд себя на это место других, достойных ранее, мне сегодня — как угадать и выразить, что хотели бы сказать они?

Эта обязанность давно тяготела на нас, и мы её понимали. Словами Владимира Соловьёва:

Но и в цепях должны свершить мы сами  
Тот круг, что боги очертили нам.

В томительных лагерных переброях, в колонне заключённых, во мгле вечерних морозов с просвечивающими цепочками фонарей — не раз подступало нам в горло, что хотелось бы выкрикнуть на целый мир, если бы мир мог слышать кого-нибудь из нас. Тогда казалось это очень ясно: что скажет наш удачливый посланец — и как сразу отзывно откликнется мир. Отчётливо был наполнен наш кругозор и телесными предметами и душевными дви-

женьями, и в недвоящемся мире им не виделось перевеса. Те мысли пришли не из книг и не заимствованы для складности: в тюремных камерах и у лесных костров они сложились в разговорах с людьми, теперь умершими, тою жизнью проверены, оттуда выросли.

Когда ж ослабилось внешнее давление — расширился мой и наш кругозор, и постепенно, хотя бы в щёлочку, увиделся и узнался тот „весь мир”. И поразительно для нас оказался „весь мир” совсем не таким, как мы ожидали, как мы надеялись: „не тем” живущий, „не туда” идущий, на болотную топь восклицающий: „Что за очаровательная лужайка!”, на бетонные шейные колодки: „Какое утончённое ожерелье!”, а где катятся у одних неотирные слёзы, там другие приплясывают беспечному мьюзикалу.

Как же это случилось? Отчего же зинула эта пропасть? Бесчувственны были мы? Бесчувственен ли мир? Или это — от разницы языков? Отчего не всякую внятную речь люди способны расслышать друг от друга? Слова отзвучивают и утекают как вода — без вкуса, без цвета, без запаха. Без следа.

По мере того, как я это понимал, менялся и менялся с годами состав, смысл и тон моей возможной речи. Моей сегодняшней речи.

И уже мало она похожа на ту, первоначально задуманную в морозные лагерные вечера.

#### 4

Человек извечно устроен так, что его мировоззрение, когда оно не внушено гипнозом, его мотивировки и шкала оценок, его действия и намерения определяются его личным и групповым жизненным опытом. Как говорит русская пословица: „Не верь брату родному, верь своему глазу кривому”. И это — самая здоровая основа для понимания окружающего и поведения в нём. И долгие века, пока наш мир был глухо загадочно раскинут, пока не пронизался он едиными линиями связи, не обратился в единый судорожно бьющийся ком, — люди безошибочно руководились своим жизненным опытом в своей ограниченной местности, в своей общине, в своём обществе, нако-

нец и на своей национальной территории. Тогда была возможность отдельным человеческим глазам видеть и принимать некую общую шкалу оценок: что признаётся средним, что невероятным; что жестоким, что за гранью злодейства; что честностью, что обманом. И хотя очень поразному жили разбросанные народы, и шкалы их общественных оценок могли разительно не совпадать, как не совпадали их системы мер, эти расхождения удивляли только редких путешественников, да попадали диковинками в журналы, не неся никакой опасности человечеству, ещё не единому.

Но вот за последние десятилетия человечество незаметно, внезапно стало единым — обнадёжно единым и опасно единым, так что сотрясения и воспаления одной его части почти мгновенно передаются другим, иногда не имеющим к тому никакого иммунитета. Человечество стало единым, — но не так, как прежде бывали устойчиво едиными община или даже нация: не через постепенный жизненный опыт, не через собственный *глаз*, добродушно названный кривым, даже не через родной понятный язык, — а, поверх всех барьеров, через международное радио и печать. На нас валит накат событий, полмира в одну минуту узнаёт об их выплеске, но мерок — измерять те события и оценивать по законам неизвестных нам частей мира, не доносят и не могут донести по эфиру и в газетных листах: эти мерки слишком долго и особенно устаивались и усваивались в особой жизни отдельных стран и обществ, они не переносимы налету. В разных краях к событиям прикладывают собственную, выстраданную шкалу оценок — и неуступчиво, самоуверенно судят только по своей шкале, а не по какой чужой.

И таких разных шкал в мире если не множество, то во всяком случае несколько: шкала для ближних событий и шкала для дальних; шкала старых обществ и шкала молодых; шкала благополучных и неблагополучных. Деления шкал кричаще не совпадают, пестрят, режут нам глаза, и чтоб не было нам больно, мы отмахиваемся ото всех чужих шкал как от безумия, от заблуждения, — и весь мир уверенно судим по своей домашней шкале. Оттого кажется нам крупней, больней и невыносимей не то, что на самом деле крупней, больней и невыносимей, а то, что бли-

же к нам. Всё же дальше, не грозящее прямо сегодня докатиться до порога нашего дома, признаётся нами, со всеми его стенами, задушенными криками, погубленными жизнями, хотя б и миллионами жертв, — в общем вполне терпимым и сносных размеров.

В одной стороне под гоненьями, не уступающими древне-римским, не так давно отдали жизнь за веру в Бога сотни тысяч беззвучных христиан. В другом полушарии некий безумец (и наверно он не одинок) мчитя через океан, чтоб ударом стали в первосвященника *освободить* нас от религии! По своей шкале он так рассчитал за всех за нас!

То, что по одной шкале представляется издали завидной благоденственной свободой, то по другой шкале вблизи ощущается досадным принуждением, зовущим к переворачиванию автобусов. То, что в одном краю мечталось бы как неправдоподобное благополучие, то в другом краю возмущает как дикая эксплуатация, требующая немедленной забастовки. Разные шкалы для стихийных бедствий: наводнение в двести тысяч жертв кажется мельче нашего городского случая. Разные шкалы для оскорбления личности: где унижает даже ироническая улыбка и отстраняющее движение, где и жестокие побои простительны как неудачная шутка. Разные шкалы для наказаний, для злодеяний. По одной шкале месячный арест, или ссылка в деревню, или „карцер“, где кормят белыми булочками да молоком, — потрясают воображение, заливают газетные полосы гневом. А по другой шкале привычны и прощены — и тюремные сроки по двадцать пять лет, и карцеры, где на стенах лёд, но раздевают до белья, и сумасшедшие дома для здоровых, и пограничные расстрелы бесчисленных неразумных, всё почему-то куда-то бегущих людей. А особенно спокойно сердце за тот экзотический край, о котором и вовсе ничего не известно, откуда и события до нас не доходят никакие, а только поздние плоские догадки малочисленных корреспондентов.

И за это двоенье, за это остолбенелое непониманье чужого дальнего горя нельзя упрекать человеческое зрение: уж так устроен человек. Но для целого человечества, стиснутого в единый ком, такое взаимное непонимание грозит близкой и бурной гибелью. При шести, четырёх, даже при

двух шкалах не может быть единого мира, единого человечества: нас разорвёт эта разница ритма, разница колебаний. Мы не уживём на одной Земле, как не жилец человек с двумя сердцами.

5

Но кто же и как совместит эти шкалы? Кто создаст человечеству единую систему отсчёта — для злодеяний и благодеяний, для нетерпимого и терпимого, как они разграничиваются сегодня? Кто прояснит человечеству, что действительно тяжело и невыносимо, а что только по близости натирает нам кожу, — и направит гнев к тому, что страшней, а не к тому, что ближе? Кто сумел бы перенести такое понимание через рубеж собственного человеческого опыта? Кто сумел бы косному упрямому человеческому существу внушить чужие дальние горе и радость, понимание масштабов и заблуждений, никогда не пережитых им самим? Бессильны гут и пропаганда, и принуждение, и научные доказательства. Но, к счастью, средство такое в мире есть! Это — искусство. Это — литература.

Доступно им такое чудо: преодолеть ущербную особенность человека учиться только на собственном опыте, так что втуне ему проходит опыт других. От человека к человеку, восполняя его куцое земное время, искусство переносит целиком груз чужого долгого жизненного опыта со всеми его тяготами, красками, соками, во плоти воссоздаёт опыт, пережитый другими, — и даёт усвоить как собственный.

И даже больше, гораздо больше того: и страны, и целые континенты повторяют ошибки друг друга с опозданием, бывает и на века, когда, кажется, так всё наглядно видно! а нет: то, что одними народами уже пережито, обдумано и отвергнуто, вдруг обнаруживается другими как самое новейшее слово. И здесь тоже: единственный заменитель не пережитого нами опыта — искусство, литература. Дана им чудесная способность: через различия языков, обычаев, общественного уклада переносить жизненный опыт от целой нации к целой нации — никогда не пережитый этой второю трудный многодесятилетний нацио-



нальный опыт, в счастливом случае оберегая целую нацию от избыточного, или ошибочного, или даже губительного пути, тем сокращая извилины человеческой истории.

Об этом великом благословенном свойстве искусства я настойчиво напоминаю сегодня с нобелевской трибуны.

И ещё в одном бесценном направлении переносит литература неопровержимый сгущённый опыт: от поколения к поколению. Так она становится живою памятью нации. Так она теплит в себе и хранит её утраченную историю — в виде, не поддающемся искажению и оболганию. Тем самым литература вместе с языком сберегает национальную душу.

(За последнее время модно говорить о нивелировке наций, об исчезновении народов в котле современной цивилизации. Я не согласен с тем, но обсуждение того — вопрос отдельный, здесь же уместно сказать: исчезновение наций обеднило бы нас не меньше, чем если бы все люди уподобились, в один характер, в одно лицо. Нации — это богатство человечества, это обобщённые личности его; самая малая из них несёт свои особые краски, таит в себе особую грань Божьего замысла.)

Но горе той нации, у которой литература прерывается вмешательством силы: это — не просто нарушение „свободы печати“, это — замкнутие национального сердца, иссечение национальной памяти. Нация не помнит сама себя, нация лишается духовного единства, — и при общем как будто языке соотечественники вдруг перестают понимать друг друга. Отживают и умирают немые поколения, не рассказавшие о себе ни сами себе, ни потомкам. Если такие мастера, как Ахматова или Замятин, на всю жизнь замурованы заживо, осуждены до гроба творить молча, не слыша отзвука своему написанному, — это не только их личная беда, но горе всей нации, но опасность для всей нации.

А в иных случаях — и для всего человечества: когда от такого молчания перестаёт пониматься и вся целиком История.

В разное время в разных странах горячо, и сердито, и изящно спорили о том, должны ли искусство и художник жить сами для себя или вечно помнить свой долг перед обществом и служить ему, хотя и непредвзято. Для меня здесь нет спора, но я не стану снова поднимать вереницы доводов. Одним из самых блестящих выступлений на эту тему была Нобелевская же лекция Альбера Камю — и к выводам её я с радостью присоединяюсь. Да русская литература десятилетиями имела этот крен — не заглядываться слишком сама на себя, не порхать слишком беспечно, и я не стыжусь эту традицию продолжать по мере сил. В русской литературе издавна вроднились нам представления, что писатель может многое в своём народе — и должен.

Не будем попира́ть пра́ва художника выражать исключительно собственные переживания и самонаблюдения, пренебрегая всем, что делается в остальном мире. Не будем требовать от художника, — но укорить, но попросить, но позвать и поманить дозволено будет нам. Ведь только отчасти он развивает своё дарование сам, в большей доле оно вдунуто в него от рожденья готовым — и вместе с талантом положена ответственность на его свободную волю. Допустим, художник никому ничего не должен, но больно видеть, как может он, уходя в свое-созданные миры или в пространства субъективных капризов, отдавать реальный мир в руки людей корыстных, а то и ничтожных, а то и безумных.

Оказался наш XX век жесточе предыдущих, и первой его половиной не кончилось всё страшное в нём. Те же старые пещерные чувства — жадность, зависть, необузданность, взаимное недоброжелательство, на ходу принимаемая приличные псевдонимы вроде классовой, расовой, массовой, профсоюзной борьбы, рвут и разрывают наш мир. Пещерное неприятие компромиссов введено в теоретический принцип и считается добродетелью ортодоксальности. Оно требует миллионных жертв в нескончаемых гражданских войнах, оно нагуживает в душу нам,

что нет общечеловеческих устойчивых понятий добра и справедливости, что все они текучи, меняются, а значит всегда должно поступать так, как выгодно твоей партии. Любая профессиональная группа, как только находит удобный момент *вырвать кусок*, хотя б и не заработанный, хотя б и избыточный, — тут же вырывает его, а там хоть всё общество развалилось. Амплитуда швыряний западного общества, как видится со стороны, приближается к тому пределу, за которым система становится метастабильной и должна развалиться. Всё меньше стесняясь рамками многовековой законности, нагло и победно шагает по всему миру насилие, не заботясь, что его бесплодность уже много раз проявлена и доказана в истории. Торжествует даже не просто грубая сила, но её трубное оправдание: заливают мир наглая уверенность, что сила может всё, а правота — ничего. Бесы Достоевского — казалось, провинциальная кошмарная фантазия прошлого века, на наших глазах расползаются по всему миру, в такие страны, где и вообразить их не могли, — и вот угонами самолётов, захватами заложников, взрывами и пожарами последних лет сигналият о своей решимости сотрясти и уничтожить цивилизацию! И это вполне может удалиться им. Молодёжь — в том возрасте, когда ещё нет другого опыта, кроме сексуального, когда за плечами ещё нет годов собственных страданий и собственного понимания, восторженно повторяет наши русские опороченные зады XIX века, а кажется ей, что открывает новое что-то. Новоявленная хунвейбиновская деградация до ничтожества принимается ею за радостный образец. Верхоглядное непонимание извечной человеческой сути, наивная уверенность непоживших сердец: вот этих лютых, жадных притеснителей, правителей прогоним, а следующие (мы!), отложив гранаты и автоматы, будут справедливые и сочувственные. Как бы не так!.. А кто пожил и понимает, кто мог бы этой молодёжи возразить, — многие не смеют возражать, даже заискивают, только бы не показаться „консерваторами“, — снова явление русское, XIX века, Достоевский называл его „рабством у передовых идей“.

Дух Мюнхена — нисколько не ушёл в прошлое, он не был коротким эпизодом. Я осмелюсь даже сказать, что дух Мюнхена преобладает в XX веке. Орбелый цивилизо-

ванный мир перед натиском внезапно воротившегося оскаленного варварства не нашёл ничего другого противопоставить ему, как уступки и улыбки. Дух Мюнхена есть болезнь воли благополучных людей, он есть повседневное состояние тех, кто отдался жажде благоденствия во что бы то ни стало, материальному благосостоянию как главной цели земного бытия. Такие люди — а множество их в сегодняшнем мире — избирают пассивность и отступления, лишь дальше потянулась бы привычная жизнь, лишь не сегодня бы перешагнуть в суровость, а завтра, глядишь, обойдётся... (Но никогда не обойдётся! — расплата за трусость будет только злей. Мужество и одоление приходят к нам, лишь когда мы решаемся на жертвы.)

А ещё нам грозит гибелью, что физически сжато стеснённому миру не дают слиться духовно, не дают молекулам знания и сочувствия перескакивать из одной половины в другую. Это лютая опасность: пресечение информации между частями планеты. Современная наука знает, что пресечение информации есть путь энтропии, всеобщего разрушения. Пресечение информации делает призрачными международные подписи и договоры: внутри *оглушённой* зоны любой договор ничего не стоит перетолковать, а ещё проще — забыть, он как бы и не существовал никогда (это Оруэлл прекрасно понял). Внутри оглушённой зоны живут как бы не жители Земли, а марсианский экспедиционный корпус, они толком ничего не знают об остальной Земле, и готовы пойти топтать её в святой уверенности, что „освобождают”.

Четверть века назад в великих надеждах человечества родилась Организация Объединённых Наций. Увы, в безнравственном мире выросла безнравственной и она. Это не организация Объединённых Наций, но организация Объединённых Правительств, где уравниены и свободно избранные, и насильственно навязанные, и оружием захватившие власть. Корыстным пристрастием большинства ООН ревниво заботится о свободе одних народов и в небрежении оставляет свободу других. Угодливым голосованием она отвергла рассмотрение частных жалоб — стонов, криков и умолений единичных маленьких *просто людей*, слишком мелких букашек для такой великой организации. Свой лучший за 25 лет документ — Декларацию Прав че-

ловека, ООН не посилилась сделать обязательным для правительств, условием их членства — и так предала маленьких людей воле не избранных ими правительств.

Казалось бы: облик современного мира весь в руках учёных, все технические шаги человечества решаются ими. Казалось бы: именно от всемирного содружества учёных, а не от политиков, должно зависеть, куда миру идти. Тем более, что пример единиц показывает, как много могли бы они сдвинуть все вместе. Но нет, учёные не явили яркой попытки стать важной самостоятельно действующей силой человечества. Целыми конгрессами отшатываются они от чужих страданий: уютней остаться в границах науки. Всё тот же дух Мюнхена развесил над ними свои расслабляющие крыла.

Каковы ж в этом жестоком, динамичном, взрывном мире, на черте его десяти гибелей — место и роль писателя? Уж мы и вовсе не шлём ракет, не катим даже последней подсобной тележки, мы и вовсе в презрении у тех, кто уважает одну материальную мощь. Не естественно ли нам тоже отступить, разувериться в неколебимости добра, в недробимости правды и лишь поведывать миру свои горькие сторонние наблюдения, как безнадёжно исковеркано человечество, как измельчали люди и как трудно среди них одиноким тонким красивым душам?

Но и этого бегства — нет у нас. Однажды взявшись за слово, уже потом никогда не уклониться: писатель — не посторонний судья своим соотечественникам и современникам, он — совиновник во всём зле, совершённом у него на родине или его народом. И если танки его отечества залили кровью асфальт чужой столицы, — то бурые пятна навек зашлёпали лицо писателя. И если в роковую ночь удушили спящего доверчивого Друга, — то на ладонях писателя синяки от той верёвки. И если юные его сограждане развязно декларируют превосходство разврата над скромным трудом, отдаются наркотикам или хватают заложников, — то перемешивается это зловоние с дыханием писателя.

Найдём ли мы дерзость заявить, что не ответчики мы за язвы сегодняшнего мира?

Однако, ободряет меня живое ощущение мировой литературы как единого большого сердца, колотящегося о заботах и бедах нашего мира, хотя по-своему представленных и видимых во всяком его углу.

Помимо исконных национальных литератур, существовало и в прежние века понятие мировой литературы — как огибающей по вершинам национальных и как совокупности литературных взаимовлияний. Но случалась задержка во времени: читатели и писатели узнавали писателей иноязычных с опозданием, иногда вековым, так что и взаимные влияния опаздывали и огибающая национальных литературных вершин проступала уже в глазах потомков, не современников.

А сегодня между писателями одной страны и писателями и читателями другой есть взаимодействие если не мгновенное, то близкое к тому, я сам на себе испытываю это. Не напечатанные, увы, на родине, мои книги, несмотря на поспешные и часто дурные переводы, быстро нашли себе отзывчивого мирового читателя. Критическим разбором их занялись такие выдающиеся писатели Запада, как Генрих Бёлль. Все эти последние годы, когда моя работа и свобода не рухнули, держались против законов тяжести как будто в воздухе, как будто ни на чём — на невидимом, неом натяге сочувственной общественной плёнки, — я с благодарною теплотой, совсем неожиданно для себя узнал поддержку и мирового братства писателей. В день моего 50-летия я изумлён был, получив поздравления от известных европейских писателей. Никакое давление на меня не стало проходить незамеченным. В опасные для меня недели исключения из писательского союза — стена защиты, выдвинутая видными писателями мира, предохранила меня от худших гонений, а норвежские писатели и художники на случай грозившего мне изгнания с родины гостеприимно готовили мне кров. Наконец, и само выдвижение меня на Нобелевскую премию возбуждено не в той стране, где я живу и пишу, но — Франсуа Мориаком и его коллегами. И, ещё позже того, целые националь-

ные писательские объединения выразили поддержку мне.

Так я понял и ощутил на себе: мировая литература — уже не отвлечённая огибающая, уже не обобщение, созданное литературоведами, но некое общее тело и общий дух, живое сердечное единство, в котором отражается растущее духовное единство человечества. Ещё багровеют государственные границы, накалённые проволокою под током и автоматными очередями, ещё иные министерства внутренних дел полагают, что и литература — „внутреннее дело” подведомственных им стран, ещё выставляются газетные заголовки: „не их право вмешиваться в наши внутренние дела!”, — а между тем *внутренних дел* вообще не осталось на нашей тесной Земле! И спасение человечества только в том, чтобы всем было дело до всего: людям Востока было бы сплошь безразлично, что думают на Западе; людям Запада — сплошь безразлично, что совершается на Востоке. И художественная литература — из тончайших, отзывчивейших инструментов человеческого существа, одна из первых уже переняла, усвоила, подхватила это чувство растущего единства человечества. И вот я уверенно обращаюсь к мировой литературе сегодняшнего дня — к сотням друзей, которых ни разу не встретил въявь и может быть никогда не увижу.

Друзья! А попробуем пособить мы, если мы чего-нибудь стоим! В своих странах, раздираемых разногласиями партий, движений, каст и групп, кто же искони был силою не разъединяющей, но объединяющей? Таково по самой сути положение писателей: выразителей национального языка — главной скрепы нации, и самой земли, занимаемой народом, а в счастливом случае и национальной души.

Я думаю, что мировой литературе под силу в эти тревожные часы человечества помочь ему верно узнать самого себя вопреки тому, что внушается пристрастными людьми и партиями; перенести сгущённый опыт одних краёв в другие, так чтобы перестало у нас двоиться и рябить в глазах, совместились бы деления шкал, и одни народы узнали бы верно и сжато истинную историю других с тою силой узнавания и болевого ощущения, как будто пережили её сами, — и тем обережены бы были от запоздалых жестоких ошибок. А сами мы при этом быть может сумеем

развить в себе и *мировое зрение*: центром глаза, как и каждый человек, видя близкое, краями глаза начнём вбирать и то, что делается в остальном мире. И соотнесём, и соблюдём мировые пропорции.

И кому же, как не писателям, высказать порицание не только своим неудачным правителям (в иных государствах это самый лёгкий хлеб, этим занят всякий, кому не лень), но — и своему обществу, в его ли трусливом унижении или в самодовольной слабости, но — и легковесным броскам молодёжи, и юным пиратам с замахнутыми ножами?

Скажут нам: что ж может литература против безжалостного натиска открытого насилия? А: не забудем, что насилие не живёт одно и не способно жить одно: оно непременно сплетено с ложью. Между ними самая родственная, самая природная глубокая связь: насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а лжи нечем удержаться, кроме как насилием. Всякий, кто однажды провозгласил насилие своим методом, неумолимо должен избрать ложь своим принципом. Рождаясь, насилие действует открыто и даже гордится собой. Но едва оно укрепитя, утвердится, — оно ощущает разрежение воздуха вокруг себя и не может существовать дальше иначе, как затуманиваясь в ложь, прикрываясь её сладкоречием. Оно уже не всегда, не обязательно прямо душит глотку, чаще оно требует от подданных только присяги лжи, только соучастия во лжи.

И простой шаг простого мужественного человека: не участвовать во лжи, не поддерживать ложных действий! Пусть это приходит в мир и даже царит в мире, — но не через меня. Писателям же и художникам доступно большее: *победить ложь*! Уж в борьбе-то с ложью искусство всегда побеждало, всегда побеждает! — зримо, неопровержимо для всех! Против многого в мире может выстоять ложь, — но только не против искусства.

А едва развеяна будет ложь, — отвратительно откроется нагота насилия — и насилие дряхлое падёт.

Вот почему я думаю, друзья, что мы способны помочь миру в его раскалённый час. Не отнекиваться безоружностью, не отдаваться беспечной жизни, — но выйти на бой!

В русском языке излюблены пословицы о *правде*.



Они настойчиво выражают немалый тяжёлый народный опыт и иногда поразительно:

ОДНО СЛОВО ПРАВДЫ ВЕСЬ МИР ПЕРЕТЯНЕТ.

Вот на таком мнимо-фантастическом нарушении закона сохранения масс и энергий основана и моя собственная деятельность, и мой призыв к писателям всего мира.

1972

## НА ВОЗВРАТЕ ДЫХАНИЯ И СОЗНАНИЯ

(По поводу трактата А. Д. Сахарова „Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе”)

*Эта статья была написана 4 года назад, но не отдана в Самиздат, лишь самому А. Д. Сахарову. Тогда она была в Самиздате нужней и прямо относилась к известному трактату. С тех пор Сахаров далеко ушёл в своих воззрениях, в практических предложениях, и сегодня к нему статья уже мало относится, она уже не полемика с ним.*

*Так теперь поздно! — возразят. То ли ещё у нас не поздно! Мы и столетия ничего не успевали ни называть, ни обмысливать, нам и через 50 лет ничто не поздно. Потому что напечатана у нас — пустота! Во всяком таком опоздании — характерная норма послеоктябрьской русской жизни.*

*Не поздно потому, что в нашей стране на тех мыслях, которые Сахаров прошёл, миновал, ещё коснеет массивный слой образованного общества. Не поздно и потому, что, видимо, ещё немалые круги на Западе разделяют те надежды, иллюзии и заблуждения.*

### 1

Кажется, мучителен переход от свободной речи к вынужденному молчанию. Какая мука живому, привыкшему думать обществу с какого-то декретного дня утратить право выражать себя печатно и публично, а год от году замкнуть уста и в дружеском разговоре и даже под семейной кровлей.

Но и обратный переход, ожидающий скоро нашу страну, — возврат дыхания и сознания, переход от молчания к свободной речи, тоже окажется и труден и долог, и снова мучителен — тем крайним, пропастным непониманием, которое вдруг зинет между соотечественниками, даже ровесниками, даже земляками, даже членами одного тесного круга.

За десятилетия, что мы молчали, разбрелись наши мысли на семьдесят семь сторон, никогда не перекликнувшись, не опознавшись, не поправив друг друга. А штампы принудительного мышления, да не мышления, а диктованного рассуждения, ежедённó втолакиваемые через магнитные глòтки радио, размноженные в тысячах газет-близнецов, еженедельно конспектируемые для кружков политучёбы, — изуродовали всех нас, почти не оставили неповреждённых умов.

И теперь, когда умы даже сильные и смелые пытаются распрямиться, выбиться из кучи дряхлого хлама, они несут на себе все эти злые тавровые выжжины, кособокость колодок, в которые загнаны были незрелыми, — а по нашей умственной разъединённости ни на ком не могут себя проверить.

Мы же, остальные, до того иссохли в десятилетиях лжи, до того изжаждались по дождевым капелькам правды, что как только упадут они нам на лицо, — мы трепещем от радости: „наконец-то!“, мы прощаем и вихри пыли, овевшие их, и тот лучевой распад, который в них ещё таится. Так радуемся мы каждому словечку правды, до последних лет раздавленному, что этим первым нашим выразителям прощаем и всю приблизительность, и всякую неточность, и долю заблуждения даже бóльшую, чем доля истины, — только за то, что „хоть что-то сказано!“, „хоть что-то наконец!“.

Всё это испытали мы, читая статью академика Сахарова и слушая отечественные и международные отклики на неё. С биением сердца мы узнали, что наконец-то разорвана непробудная, уютная, удобная дрёма советских учёных: делать своё научное дело, за это — жить в избытке, а за это — не мыслить выше пробирки. С освобождающей радостью мы узнали, что не только западные атомники мучимы совестью, — но вот и в наших просыпается она!

Уже это одно делает бесстрашное выступление Андрея Дмитриевича Сахарова крупным событием новейшей русской истории.

Работа эта находит путь к нашему сердцу прежде всего своею честностью в оценках. Многие события и явления называются так, как мы тайно думаем, но по трусости боимся высказать. Режим Сталина назван среди „демагогических, лицемерных, чудовищно-жесточких полицейских режимов”; сказано, что в отличие от гитлеризма сталинизм носит „гораздо более изощрённый наряд лицемерия и демагогии” с опорой на „социалистическую идеологию, которая явилась удобной ширмой”. Упомянуты и „грабительские заготовки” продуктов и „почти крепостное закабаление крестьянства”, правда — в прошлом, но есть и о сегодняшнем: „большое имущественное неравенство между городом и деревней”, „40% населения нашей страны оказывается в очень трудном экономическом положении” (по контексту, по намёку речь идёт о бедности, но в отношении *своей* страны язык не выговаривает); напротив, 5% „начальства” так же привилегированы, „как аналогичная группировка в США”. И даже больше! — хотели бы мы возразить, но разъяснения автора опережают нас: привилегии управляющей группировки в нашей стране — тайны, „дело не чисто”, тут „имеет место подкуп верных слуг существующей системы”, в прошлом — „зарплата в конвертах”, сейчас — „закрытое распределение дефицитных продуктов, товаров и разных услуг, привилегии в курортном обслуживании”. Сахаров высказывается против недавних политических процессов, против цензуры, против новых антиконституционных законов. Он указывает, что „партия с такими методами убеждения и воспитания вряд ли может претендовать на роль духовного вождя человечества”. Он протестует против подчинения интеллигенции партийным чиновникам под прикрытием „интересов рабочего класса”. Разоблачение сталинизма он требует „довести до полной правды, а не до ... кастовой целесообразности”, он справедливо требует „всенародного расследования архивов НКВД” и полной амнистии сегодняшним политзаключённым. И даже в наиболее неприкасаемой *внешней* политике возлагает на СССР „косвенную ответственность” за арабо-израильский конфликт.

Впрочем, если не этот уровень смелости, то этот уровень анализа доступен и другим нашим соотечественникам, только молчунам. Сахаров же, с уверенностью крупного учёного, подымает нас на более высокую обзорную точку зрения. Короткими ударами лекторской палочки он разваливает тех истуканов, те экономические мифы 20-х-30-х годов, которые и мёртвыми заволакивают уже полвека всю нашу учащуюся молодёжь — да так и до старости.

Сахаров разрушает марксистский миф, что капитализм „приводит в тупик производительные силы” или „всегда приводит к абсолютному обнищанию рабочего класса”. \* Экономическое соревнование систем, со школьных плакатов запомненное нами как социалистический конь, прыгающий через капиталистическую черепаху, он впервые в нашей стране представляет в истинных соотношениях. Сахаров напоминает о „бремени технического и организационного риска разработочных издержек, которое ложится на страну, лидирующую в технике”, и с большим знанием дела перечисляет важные технические заимствования, обогатившие СССР за счёт Запада; напоминает, что сталь да чугун — это отрасли традиционные и „догонка” в них ничего не доказывает, а в отраслях поистине ведущих — мы устойчиво позади. Разрушает Сахаров и миф о пауках-миллионерах: они — „не слишком серьёзное экономическое бремя” по их малочисленности, напротив, „революция, которая приостанавливает экономическое развитие более, чем на 5 лет, не может считаться экономически выгодной для трудящихся” (да уж просто скажем: убийственна). Что касается СССР, то свален миф о магическом соцсоревновании („не имеет серьёзной экономической роли”) и напомяно: все эти десятилетия „наш

---

\* Впрочем, это выговаривает он чрезмерно смягчённо („не всегда”). В современных экономических работах доказано, что *после* мануфактурного периода капитализм — вопреки Марксу — не эксплуатирует рабочих, что главные ценности создаются не трудом рабочих, а умственным трудом — организацией и механизацией. Рабочие же, особенно вследствие удачных забастовок, получают всё большую и большую долю продукта, *не вырабатанную* ими.

народ работал с предельным напряжением, что привело к определённом истощению ресурсов нации”.

Правда, такая ломка молитвенных истуканов не даёт-ся легко, Сахаров там и здесь без надобности смягчает: лишь „определённое” истощение; и — „в обеспечении высокого уровня жизни ... капитализм и социализм сыграли вничью” (уж где там!..). Но сам переступ через запретную черту — посмел судить о том, о чём никто не смел, кроме Основоположников, — выводит нашего автора далеко вперёд. Если при капиталистическом строе обнаруживается не сплошное загнивание, а „продолжается развитие производительных сил”, то „социалистический мир не должен разрушать породившую его почву” — „это было бы самоубийством человечества”, ядерной войной. (Наша пропаганда не любит признавать ядерную войну самоубийством человечества, но — непрямым торжеством социализма.) Сахаров советует верней того: отказаться от „эмпирико-конъюнктурной внешней политики”, от „метода максимальных неприятностей противостоящим силам без учёта общего блага и общих интересов”; СССР и Соединённым Штатам перестать быть противниками, перейти к совместной бескорыстной широчайшей помощи отсталым странам, а из высших целей внешней политики пусть будет международный контроль за соблюдением „Декларации прав человека”.

Не упускает автор перечислить и главнейшие опасности для нашей цивилизации, черты гибели среды обитания человечества, и широко ставит задачу спасения её.

Таков уровень благородной статьи Сахарова.

## 2

Но предлагаемый отзыв пишется не для того, чтобы присоединиться к хору похвал: кажется, их и так перевес. Вселяет тревогу, что многие опорные, недояснённые, а иногда и неверные положения статьи Сахарова могут перелиться теперь в развитие свободной русской мысли и исказить, задержать её ход.

Признаёмся: мы сейчас концентрированно, с повышенной плотностью вместили тут лучшее, что видим в

статье Сахарова. На самом же деле это всё сказано у него не на едином стержне, не с энергией, но с разрежениями, смягчениями, а главное — в чересполосице с утверждениями противоположными и часто взятыми уровнем ниже.

Заметную погрешность статьи мы видим в том, что она щедра вниманием ко внутренним проблемам *других* стран — Греции, Индонезии, Вьетнама, Соединённых Штатов, Китая, тогда как внутренняя ситуация в СССР освещается (точней — обделяется светом) как можно более благожелательно. Но это — топкая точка зрения. Рассуждать о международных проблемах, а тем пуще о проблемах других стран мы имеем моральное право лишь после того, как осознаем *свои* внутренние проблемы, покаемся в пороках своих. Чтоб иметь право рассуждать о „трагических событиях в Греции“, надо прежде посмотреть, не трагичней ли события у нас. Чтобы доглядываться издали, как „от американского народа пытаются скрыть ... цинизм и жестокость ...“, надо прежде хорошо оглянуться: а ближе — нет ничего похожего? да когда не „пытаются“, а когда отлично удаётся? И если уж „трагизм нищеты ... 22 миллионов негров“, то не нищей ли 50 миллионов колхозников? И не упустить, что „трагикомические формы культа личности“ в Китае лишь с малым изменением (и не всегда к худшему) повторяют наши смердящие 30-е годы.

Это беда — наша ввевшаяся, общая. С самого начала, как в Советском Союзе звонко произнесли и жирно написали „самокритика“, — всегда это была *его* критика. Десятилетиями нам внушали наше социалистическое превосходство, а судить-рядить разрешали только о чужом. И когда теперь задумываемся мы говорить о своём, — бессознательная жажда смягчения отклоняет наши перья от суровой линии. Трудно возвращается к нам свободная мысль, трудно привыкнуть к ней сразу сполна и со всего горька. Называть вслух пороки нашего строя и нашей страны робко кажется грехом против патриотизма.

Эта избирательная смирённость со „своим“ при строгости к чужому проявляется в сахаровской работе не раз, начиная с первой же её страницы: в кардинальной оговорке автора, что хотя цель его работы — способствовать разумному сосуществованию „мировых идеологий“, здесь „не идёт речь об идеологическом мире с теми фанатичны-

ми, сектантскими и экстремистскими идеологиями, которые отрицают всякую возможность сближения с ними, дискуссии и компромиссы, например с идеологиями фашистской, расистской, милитаристской или маоистской". И — всё. И в перечислении — точка.

Ненадёжный, обвалистый вход в такую важную работу! — не придушимся ли мы под этим сводом? Хотя и сказано „например“, хотя, значит, список непримиримых идеологий ещё не полон, — но по какой странной скромности пропущена здесь именно та идеология, которая ещё на заре XX века объявила все компромиссы „гнилыми“ и „предательскими“, все дискуссии с инакомыслящими — пустой и опасной болтовнёй, единственным решением социальных задач — оружие, а деление мира — в двух цветах: „кто не с нами — тот против нас“? С тех пор эта идеология имела огромный успех, она окрасила собою весь XX век, ознобила три четверти Земли, — отчего же Сахаров не упоминает её? Считает ли он, что с нею можно столкнуться мягким убеждением? О, если бы! Но ещё никто не наблюдал подобного случая, эта идеология несколько не изменилась в своей неуклонности и непримиримости. Подразумевает ли он её в тёмном приглубке, в непросвеченном „например“?

Абзацем ниже Сахаров называет среди „крайних выражений догматизма и демаггии“, в ряду тех же расизма и фашизма — уже и сталинизм. Но это — худая подмена.

В Советском Союзе после 1956 года никакой особой смелости, новизны, открытия нет — назвать „сталинизм“ как нечто дурное. Официально так у нас не принимается, но в общественности разошлось широко и часто произносится устно. Написать „сталинизм“ в таком перечне в годах сороковых или тридцатых было бы и отвагой и мудростью — когда „сталинизм“ воплощался могучей действующей системой, достаточно показавшей себя и у нас в стране и уже в Восточной Европе. Но в 1968 году ссылаться на „сталинизм“ есть подстановка, маскировка, уход от проблемы.

Справедливо усумниться: а есть ли такой отдельный „сталинизм“? *Существовал ли он когда?* Сам Сталин никогда не утверждал ни своего отдельного учения (по низкому умственному уровню он и не мог бы построить



такого), ни своей отдельной политической системы. Все сегодняшние поклонники, избранники и плакальщики Сталина в нашей стране, а также последователи его в Китае гранитно стоят на том, что Сталин был верный ленинец и никогда ни в чём существенном от Ленина не отступил. И автор этих строк, в своё время попавший в тюрьму именно за ненависть к Сталину и за упрёки, что тот отступил от Ленина, сегодня должен признаться, что таких существенных отступлений не может найти, указать, доказать.

Земля, в революцию данная крестьянам, а вскоре (Земельный устав 1922 года) отобранная в государственную собственность? Заводы, обещанные рабочим, но в тех же неделях подчинённые централизованному управлению? Профсоюзы на службе не у масс, а у государства? Военная сила для подавления национальных окраин (Закавказье, Средняя Азия, Прибалтика)? Концентрационные лагеря (1918–1921)? Бессудная расправа (ЧК)? Жестокий разгром и ограбление церкви (1922)? Соловецкие зверства (с 1922)? Всё это — никак не Сталин по годам, по степени власти. (Сахаров предлагает восстановить „ленинские принципы общественного контроля над местами заключения”, — не пишет, какого именно года принципы? в каких лагерях проявленные? Ведь после ранних Соловков Ленина уже не было в живых.) К Сталину отнесём кровавое насаждение коллективизации, — но расправа с тамбовским (1920–21) и сибирским (1921) крестьянскими восстаниями не были мягче, они лишь не захватывали всей страны. Сочли бы за ним усиленную искусственную индустриализацию с подавлением лёгкой промышленности, — так и это не Сталиным придумано.

Разве только в одном Сталин явно отступил от Ленина (но и повторяя общий закон всех революций): в расправе над *собственной партией*, начиная с 1924 года и возвышаясь к 1937. Так не в этом ли решающем отличии и видят наши нынешние передовые историки тот признак, по которому „сталинизм” попадает в исключительный список античеловеческих идеологий, попадает без своей материнской?

„Сталинизм” — это очень удобное понятие для тех наших „очищенных” марксистских кругов, которые селятся отличаться от официальной линии, на самом деле отличаясь

от неё ничтожно. (Типичным представителем этой линии можно назвать Роя Медведева.) Для той же цели ещё важней и нужней понятие „сталинизма” западным компартиям — чтобы сбросить на него всё кровавое бремя прошлого и тем облегчить свои сегодняшние позиции. (Сюда относятся коммунистические теоретики, как Г. Лукач, И. Дойчер.) И — даже обширным леволиберальным кругам Запада, которые при жизни Сталина аплодировали цветным картинкам нашей жизни, а после XX съезда оказались в жестоком просаке.

Но пристальное изучение нашей новейшей истории показывает, что *никакого сталинизма* (ни — учения, ни — направления жизни, ни — государственной системы) не было, как справедливо утверждают официальные круги нашей страны, да и руководители Китая. Сталин был хотя и очень бездарный, но очень последовательный и верный продолжатель *духа* ленинского учения.

А нам на возврате дыхания после обморока, в проблемах сознания после полной темноты, — нам так трудно вернуть себе сразу отчётливое зрение, нам так трудно брести поперёк нагроможденных стен, между наставленных истуканов.

Касанием лекторской палочки Сахаров развораживает и в прах рассыпает одни, а другие минует с почтением, оставляет ложно стоять.

Теперь если все эти „непримиримые идеологии” оставить в оговорке, в исключении (и даже расширить их список), — то с какими же идеологиями Сахаров предлагает сосуществование? С либеральной да с христианской? Так от них и так ничто миру не грозит, они и так в дискуссии всегда. А вот с этим зловещим списком что делать? В нём несколько многовато идеологий прошлого и — настоящего.

И какова же тогда цена ожидаемой и призываемой „конвергенции”?..

А где гарантии, что непримиримые идеологии не будут возникать и в будущем?

В этой же работе так трезво оценив губительное экономическое разорение от революций, Сахаров предусматривает „для революционной и национально-освободительной борьбы”, „когда не остаётся других средств, кроме

вооружённой борьбы”, — „возможность решительных действий”. „Существуют ситуации, когда революции являются единственным выходом из тупика”. Это опять-таки — не собственное противоречие автора, но поддался он общему перекоосу эпохи: все революции в общем одобрять, все „контрреволюции” безоговорочно осуждать. (Хотя в смене насилий, вызывающих одно другое, кто провёл временную грань, кто указал тот инкубаторный срок, до истечения которого насильственный переворот ещё называется контрреволюцией, а после — уже новой революцией?)

Неполнота освобождения от чужих навязанных модных догм всегда накажет нас неравномерной ясностью зрения, опрометчивыми формулировками. Вот и вьетнамскую войну характеризует Сахаров, как принято у *мировой прогрессивной общественности*, — как войну „сил реакции” против „народного волеизъявления”. А когда приходят по тропе Хо Ши Мина регулярные дивизии — это тоже „народное волеизъявление”? А когда „регулярные” партизаны поджигают деревни за их нейтралитет и автоматами понуждают мирное население к действиям — это отнесём к „народному волеизъявлению” или к „силам реакции”? Нам ли, русским, с опытом своей гражданской войны так поверхностно судить о вьетнамской?.. Нет, не пожелаем ни „революции”, ни „контрреволюции” даже врагам!

Массовое насилие только дозволить в самом малом объёме, — а там сразу прикатит помощь „передовых” и „реакционных” сил, а там накалится на весь континент, гляди и до атомного рубежа. И что ж остаётся от „мирного существования”, вынесенного в заголовок?

### 3

Среди неприкасаемых статуй бережно обходит наш автор и *социализм* — настолько несомненный для всех, что не подлежит и дискуссионному выносу в заголовок. В превознесении социализма Сахаров даже и чрезмерен. Как о всеизвестном, не требующем доказательств, пишет он о „высоких нравственных идеалах социализма”, о „морально-этическом характере социалистического пути” и даже

называет это своим „основным выводом” (а верней, очевидно, — основным нравственным пожеланием).

Но: нигде в социалистических учениях не содержится внутреннее требование нравственности как сути социализма, — нравственность лишь обещается как самовыпадающая манна после обобществления имуществ. Соответственно: нигде на Земле нам ещё в натуре не был показан нравственный социализм (и даже такое словосочетание, предположительно обсуждённое мною в одной из книг, было сурово осуждено ответственными ораторами). Да что говорить о „нравственном социализме”, когда неизвестно: вообще ли социализм всё то, что нам называют и показывают как социализм. Он — в природе-то есть ли?

Уверяет Сахаров, что социализм „как никакой другой строй ... возвеличил нравственное значение труда”, что „только социализм поднял труд до вершины нравственного подвига”. Но на сельских пространствах нашей страны, где всегда только и жили трудом, весь интерес жизни содержали в труде, — труд именно при „социализме” стал заклятым бременем, от которого бегут. И добавим — по всем нашим пространствам и дорогам самый тяжёлый чёрный труд, исполняемый женщинами с тех пор, как мужчины пересели на механизмы или перешли на руководство. И — насильственные трудовые мобилизации горожан ежесезонно. И даже — для миллионов служащих за канцелярскими столами труд обрыдлый, ненавистный. Не перечисляя далее: почти не видел я в нашей стране людей, для кого желанным днём недели был бы понедельник, а не суббота. А сравнивая качество сегодняшней каменной кладки с кладкою прежних веков, особенно старых церквей, невольно согласишься искать „нравственный подвиг” где-то *раньше*.

Да всё это знает, конечно, и Сахаров, и сказываются тут не ошибки его личного мнения, но повальный гипноз целого поколения, которое не может очнуться сразу ото всего, стряхнуть с себя нагромождение сразу всех политучёб. Оттого читаем: „социалистическая оплата — по количеству и качеству труда”, хотя такая оплата под названием сдельной существует, сколько мир стоит. Напротив, всё, что Сахаров видит в реальном социализме дурного, „лицемерие и показной рост ... с утерей качественных ха-

рактистический”, он почему-то не относит к социализму, а к некоему „сталинскому лжесоциализму”. „Некоторые нелепости нашего развития не были естественным следствием социалистического пути, а явились своего рода трагической случайностью.” А доказательства? — в газетах?

Под тем же гипнозом нашего поколения Сахаров пренебрежительно оценивает национализм — как некую периферийную помеху, мешающую светлому движению человечества, но впрочем обречённую на скорое исчезновение.

Ан крепок оказался этот орешек для жерновов интернационализма. Вперерез марксизму явил нам XX век неистощимую силу и жизненность национальных чувств и склоняет нас глубже задуматься над загадкой: почему человечество так отчётливо квантуется нациями не в меньшей степени, чем личностями? И в этом гранении на нации — не одно ль из лучших богатств человечества? И — надо ли это стирать? И — можно ли это стереть?

Пренебрегая живучестью национального духа, Сахаров упускает и возможность существования в нашей стране живых национальных сил. Это прорывается даже комично в том месте, где он перечисляет „прогрессивные силы нашей страны” — и кого же видит? — „левых коммунистов-ленинцев” да „левых западников”. И только?.. Были бы мы действительно духовно нищи и обречены, если бы лишь этими силами исчерпывалась сегодняшняя Россия.

В заголовок статьи вынесен *прогресс* — технический, экономический, социальный, прогресс в традиционном общем понимании, и его тоже оставляет Сахаров в числе нетронутых неповерженных истуканов, хотя собственные его, рядом, экологические соображения подводят к тому, что „прогресс” завёл человечество в опасности по меньшей мере тяжёлые. В социальной области автор считает „величайшим достижением” „систему образования под государственным контролем” и выражает „озабоченность, что ещё не стал реальностью научный метод руководства ... искусством”. (Дрожь пробирает.) Говоря о чисто научном прогрессе, Сахаров довольно одобрительно рисует нам перспективы: „создание искусственного сверхмозга”, „контролировать и направлять все жизненные процессы на ... организменном ... и социальном уровнях ... до психических процессов и наследственности включительно”.

Такие перспективы по нашему понятию близки к концентрированному земному аду, и тут многое могло бы вызвать недоумение и резкий протест, если бы при повторном чтении всего трактата не обнаруживалось, что он не должен быть читаем формально, буквально и с придирками к деталям. Что главная суть трактата не в том, что по поверхности выражено и иногда даже акцентировано, — не политическая терминология и не интеллектуальные построения, а движущее его нравственное беспокойство автора и душевная широта его предложений, далеко не всегда точно и удачно выраженных.

Так и с техническими перспективами прогресса. Сахаров предупреждает — политиков, учёных и всех нас — что понадобятся „величайшая научная предусмотрительность и осторожность, величайшее внимание к общечеловеческим ценностям”, и ясно, что такой призыв не есть практическая программа, что просить политиков о величайшем внимании к общечеловеческим ценностям или учёных о предусмотрительности в своих открытиях — это тесовые загородочки хлипкие, уж сколько в той шахте на дне. За всю историю науки от чего нас спасла та научная предусмотрительность? Если и спасла когда, так мы того случая обычно не знаем: одинокий учёный сжёг свой чертёж, сжёг и не показал.

Сам Сахаров своего чертежа — вовремя не сжёг. И тем-то теперь, может быть, угрызаем и с той-то болью выходит теперь на площадь передо всем человечеством сразу — с воззывом: хотя бы *начать кончать* зло, хотя бы перед новыми худшими бедами остановиться! Он и сам знает, что осторожности — мало, что „величайшего внимания” — мало, но в его руках — нет его страшного изобретения, его ладони безоружно и дружески открыты нам, и он не столько учит нас, сколько увещает человекодушно.

Так и надежды Сахарова на конвергенцию не есть обоснованная научная теория, но нравственная жажда — покрыть атомный грех человечества, избежать атомной катастрофы. (В решении нравственных задач человечества перспектива конвергенции довольно безотраднa: два страдающих пороками общества, постепенно сближаясь и превращаясь одно в другое, что могут дать? — общество, безнравственное вперекрест.)

И призывы „не расширять зон влияния”, „не создавать трудностей другой стране”, пусть „все страны стремятся ко взаимопомощи”, а великие державы добровольно отдают отсталым странам 20% своего национального дохода — это ведь тоже не практическая политика и не претендует быть таковой, это тоже — нравственный призыв. И внутри страны „запрещение всех привилегий” — тоже лишь сердечный возглас, а не практическая задача „левым коммунистам” да „левым западникам”, — ибо где ж им накопить такую заставляющую силу? Да и разве можно привилегии устранить „запретом”, декретом? У нас их уже свинцом и огнём „запрещали”, но из-под руки они тут же погёрли опять, лишь хозяев сменили. Привилегии устранимы только всеобщей перестройкой сознания, чтоб они для самих владельцев не манящими стали, а морально отвратительными. Устранение привилегий — задача нравственная, а не политическая, и Сахаров так это и чувствует, так к этому и относится, но для нашего поколения утерян письменный язык нравственных сочинений, и наш автор вынужденно использует подручный невыразительный политический язык. Например, о сталинизме: „кровь и грязь запачкали наше знамя”, — ну, ясно же, что не о „знамени” печётся наш автор, а выражает тем: душу нашу загадили, развратили нас всех!

Вся эта неприменимость расхожего языка и расхожих наших понятий к глубокому нравственному переживанию автора сказывается во многих местах трактата, сказывается и в заголовке, куда тоже не вместились главное чувство А. Д. Сахарова, и оттого заголовок так длинен и пересчителен.

В этот заголовок ещё вынесена *интеллектуальная свобода*. Именно в ней видит Сахаров „ключ к прогрессивной перестройке государственной системы в интересах человечества”.

Действительно, в нашей стране интеллектуальная свобода преобразила бы многое сейчас, помогла бы очиститься от многого. *Сейчас*, из той впадины тёмной, куда мы завалены. Но глядя далеко-далеко вперёд: а Запад? Уж Запад-то захлебнулся от всех видов свобод, в том числе и от интеллектуальной. И что же, спасло это его? Вот мы видим его сегодня: на оползнях, в немощи воли, в

темноте о будущем, с раздёрганной и сниженной душой. Сама по себе безграничная внешняя свобода далеко не спасает нас. Интеллектуальная свобода — очень желанный дар, но как и всякая свобода — дар не самоценный, а — проходной, лишь разумное условие, лишь средство, чтобы мы с его помощью могли бы достичь какой-то другой цели, высшей.

Соответственно требованию свободы Сахаров предлагает допустить в „социалистических” странах многопартийную систему. Препятствия этому, разумеется — со стороны власти, не со стороны общества. Но и с нашей стороны — попробуем возвыситься взглядом даже и над западными представлениями: в многопартийной парламентской системе не разглядим ли мы тоже некоего истукана, только уже всемирного? *Partia* — это *часть*. Всякая партия, сколько знает их история, всегда защищает интересы этой части против — кого же? против остальной части этого народа. И в борьбе с другими партиями она пренебрегает справедливостью для выгоды: вождь оппозиции (кроме разве Англии) не похвалит правительство за хорошее — это подорвёт интересы оппозиции; а премьер-министр не признаётся честно публично в ошибках — это подорвёт позиции правящей партии. А если в выборной борьбе можно тайно применить нечестный приём, — то отчего ж его не применить? А своих членов, меньше ли, больше ли, всякая партия нивелирует и подавляет. От всего этого общество, где действуют политические партии, не возвышается в нравственности. И в сегодняшнем мире всё больше проступает сомнение, и маячит нам поиск: а нельзя ли возвыситься и над парламентской много- или двухпартийной системой? не существует ли путей внепартийного, вовсе *беспартийного* развития наций?

Интересно, что Сахаров, похваливая западную демократию и превознося социализм, сам предлагает для будущего всеземного общества... ни то и ни другое, но проговаривается о совсем другой мечте: „очень интеллигентное ... общемировое руководство”, „мировое правительство” — явно невозможное ни при демократии, ни при социализме, ибо каким же общим голосованием, когда и где может быть избрана умственная элита в правительство? Это уже совсем иной принцип — власти *авторитарной*,



которая могла бы оказаться либо дурной, либо отличной, но способы её создания, принципы её построения и функционирования ничего общего не могут иметь с современной демократией.

Кстати и здесь: эту элиту для мирового правительства Сахаров мыслит, называет интеллектуальной, а предпочувствует — нравственной, в духе этой своей работы, в своём мироощущении.

Упрекнут, что критикуя полезную статью академика Сахарова, мы сами, как будто, не предложили ничего конструктивного.

Если так — будем считать эти строки не легкомысленным концом, а лишь удобным началом разговора.

1969

4

(Добавление 1973 года)

Четыре года спустя, решая включить эту прежнюю статью в нынешний сборник, я должен развить ту мысль, на которой статья была прервана.

Среди советских людей, имеющих неказённый образ мнений, почти всеобщим является представление, что нужно нашему обществу, чего следует добиваться, к чему стремиться: свобода и парламентская многопартийная система. Сторонники этого взгляда объемяют и всех сторонников социализма и шире того. Это представление столь единодушно, что возразить ему даже выглядит неприличным (в кругах неофициальных, разумеется).

В этом почти полном единодушии сказывается наша традиционная пассивная подражательность Западу: пути для России могут быть только повторительные, напряжение большое искать иных. Как метко сказал Сергей Бул-

гаков: „Западничество есть духовная капитуляция перед культурно сильнейшим.”\*

Традиция — давняя, традиция дореволюционной русской интеллигенции, которая не холоднокровно, но жертвенно, но иногда отдавая и жизнь, считала целью своей и народной: свободу (народа) и счастье (народа). Как это осуществилось — знает история. Но независимо от того: вдумается в самый лозунг.

Не входит в нашу тему, но: что понималось под народным *счастьем*? В основном: *мещица*, материальное благосостояние (вполне совпадающее и с сегодняшним официальным: непрерывный рост материального уровня). Сегодня, я думаю, и без дискуссии можно признать, что для *цели*, да ещё нескольких поколений, да ещё с миллионными кровавыми жертвами, этого маловато. Духовный же сектор счастья хотя и подразумевался кадетской интеллигенцией (социалистической меньше), но очень смутно, это труднее было вообразить себе за малопонятный народ: главным образом, конечно, гражданское равенство, образование (западное), отчасти может быть хороводы, даже и обряды, но уж конечно не чтение Житий святых или религиозные диспуты. Всеобщее убеждение выразил Короленко: „Человек создан для счастья как птица для полёта.” И эту формулировку тоже переняла наша сегодняшняя пропаганда: и человек и общество имеют целью — „счастье”...

Хотя кадетская партия для большей близости с народом и назвала себя „партией народной свободы”, однако требование „свободы” и понятие о „свободе” весьма слабо было в нашем народе развито. В своей крестьянской массе народ жаждал *земли*, а это лишь в некотором смысле свобода, в некотором смысле богатство, а в некотором (главном) — обязанность, а в некотором (высшем) — мистическая связь с миром и ощущение самоценности.

Внешняя свобода сама по себе — может ли быть целью сознательно живущих существ? Или она — только форма для осуществления других, высших задач? Мы рождаемся уже существами с внутреннею свободой, свободой воли, свободой выбора, главная часть свободы дана нам уже в рождении. Свобода же внешняя, общественная — очень желательна для нашего неискажённого развития, но не больше, как условие, как среда, считать её

---

\* С. Булгаков. „Два града”. М, 1911, т. 1, От автора, стр. XX

целью нашего существования — бессмыслица. Свою внутреннюю свободу мы можем твёрдо осуществлять даже и в среде внешне несвободной (насмешка Достоевского: „среда заела”). В несвободной среде мы не теряем возможности развиваться к целям нравственным (например: покинуть эту землю лучшими, чем определили наши наследственные задатки). Сопротивление среды награждает наши усилия и бóльшим внешним результатом.

Поэтому в настойчивых поисках политической свободы как первого и главного есть промах: прежде хорошо бы представить, что́ с этой свободой делать. Такую свободу мы получили в 1917 году (и от месяца к месяцу всё бóльшую) — и как же поняли мы её? Каждому ехать с винтовкой, куда считаешь правильным. И с телеграфных столбов срезать проволоку для своих хозяйственных надобностей.

Многopартийная парламентская система, которую у нас признают единственно-правильным осуществлением свободы, в иных западно-европейских странах существует уже и веками. Но вот в последние десятилетия проступили её опасные, если не смертельные пороки: когда отсутствие этической основы для партийной борьбы сотрясает сверхдержавы; когда ничтожный перевес крохотной партии между двух больших определяет надолго судьбу народа и даже смежных с ним; когда безграничная свобода дискуссий приводит к разоружению страны перед нависающей опасностью и к капитуляции в непроигранных войнах; когда исторические демократии оказываются бессильны перед кучкою сопливых террористов. Сегодня западные демократии — в политическом кризисе и в духовной растерянности. И сегодня меньше, чем всё минувшее столетие, приличествует нам видеть в западной парламентской системе единственный выход для нашей страны. Тем более, что готовность России к такой системе, весьма низкая в 1917 году, могла за эти полвека только снизиться.

Заметим, что в долгой человеческой истории было не так много демократических республик, а люди веками жили и не всегда хуже. Даже испытывали то пресловутое счастье, иногда названное пасторальным, патриархальным, и не придуманное же литературой. И сохраняли физическое здоровье нации (очевидно так, раз нации не выроди-

лись). И сохраняли нравственное здоровье, запечатлённое хотя бы в народных фольклорах, в пословицах, — несравненно высшее здоровье, чем выражается сегодня обезьяньими радио-мелодиями, песенками-шлагерами и издевательскою рекламой: может ли по ним космический радиослушатель вообразить, что на этой планете уже были — и оставлены позади — Бах, Рембрандт и Данте?

Среди тех государственных форм было много и авторитарных, то есть основанных на подчинении авторитету, с разным происхождением и качеством его (понимая термин наиболее широко: от власти, основанной на несомненном авторитете, до авторитета, основанного на несомненной власти). И Россия тоже много веков просуществовала под авторитарной властью нескольких форм — и тоже сохраняла себя и своё здоровье, и не испытала таких самоуничтожений, как в XX веке, и миллионы наших крестьянских предков за десять веков, умирая, не считали, что прожили слишком невыносимую жизнь. Функционирование таких систем во многих государствах целыми веками допускает считать, что в каком-то диапазоне власти они тоже могут быть сносными для жизни людей, не только демократическая республика.

У авторитарных государственных систем при достоинствах устойчивости, преемственности, независимости от политической трясучки, само собой есть свои большие опасности и пороки: опасность ложных авторитетов, насильственное поддержание их, опасность произвольных решений, трудность исправить такие решения, опасность сползания в тиранию. Страшны не авторитарные режимы, но режимы, не отвечающие ни перед кем, ни перед чем. Самодержцы прошлых, религиозных, веков при видимой неограниченности власти ощущали свою ответственность перед Богом и собственной совестью. Самодержцы нашего времени опасны тем, что трудно найти обязательные для них высшие ценности.

Верней сказать: по отношению к истинной земной цели людей (а она не может сводиться к целям животного мира, к одному лишь беспрепятственному существованию) — государственное устройство является условием второстепенным. На эту второстепенность указывает нам Христос: „отдайте кесарево кесарю” — не потому, что

каждый кесарь достоин того, а потому что кесарь занимается не главным в нашей жизни.

И если Россия веками привычно жила в авторитарных системах, а в демократической за 8 месяцев 1917 года потерпела такое крушение, то может быть — я не утверждаю это, лишь спрашиваю — может быть следует признать, что эволюционное развитие нашей страны от одной авторитарной формы к другой будет для неё естественней, плавнее, безболезненней? Возразят: эти пути совсем не видны, и новые формы тем более. Но и реальных путей перехода от нашей сегодняшней формы к демократической республике западного типа тоже нам никто ещё не указал. А по меньшей затрате необходимой народной энергии первый переход представляется более вероятным.

Государственная система, существующая у нас, не тем страшна, что она недемократична, авторитарна на основе физического принуждения, — в таких условиях человек ещё может жить без вреда для своей духовной сущности.

Всемирно-историческая уникальность нашей нынешней системы в том, что сверх всех физических и экономических понуждений от нас требуют ещё и полную *отдачу души*: непрерывное активное участие в общей, для всех заведомой *лжи*. Вот на это растление души, на это духовное порабощение не могут согласиться люди, желающие быть людьми.

Когда кесарь, забрав от нас кесарево, тут же, ещё настойчивей, требует отдать и Божье — этого мы ему жертвовать не смеем!

Главная часть нашей свободы — внутренняя, всегда в нашей воле. Если мы сами отдаём её на разврат — нам нет людского звания.

Но заметим: коль скоро абсолютно-необходимая задача сводится не к политическому освобождению, но к *освобождению нашей души от участия в навязываемой лжи*, она и не требует никаких физических, революционных, общественных, организационных действий, митингов, забастовок или союзов, о чём нам и подумать страшно и от чего отговориться условиями вполне естественно. Нет! Она есть *всего лишь* доступный нравственный шаг каждого отдельного человека. И ни перед живущими, ни перед потомками, ни перед друзьями, ни перед детьми не

оправдается никто, добровольно бегавший гончею лжи или стоявший её подпоркою.

Винить нам — некого, кроме себя, и потому не стоят ни гроша все разоблачительные анонимные памфлеты, программы и объяснения. Каждый из нас — в грязи и навозе по *собственной* воле, и ничья грязь не осветляется грязью соседей.

Октябрь 1973

## РАСКАЯНИЕ И САМООГРАНИЧЕНИЕ

как категории национальной жизни

### 1

Блаженный Августин написал однажды: „*Что́ есть государство без справедливости? Банда разбойников.*” Разительную верность такого суждения, я думаю, охотно признают очень многие и сегодня, через 15 веков. Но заметим приём: на государство расширительно перенесено этическое суждение о малой группе лиц.

По нашей человеческой природе мы естественно судим так: обычные индивидуальные человеческие оценки и мерки применяем к более крупным общественным явлениям и ассоциациям людей — вплоть до целой нации и государства. И у разных авторов разных веков можно найти немало таких перенесений.

Однако, социальные науки — чем новее, тем строже — запрещают нам такие распространения. Серьёзными, научными теперь признаются лишь те исследования обществ и государств, где руководящие приёмы — экономический, статистический, демографический, идеологический, двумя разрядами ниже — географический, с подозрительностью — психологический, и уж совсем считается провинциально оценивать государственную жизнь этической шкалой.

А между тем люди, живя общественными скоплениями, несколько не перестают быть людьми и в скоплениях не утрачивают (лишь огрубляют, иногда сдерживают, иногда разнуздывают) всё те же основные человеческие побуждения и чувства, всем нам известный спектр их. И трудно понять эту надменную грубизну современного направления социальных наук: почему оценки и требования, так обязательные и столь применимые к отдельным людям, семьям, малым кружкам, личным отношениям, — уж вовсе сразу отвергаются и запрещаются при переходе

к тысячным и миллионным ассоциациям? На такое распространение никак не меньше оснований, чем из грубого экономического процесса выводить сложное психологическое поведение обществ. Барьер переноса во всяком случае ниже там, где сам принцип не перерождается, не требует рожденья живого из мёртвого, а лишь распространения себя на большие человеческие массы.

Такой перенос вполне естественен для религиозного взгляда: не может человеческое общество быть освобождено от законов и требований, составляющих цель и смысл отдельных человеческих жизней. Но и без религиозной опоры такой перенос легко и естественно ожидается. Это очень человечно: применить даже к самым крупным общественным событиям или людским организациям, вплоть до государств и ООН, наши душевные оценки: благородно, подло, смело, трусливо, лицемерно, лживо, жестоко, великодушно, справедливо, несправедливо... Да так все и пишут, даже самые крайние экономические материалисты, ибо остаются же людьми. И ясно: какие чувства преимущественно побеждают в людях данного общества — те и окрашивают собой в данный момент всё общество, и становятся нравственной характеристикой уже всего общества. И если нечему доброму будет распространиться по обществу, то оно и самоуничтожится или оскотеет от торжества злых инстинктов, куда б там ни показывала стрелка великих экономических законов.

И всегда открыто для каждого, даже неучёного, и представляется весьма плодотворным: не избегать рассмотрения общественных явлений в категориях индивидуальной душевной жизни и индивидуальной этики.

Мы здесь попытаемся сделать так лишь с двумя: раскаянием и самоограничением.

## 2

Труден ли, лёгок ли вообще этот перенос индивидуальных человеческих качеств на общество, — он труден безмерно, когда желаемое нравственное свойство самими отдельными людьми почти нацело отброшено. Так — с раскаянием. Дар раскаяния, может быть более всего отли-



чающий человека от животного мира, глубже всего и утерян современным человеком. Мы повально устыдились этого чувства, и всё менее на Земле заметно его воздействие на *общественную* жизнь. Раскаяние утеряно всем нашим ожесточённым и суматошным веком.

И как же переносить на общество и нацию то, чего не существует на индивидуальном уровне? — тема этой статьи может показаться преждевременной и даже ненужной. Но мы исходим из несомненности, как она представляется нам: что и раскаяние (покаяние) и самоограничение вот-вот начнут возвращаться в личную и общественную сферу, уже подготовлена полость для них в современном человечестве. А стало быть пришло время обдумать этот путь и общенационально — понимание его не должно отстать от неизбежных самотекущих государственных действий.

Мы так заклинили мир, так подвели его к самоистреблению, что подкатило нам под горло самое время каяться: уж не для загробной жизни, как теперь представляется смешным, но для земной, но чтоб на Земле-то нам уцелеть. Тот, много раз предсказанный прорицателями, а потом отодвинутый *конец света* — из достояния мистики подступил к нам трезвой реальностью, подготовленной научно, технически и психологически. Уже не только опасность всемирной атомной войны, это мы переболелись, это море нам по колено, но расчёты экологов объясняют нам нас в полном капкане: если не переменимся мы с нашим истребительно-жадным *прогрессом*, то при всех вариантах развития в XXI веке человечество погибнет от истощения, бесплодия и замусоренности планеты.

Если к этому добавить накал межнационального и межрасового напряжения, то не покажется натяжкой сказать: что без *раскаяния* вообще мы вряд ли сможем уцелеть.

Уж как наглядно, как дорого заплатило человечество за то, что во все века все мы предпочитали порицать, разоблачать и ненавидеть *других*, вместо того чтобы порицать, разоблачать и ненавидеть себя. Но при всей наглядности мы и к исходу XX века не хотим увидеть и признать, что мировая разделительная линия добра и зла проходит не между странами, не между нациями, не между

партиями, не между классами, даже не между хорошими и плохими людьми: разделительная линия пересекает нации, пересекает партии, и в постоянном перемещении то теснима светом и отдаёт больше ему, то теснима тьмою и отдаёт больше ей. Она пересекает сердце каждого человека, но и тут не прорублена канавкою навсегда, а со временем и с поступками человека — колеблется.

И если только это одно принять, тысячу раз выясненное, особенно искусством, — то какой же выход и остаётся нам? Не партийное ожесточение и не национальное ожесточение, не до мнимой *победы* тянуть все начатые накалённые движения, — но только раскаяние, поиск собственных ошибок и грехов. Перестать винить всех *других* — соседей и дальних, конкурентов географических, экономических, идеологических, всегда оправдывая лишь себя.

Раскаяние есть первая верная пядь под ногой, от которой только и можно двинуться вперёд не к новой ненависти, а к согласию. Лишь с раскаяния может начаться и духовный рост.

Каждого отдельного человека.

И каждого направления общественной мысли.

Правда, раскаявшиеся политические партии мы так же часто встречаем в истории как тигро-голубей. (Ещё политические деятели могут раскаиваться, многие не теряют людских качеств. А *партии* — видимо, вполне бесчеловечные образования, сама цель их существования запрещает им каяться.)

Зато *нации* — живейшие образования, доступные всем нравственным чувствам и, как ни мучителен этот шаг, — также и раскаянию. Ведь „идея нравственная всегда предшествовала зарождению национальности“, — пишет Достоевский („Дневник писателя“; его примеры: еврейская нация создалась лишь после Моисея, многие из мусульманских — после Корана). „А когда с веками в данной национальности расшатывается её духовный идеал, так падает национальность и все её гражданские уставы и идеалы.“ Как же обделить нацию правом на раскаяние?

Однако тут сразу возникают недоумения, по меньшей мере такие:

(а) Не бессмысленно ли это? Ожидать раскаяния от

целой нации — значит прежде допустить грех, порок, недостаток целой нации? Но такой путь мысли нам решительно запрещён, по крайней мере уже сто лет: судить о нациях в целом, говорить о качествах или чертах целой нации.

(б) Масса нации в целом не совершает единых поступков. А при многих государственных системах она даже не может ни помешать, ни содействовать решению своих руководителей. В чём же ей раскаиваться?

И наконец, даже если отвести два первых:

(в) Как может нация в целом выразить раскаяние? Ведь не больше, чем устами и перьями одиночек?

Попытаемся ответить на эти вопросы.

### 3

(а) Именно тот, кто оценивает существование наций наиболее высоко, кто видит в них не временный плод социальных формаций, но сложный, яркий неповторимый и не людьми изобретенный организм, — тот признаёт за нациями и полноту духовной жизни, полноту взлётов и падений, диапазон между святостью и злодейством (хотя бы крайние точки достигались лишь отдельными личностями). Конечно, всё это сильно меняется с ходом времени, с течением истории, та самая подвижная разделительная черта между добром и злом, она всё время колеблется по области сознания нации, иногда очень бурно, — и потому всякое суждение и всякий упрёк и самоупрёк, и само раскаяние связаны с определённым временем, утекают вослед ему и только напоминательными контурами остаются в истории.

Но ведь и отдельные личности так же неузнаваемо меняются в течении своей жизни, под влиянием её событий и своей духовной работы (и в этом — надежда, и спасение, и кара человека, что изменения доступны нам и за свою душу ответственные мы сами, а не рождение и не среда!), тем не менее мы рискуем раздавать оценки „дурных” и „хороших” людей, и этого нашего права обычно не оспаривают.

Между личностью и нацией сходство самое глубокое — в мистической природе нерукотворности той и другой.

И нет человеческих доводов — почему, разрешая оценивать одну изменчивость, запрещать оценивать другую. Это — не более как условность престижа, может быть и предусмотрительная против неосторожных употреблений.

Но, продолжая стоять на ощущении интуитивном, — как чувствуется, а не как указывается позитивным знанием: у подавляющего большинства людей существуют национальные симпатии и антипатии, иногда они общи какому-то кружку людей, узкому или широкому, и внутри него высказываются (не слишком вслух, стыдясь перед лицом века), иногда это чувство (любви или ненависти, но чаще ненависти, увы) такое сильное, что захлёстывает целые нации и уже прорывается трубно, если не воинственно. Часто эти чувства вызваны ошибочным или поверхностным опытом субъекта, всегда — они ограничены во времени, то возникают, то гаснут, но они *существуют*, и даже очень категорические, это известно всем, и лицемерие — в запрете об этом говорить.

Меняются условия жизни нации — меняются и обстоятельства: есть ли ей в чём раскаиваться *сегодня*. Сегодня — может и не быть. Но, по изменчивости существования: как человеку не прожить, не совершив греха, так не прожить и нации. И нельзя представить себе такой, которая за всю длительность своего бытия не имела бы, в чём покаяться. Без исключения каждая нация, как бы она ни ощущала себя сегодня гонимой, обделённой и неущербно-правой, — в какое-то время несомненно внесла и свою долю бессердечия, несправедливости, надменности.

Примеров слишком много, их вереницы, а эта статья — не историческое исследование. Подлежит отдельному размышлению и: вины какой давности ещё висят на национальной совести, а какие — уже нет? Для Турции, со свежей виною в армянской резне, прежних несколько веков насилия над балканскими славянами — ещё живая вина сегодня? или уже нет? (Пусть не упрекнёт меня нетерпеливый читатель, что я не сразу начинаю с России, — конечно, вот-вот будет Россия, как можно иначе у русских?)

(б) Сейчас никто не будет оспаривать, что английский, французский или голландский народ целиком несёт на себе вину (и в душе своей — след) колониальной дея-

тельности своих государств. Их государственная система допускала значительные помехи колонизации со стороны общества. Но помех таких было мало, нация втягивалась в это завлекательное мероприятие кто участием, кто сочувствием, кто признанием.

А вот случай гораздо ближе, из середины XX века, когда общественное мнение западных стран почти господствует над деятельностью своих правительств. После окончания 2-й мировой войны британская и американская военные администрации по сговору с советской систематически выдавали ей на юге Европы (Австрия, Италия) — и не только там! но и со своих территорий — *сотни тысяч* гражданских беженцев из СССР (это — помимо военных контингентов), не желавших возвращаться на родину, — выдавали *обманом*, не предупреждая, против воле и желания, выдавали по сути на смерть, — вероятно, половина их убита лагерями. Соответствующие документы до сих пор тщательно скрываются. Но — были живые свидетели, и сведения, конечно, растекались среди англичан и американцев, и за четверть века было немало возможностей в тех странах послать запросы, поднять бучу, судить виновных, — но не последовало ни движения. Причина: что судьбы восточноевропейцев для сегодняшнего Запада — отдалённые тени. Однако равнодушные — никогда не снимало вины. Именно через равнодушное молчание это гнусное предательство военной администрации расплодилось и запятнало национальную совесть тех стран. И раскаяния — не выразил никто доныне.

Сегодня в Уганде ретивый генерал Амин высылает азиатов как будто своим единоличным решением, — но несомненно корыстное сочувствие населения, поживляющегося добычею высылаемых. Так начинают угандийцы свой национальный путь, и как во всех молодых странах, прежде страдавших от угнетения, а ныне рвущихся к физической силе, раскаяние — самое последнее в ряду тех чувств, которые им предстоит переживать.

Гораздо сложнее доказывать ответственность албанцев за деятельность своего фанатического правителя, тяжестью гнёта только потому обращённую внутрь, что на внешнее давление не хватает сил. Но та энтузиастическая

прослойка, на которой он парит, — не из простых ли албанских семей собралась?

В том и особенность единых организмов, что они вместе пользуются и вместе страдают от действия каждого их органа. Даже когда большинство населения вовсе бессильно помешать своим государственным руководителям — оно обречено на ответственность за грехи и ошибки тех. И в самых тоталитарных, и в самых бесправных странах мы все несём ответственность — и за своё правительство, каково оно, и за походы наших военачальников, и за выслуги наших солдат, и за выстрелы наших пограничников, и за песни нашей молодёжи.

Тысячелетиями известно выражение: *за грехи отцов*. Кажется: мы не можем за них раскаиваться, мы даже не жили в то время! мы ещё менее за то ответственны, чем подданные тоталитарного режима! Но выражение — не спуста взято, и слишком часто мы видели и видим *расплату* детей за отцов.

Мистически спаянная в общности вины, нация направлена и к неизбежности общего раскаяния.

(в) Индивидуальное выражение общего раскаяния не только спорно по представительности — насколько выразитель его полномочен. Оно и чрезвычайно тяжело для самих выразителей: в отличие от раскаяния индивидуально, где советы посторонних и даже близких не могут иметь для тебя веса, коль скоро в это состояние ты уже вступил душою, — тот, кто взялся выразить раскаяние национальное, всегда будет подвергаться веским отговорам, укорам, предостережениям: как бы не опозорить свою страну, как бы не дать пищу её врагам. К тому ж, единолично произнося слова раскаяния в масштабах общественных, неизбежно *делить* вину, указывать на разные степени её у разных групп, — а это уже меняет, затемняет самый дух и тон раскаяния. Только в историческом отдалении мы можем с несомненностью судить, насколько верно было передано одним человеком истинное душевное движение своей нации.

Но бывают примеры — и Россия яркий тому, когда раскаяние выражено не однократно, не единоминутно одним писателем или одним оратором, а стало постоянным чувствованием всей активной общественности. Так в XIX

веке распространилось раскаяние в русской дворянской интеллигенции (даже с таким пережлётством, что покаянщики за собой уже не признавали ничего доброго, а за простым народом никаких грехов) — и развиваясь, и захватывая интеллигенцию разночинную, и принимая реальные формы, стало историческим действием неисчислимых — и даже обратных — последствий.

Раскаяние нации вернее всего, осязательнее всего и выражается в её делах. Делах конечных.

Сильное движение раскаяния мы видим и в нашу расчётливую беспокаянную эпоху — у страны, несущей на себе вину двух мировых войн. Увы, не у всей той нации. У той половины (трёх четвертей) её, где на пути раскаяния не стала запретной бетонной стеной идеология ненависти.

Это раскаяние — не словесное, не в уверениях, а в реальных поступках, в больших уступках, драматически явлено нам через Canossa-Reise канцлера Брандта в Варшаву, в Освенцим, затем в Израиль. Элементы этого раскаяния вероятно влились и в опрометчивую Ostpolitik. Практически эта политика не сбалансирована, какой бывают все „политики” всегда. Она родилась, быть может, из нравственных задач, в облаке того раскаяния, которое наполнило атмосферу Германии после второй мировой войны. Именно этим нравственным импульсом, а не государственным расчётом, она и выделяется. Подобные движения жаждала увидеть сегодня и от других наций и стран. (От первых — нас!) Оправдала бы она себя и практически, если бы от восточноевропейских партнёров встретила бы такое же душевное движение, а не выхватывающую политическую корысть.

#### 4

Однако пристойно автору русскому и пишущему для России обратиться и к раскаянию — русскому. Эта статья и пишется с верой в природную склонность русских к раскаянию, к покаянию, а потому в нашу способность даже и в нынешнем состоянии найти импульс к нему и явить всемирный пример.

Неслучайно одна из опорных пословиц, выражающих русское миропонимание, была (была до революции...)

НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ.

Конечно, не от одной природы нашей так, но, влиятельной, от православия, очень искренне усвоенного когда-то всею народной толщей. (Это теперь мы почти поголовно уверены, что *сила соломѹ ломит*, и соответственно служим тому.)

Дар раскаяния был послан нам щедро, когда-то он заливал собою обширную долю русской натуры. Неслучайно так высоко стоял в нашей годовой череде *прощёный день*. В дальнем прошлом (до XVII века) Россия так богата была движениями покаяния, что оно выступало среди ведущих русских национальных черт. В духе допетровской Руси бывали толчки раскаяния — вернее религиозного покаяния, массового: когда оно начиналось во многих отдельных грудях и сливалось в поток. Вероятно, это и есть высший, истинный путь раскаяния всенародного. Ключевский, исследуя хозяйственные документы древней Руси, находит много примеров, как русские люди, ведомые раскаянием, прощали долги, кабалу, отпускали на волю холопов, и тем значительно смягчался юридически-жестокый быт. Широкими жертвами завещателей снижался смысл материального накопления. Известна множественность покаянного ухода в скиты, в отшельничество, в монастыри. И летописи, и древнерусская литература изобилуют примерами раскаяния. И террор Ивана Грозного ни по охвату, ни тем более по методичности не разлился до сталинского во многом из-за покаянного опамьтования царя.

Но начиная от бездушных реформ Никона и Петра, когда началось вытравление и подавление русского национального духа, началось и выветривание покаяния, высушивание этой способности нашей. За чудовищную расправу со старообрядцами — кострами, щипцами, крюками и подземельями, ещё два с половиной века продолженную бессмысленным подавлением двенадцати миллионов безответных безоружных соотечественников, разгоном их во все необжитые края и даже за края своей земли, — за тот грех господствующая церковь никогда не произнесла покаяния. И это не могло не лечь валуном на всё русское бу-



дущее. А просто: в 1905 гонимых *простили*... (И то слишком поздно, так поздно, что самих гонителей это уже не могло спасти.)

Весь петербургский период нашей истории — период внешнего величия, имперского чванства, всё дальше уходил русский дух от раскаяния. Так далеко, что мы сумели на век или более передержать немыслимое крепостное право — теперь уже бóльшую часть своего народа, собственно наш народ содержит как рабов, не достойных звания человека. Так далеко, что и прорыв раскаяния мыслящего общества уже не мог вызвать умиротворения нравов, но окутал нас тучами нового ожесточения, ответными безжалостными ударами обрушился на нас же: невиданным террором и возвратом, через 70 лет, крепостного права ещё худшего типа.

В XX веке благодатные дожди раскаяния уже не смягчали закалевшей русской почвы, выжженной учениями ненависти. За последние 60 лет мы не только теряли дар раскаяния в общественной жизни, но и осмелили его. Опрометчиво было обронено и подвергнуто презрению это чувство, опустошено и то место в душе, где раскаяние, покаяние жило. Вот уже полвека мы движимы уверенностью, что *виноваты* царизм, патриоты, буржуи, социал-демократы, белогвардейцы, попы, эмигранты, диверсанты, кулаки, подкулачники, инженеры, вредители, оппозиционеры, враги народа, националисты, сионисты, империалисты, милитаристы, модернисты, — только не мы с тобой! Стало быть и исправляться не нам, а им. А они — не хотят, упираются. Так как же их исправлять, если не штыком (револьвером, колючей проволокой, голодом)?

Одна из особенностей русской истории, что в ней всегда, и до нынешнего времени, поддерживалась такая направленность злодеяний: в массовом виде и преимущественно мы причиняли их не вовне, а внутрь, не другим, а — своим же, себе самим. От наших бед больше всех и пострадали русские, украинцы да белорусы. Оттого и пробуждаясь к раскаянию, нам много вспоминать придётся внутреннего, в чём не укорят нас извне.

Легко ли будет всё честно вспомнить — нам, утерявшим самое чувство правды? Мы, нынешнее старшее и среднее поколения, всю нашу жизнь только и брели и хлюпали

зловонным болотом общества, основанного на насилии и лжи, — как же не замараться? Есть такие прирождённые ангелы — они как будто невесомы, они скользят как будто поверх этой жижи, нисколько в ней не утопая, даже касаясь ли стопами её поверхности? Каждый из нас встречал таких, их не десятеро и не сто на Россию, это — праведники, мы видели их, удивлялись („чудаки”), пользовались их добром, в хорошие минуты отвечали им тем же, они располагают, — и тут же погружались опять на нашу обречённую глубину. Мы брели кто по щиколотку (счастливы), кто по колено, кто по пояс, кто и по горло, кому как приходилось в разное время и по особенностям натуры, а кто и вовсе погружался, лишь редкими пузырьками сохранившейся души ещё напоминая о себе на поверхности.

А общество — из кого же составлено, как не из нас? Это царство неправды, силы, бесполезности справедливого, неверия в доброе, — эта болотная жижа, она и была составлена из нас, из кого же другого? Мы привыкли, что надо подчиняться и лгать, иначе не проживёшь, — и в том воспитывали наших детей. Каждый из нас, если станет прожитую свою жизнь перебирать честно, без уловок, без упрятков, вспомнит не один такой случай, когда притворился, что уши его не слышат крика о помощи, когда отвёл равнодушные глаза от умоляющего взора, сжёг чьи-то письма и фотографии, которые обязан был сохранить, забыл чьи-то фамилии и знакомство со вдовами, отвернулся от конвоируемых и, конечно же, всегда голосовал, вставал и аплодировал мерзости (хоть и в душе испытывая мерзость), — а как бы иначе уцелеть? Но и: великий Архипелаг как бы иначе простоял среди нас 50 лет незамеченный?

Уж говорить ли о прямых доносчиках, предателях и насильниках, которых, наверно, тоже был не один миллион, иначе как бы управиться с таким Архипелагом?..

И если мы теперь жаждем — а мы, проясняется, жаждем — перейти наконец в общество справедливое, чистое, честное, — то каким же иным путём, как не избавясь от груза нашего прошлого, и *только* путём раскаяния, ибо виновны все и замараны все? Социально-экономическими преобразованиями, даже самыми мудрыми и угаданными,

не перестроить царство всеобщей лжи в царство всеобщей правды: кубики не те. \*

А если прольются многие миллионы раскаяний, признаний и скорбей — пусть не все публичные, пусть между друзей и знающих тебя, — то всё вместе как же это и называть, если не *раскаянием национальным*?

Но тут наша попытка, как и всякая попытка национального раскаяния, сразу напарывается на возражение из собственной среды: Россия слишком много выстрадала, чтобы ещё каяться, её надо жалеть, а не растравлять напоминованием о грехах.

И правда: как наша страна пострадала в этом веке, сверх мировых войн уничтожив сама в себе до 70 миллионов человек, — так никто не истреблялся в современной истории. И правда: больно упрекать, когда надо жалеть. Но раскаяние и всегда больно, без того б ему не было нравственной цены. Те жертвы были — не от наводнений, не от землетрясений. Жертвы были и невинные, и винные, но их страшная сумма не могла бы накопиться от рук только чужих: для того нужно было соучастие *наше, всех нас, России*.

Даже и более жёсткая, холодная точка зрения, нет — течение, определилось в последнее время. Вот оно (обнажённо, но не искажённо): русский народ по своим качествам благороднейший в мире; его история ни древняя, ни

---

\* Линия раскаяния отчётливее понимается, отличается, если сравнить её с линией защиты гражданских прав. Вот свежий недавний пример, в нём как в капельке видно. Александр Галич в прошлые годы в русле казённого творчества написал сценарий по поводу советско-французской дружбы, весьма одобренный, допущенный на советские экраны, и этим определяется его духовная цена. По случаю недавнего дипломатического торжества признано было уместным этот фильм демонстрировать снова, но фамилию провинившегося с тех пор сценариста — вырезать. И что же сценарист? Как бы естественно реагировать ему? Линия раскаяния: испытать бы радость, что позор прежней духовной сделки как бы сам отваливается от него, сам собою отпадает грех давний. Даже, может быть, и публично выступить с этим очистительным чувством? И сценарист выступает публично, да, — но с *протестом*, отстаивая своё право на подпись под фильмом. Ущемление гражданского права кажется ему важнее, чем очищение от старого греха.

новейшая не запятнана ничем, недопустимо упрекать в чём-либо ни царизм, ни большевизм; не было национальных ошибок и грехов ни до 17-го года, ни после; мы не пережили никакой потери нравственной высоты и потому не испытываем необходимости совершенствоваться; с окраинными республиками нет национальных проблем и сегодня, ленинско-сталинское решение идеально; коммунизм даже не мыслим без патриотизма; перспективы России-СССР сияющие; принадлежность к русским или не русским определяется исключительно кровью, что же касается духа, то здесь допускаются любые направления, и православие — нисколько не более русское, чем марксизм, атеизм, естественно-научное мировоззрение или например индуизм; писать Бог с большой буквы совершенно необязательно, но Правительство надо писать с большой.

Всё это вместе у них называется *русская идея*. (Точно назвать такое направление: национал-большевизм.)

„Мы русские, какой восторг!“ — воскликнул Суворов. „Но и какой соблазн“, — добавил Ф. Степун после революционного нашего опыта.

А мы понимаем патриотизм как цельное и настойчивое чувство любви к своей нации со служением ей не угодливым, не поддержкою несправедливых её притязаний, а откровенным в оценке пороков, грехов и в раскаянии за них. Усвоить бы нам, что не бывает народов, великих вечно или благородных вечно: это звание трудно заслуживается, а уходит легко. Что величие народа не в глоссе труб: неоплатную духовную цену приходится платить за физическую мощь. Что подлинное величие народа — в высоте *внутреннего* развития; в душевной широте (к счастью природнённой нам); в безоружной нравственной твёрдости (какую недавно чехи и словаки показали Европе, впрочем не надолго потревожив совесть её).

В советский период ещё раздулась и ещё слепее стала заносчивость предыдущего петербургского периода. И так всё далее от раскаянного сознания это уводило нас, что не легко убедить, заставить внять наших соотечественников, что ныне мы, русские, не во славе сияющей несёмся по небу, но сидим потерянные на обугленном духовном пепелище. И если не вернём себе дара раскаяния, то погибнет и наша страна, и увлечёт за собою весь мир.

Только через полосу раскаяния множества лиц могут быть очищены русский воздух, русская почва, и тогда сумеет расти новая здоровая национальная жизнь. По слою лживому, неверному, закоренелому — чистого вырастить нельзя.

5

Пытаясь выразить национальное раскаяние, приходится испытать не только враждебное сопротивление с одной стороны, но и страстное вовлечение с другой. Писал С. Булгаков, что „только страждущая любовь даёт право на национальное самозаушение”. \* Кажется: нельзя „раскаиваться”, ощущая себя сторонним или даже враждебным тому народу, „за” который взялся раскаиваться? Однако, именно такие охотники уже проявились. А при затемнённости нашей близкой истории, уничтожении архивов, потере свидетельств, потому беззащитности нашей от любых самоуверенных и непроверенных суждений, от любых обидных извращений, вероятно много ждёт нас таких попыток, и вот первая же из них — достаточно настойчивая, претендующая быть не меньше, как „национальным раскаянием”.

Не миновать её тут разобрать. Это статьи в № 97 „Вестника Русского Христианского Студенческого Движения”, особенно — „Metanoia” (самоосуждение, самопроверка, от Булгакова же и взято, из 1911 года) анонимного автора NN и „Русский мессианизм” такого же анонима Горского.

В самом смелом Самиздате всё равно будет оглядка на условия. Здесь — в зарубежном издании и анонимы, авторы решительно не опасаются ни за себя, ни за читателей и пользуются случаем однажды в жизни излить душу — чувство, очень понятное советскому человеку. Резкость — предельная, слог становится развязен, даже и с заносом, авторы не боятся не только властей, но уже и читательской критики: они невидимки, их не найти, с ними не поспо-

---

\* С. Булгаков. „Два града”. М, 1911, т. 2, стр. 289

рять. Ещё и от этого урезчены их судейские позиции по отношению к России. Нет и тени совинновости авторов со своими соотечественниками, с нами, остальными, а только: обличение безнадёжно порочного русского народа, тон презрения к совращённым. Нигде не ощущается „мы” с читателями. Авторы, живущие среди нас, требуют покаяния от нас, сами оставаясь неуязвимы и невиновны. (Эта их чужеродность наказывает их и в языке, вовсе не русском, но в традиции поспешно-переводной западной философии, как торопились весь XIX век.)

Статьи совершают похороны России со штыковым проколом на всякий случай — как хоронят эков: лень проверять, умер ли, не умер, прокалывай штыком и сбрасывай в могильник.

Вот несколько утверждений оттуда.

— (Горский) Русский народ, начиная свой бунт против Бога, знал, что осуществление социалистической религии возможно лишь через деспотизм.

Да когда ж это мы в лаптях были так остро развиты? Бунт начинала — интеллигенция, но и она *не знала* того, что так доступно формулировать в 70-е годы XX века.

— (NN) Россией принесено в мир Зла больше, чем любой другой страной.

Не станем говорить, что Россией принесено в мир мало зла. А — так называемая Великая французская революция и, стало быть, Франция, принесли зла — меньше? Это — подсчитано? А Третий Райх? А марксизм сам по себе? уж даже если ни о ком другом... И наоборот: наш бесчеловечный опыт, который мы перенесли в основном собственной кровью и кровью роднейших нам народов, — может быть и пользу принёс кое-кому на Земле подальше? Может быть научил кое-где правящие тупые классы в чём-то уступить? Может быть, освобождение колониального мира произошло не без влияния октябрьской революции, как реакция — не допустить до нашего? Это Бог один может знать, это не нам судить, какая страна принесла больше всех зла.

— (Горский) „В революцию народ оказался мнимой величиной”. „Собственная национальная культура

совершенно чужда русскому народу.” Доказательство: „В первые годы революции иконы оказались пригодны на дрова, храмы на кирпичи.”

Вот это и есть: приходи кто хочешь и суди с наскока, наши летописи изничтожены. Если народ оказался мнимой величиной — тогда он в революции и не виноват, вопреки остальным обвинениям? Если он оказался мнимой величиной — кто же тогда сопротивлялся разливистыми крестьянскими восстаниями — тамбовским, сибирским? До мнимости ещё надо было его *довести* многолетним истреблением, согбением и соблазном — и именно об этом истреблении Горский как будто не ведаёт. Сложный процесс — и до чего ж упрощён. В 1918 русские крестьяне поднимались за церковь на бунты, и таких насчитывается *несколько сот*, подавленных красным оружием. Вот после того, как уничтожили духовенство и вырезали защитников веры в крестьянстве и в городских приходах, остальных напугали, а подросла комсомольско-пионерская молодёжь, — после этого, да, пошли храмы ломami бить (и то больше: комсомольцы да по службе на эту работу поставленные). Но и с тех пор в северных краях столичным искателям не „за бесценок продаются” иконы, как пишет знающий автор (за бутылку бывает, да), а и да-ро-м же отдаются: считается грехом брать деньги за них. А вот прогрессивные юные интеллигенты, получившие такой подарок, этими иконами нередко потом выгодно торгуют с иностранцами.

Но более всего в объёмной этой публикации отдаётся пыла и страниц разоблачению *русского мессианизма*.

— (Горский) „Преодоление национального мессианского соблазна — первоочередная задача России.” Русский мессианизм — живучее самой России: Россия умерла, она „археологична”, как Византия, а мессианизм её не умер, переродился в советский.

Такое лукавое извращение нашей истории даже не сразу понимается, настолько не ожидаешь его. Сперва с дутым академизмом прослеживается „история” злосчастного бессмертного мессианизма, который однако почему-то пребывал в России не всегда: два века (с XV по XVII) будто бы наличествовал, потом два века явно начисто от-

существовал, потом в XIX веке будто опять возник (и „захватывал интеллигенцию”, — кто помнит такое?), в революцию прикинулся „пролетарским мессианизмом”, а в последние десятилетия совлёк маску и снова открылся как русский мессианизм. Так на пунктире, в натяжках и перескоках, идея Третьего Рима вдруг выныривает в виде... Третьего Интернационала! (Ученическое повторение заносов Бердяева.) С ненавидящим настоянием по произволу извращается вся русская история для какой-то всё неулавливаемой цели — и это под соблазнительным видом *раскаяния*! Удары будто направлены всё по Третьему Риму да по мессианизму, — и вдруг мы обнаруживаем, что лом долбит не дряхлые стены, а добивает в лоб и в глаз — давно опрокинутое, еле живое русское национальное самосознание. И вот как уцеливает:

- „русская идея есть главное содержание большевизма”! „Кризис коммунистической идеи есть кризис того источника веры, которым долго (по тексту — веками, А. С.) жила Россия.”

Вот как, под видом раскаяния, нас выворачивают и топчут. Россия „долгое время жила” православием, известно. А главное содержание большевизма — неужённый, воинственный атеизм и классовая ненависть. Так вот, по нео-христианскому автору это всё едино суть. Традиция бешеного атеизма принята в традицию древнего православия. „Русская идея” — „главное содержание” интернационального учения, пришедшего к нам с Запада? А когда Марат требовал „миллион голов” и утверждал, что голодный имеет право *съесть* сытого (какие знакомые ситуации!), — это тоже было „русское мессианское сознание”? Коммунистическими движениями кишела Германия XVI века, — отчего же в России в XVII веке, в Смутное время, при такой „русской идее” ничего подобного не было?

- (NN) „Только на основе вселенской русской спеси стал возможен соблазн революции.”

Как это сплести? Если на „вселенской русской спеси” стоял царизм, а революция есть разрушение и смывание кровью всей конструкции царизма, то почему же она *происходит* от „русской спеси”?



— (Челнов) „Пролетарский мессианизм приобретает ярко выраженный русофильский характер.”

Это сегодня, сейчас приобретает, когда половина русских находится в крепостном состоянии, без паспортов. А найдём ли память и мужество вспомнить те первые революционные лет 15, когда „пролетарский мессианизм приобрёл ярко выраженный” *русофобский* характер? Те годы, с 1918 по 1933, когда „пролетарский мессианизм” уничтожил цвет русского народа, цвет старых классов — дворянства, купечества и священства, потом цвет интеллигенции, потом цвет крестьянства? Пока он ещё не принял „ярко выраженного русофильского характера”, а имел ярко выраженный русофобский, — что скажем о времени том?..

— (NN, Челнов) Большевизм есть органическое порождение русской жизни.

Так или не так — об этом ещё долго и многие будут споры идти. И решение не может найтись ни в чьей публицистической горячности, но — подробными обоснованными исследованиями. Один „Тихий Дон” — подлинный, не искажённый безграмотными врезками, больше свидетельствует здесь, чем дюжина современных публицистов. Ещё долго будут спорить наши учёные и художники: была ли русская революция следствием уже произошедшего в народе нравственного переворота? Или наоборот? И да не будут при том забыты никакие обстоятельства, теперь не напоминаемые.

Конечно, побеждая на русской почве, как движению не увлечь русских сил, не приобрести русских черт! Но и вспомним же интернациональные силы революции! Все первые годы революции разве не было черт как бы иностранного нашествия? Когда в продовольственном или карательном отряде, приходившем уничтожать волость, случалось — почти никто не говорил по-русски, зато бывали и финны, и австрийцы? Когда аппарат ЧК изобиловал латышами, поляками, евреями, мадьярами, китайцами? Когда большевистская власть в острые ранние периоды гражданской войны удерживалась на перевесе именно иностранных штыков, особенно латышских? (Тогда этого не скрывали и не стыдились.) Или позже, все 20-е годы, когда во всех областях культуры (и даже в географических назва-

ниях) последовательно вытравлялась вся русская традиция и русская история, как бывает разве только при оккупации, — это желание самоуничтожиться тоже было проявлением „русской идеи“? Замечает Горский, что году в 1919 границы Советской России примерно совпадали с границами Московского царства, — *значит*, большевизм в основном поддерживали русские... Но ведь эту географию и так можно истолковать, что русские в основном вынуждены были *принять его на свои плечи*, и только? А разве знаем мы на Земле хоть один народ, который в XX веке был застигнут пришедшей волной коммунизма и устоял против него, встряхнулся? Таких примеров ещё нет, кроме Южной Кореи, где помогала ООН. Был бы ещё Южный Вьетнам, да, кажется, дали ему подножку. И что же теперь, коммунизм на Кубе и во Вьетнаме „есть органическое порождение русской жизни“? А „марксизм — одна из форм народническо-мессианского сознания“ — во Франции? в Латинской Америке? в Танзании? И всё это — от немытого старца Филофея?

Как же разрушена, перекорёжена и затемнена русская история XX века, если не знающие её такие самоуверенные могут являться к нам судьи! Своим равнодушием мы рискуем дожить, что вообще провалятся в небытие 50-100 лет русской истории, и никто уже ничего достоверного о них не установит — будет поздно.

Группа статей в № 97 — не случайность. Это, может быть, замысел: нашей беспомощностью воспользоваться и выворотить новейшую русскую историю — нас же, русских, одних обвинить и в собственных бедах и в бедах тех, кто поначалу нас мучил, и в бедах едва ли не всей планеты сегодня. Эти обвинения — характерны, проворно вытаснены, беззастенчиво подкинута, и уже предвидится, как нам будут их прижигать и прижигать.

Вся и моя статья написана не для того, чтобы применить вину русского народа. Но и не соскребать же на себя все вины со всей матушки-Земли. Не имели защитной прививки — да, растерялись — да, поддались — да, потом и отдались — да! Но — не изобрели первые и единственные мы, ещё с XV века!

Не мы одни — и многие так, едва ли не все: подкатывает пора — поддаются, отдаются, и даже при меньшем

давлении, чем отдались мы, и при лучших традициях, нежели у нас, и даже — „с большой охотой”. (Наша краткая история от Февраля до Октября оказалась сжатым конспектом позднейшей и нынешней истории Запада.)

Так уже при начале раскаяния получаем мы предупреждения, какими обидами и клеветами будет утыкан этот путь. Кто начинает раскаиваться первым, раньше других и полней, должен ждать, что под видом покаянщиков слетятся и корыстные, печень твою клевать.

А выхода нет всё равно: только раскаяние.

## 6

Может оказаться, что мы уже не способны к этому мечтаемому пути поиска и признания своих ошибок, грехов и преступлений. Но тогда и нельзя увидеть нравственного выхода из нашего провала. А всякий другой выход — не выход. Лишь временный общественный самообман.

Если же мы окажемся настолько ещё не погибшими, что найдём в себе силы пройти эту жгучую полосу общенационального раскаяния, раскаяния внутреннего, что мы тут, внутри страны, наделали сами над собою, — то возможно ли будет России на этом остановиться? Нет, нам придётся решимость в себе найти ещё и на следующие шаги: на признание грехов внешних, перед другими народами.

А их немало у нас. И для очищения мирового воздуха и для убеждения других в нашей искренней расположенности, мы не должны ни скрывать этих грехов, ни комкать, ни смягчать в воспоминаниях. Я думаю: если ошибиться в раскаянии, то верней — в сторону большую, в пользу других. Принять заранее так: что нет таких соседей, перед которыми мы невиновны. Как в прощёный день просят прощения у всех окружающих.

Охват раскаяния — бесконечен. Тут не избежать и давних грехов, и то, что другим мы можем зачесть в давность, себе — не имеем права. Страницами несколькими ниже предстоит говорить о будущем Сибири — и всякий раз при этом вздрагивает сердце о нашем предавшем грехе потеснения и истребления коренных сибирцев. И ка-

кая ж тут давность? Будь сегодня Сибирь густо населена исконными народностями, наш нравственный шаг мог быть бы только один: уступить им их землю и не мешать их свободе. Но поскольку лишь эфемерным рассеянием они присутствуют на сибирском континенте — дозволено нам искать там своё будущее, с братской нежностью заботясь о коренных, помогая им в быте, в образовании и не навязывая им силою ничего своего.

Исторический обзор — не предмет этой статьи, уже не допускает и объём её. Нашлось бы там достаточно наших вин — таких, как перед горным Кавказом: завоевательный русский натиск XIX века (вовремя и осуждённый русскими великими писателями) и выселение XX века (о котором и сами-то кавказские писатели не смеют).

Раскаяние — всем всегда тяжело. И не только через порог себялюбия, но ещё и потому, что свои вины себе хуже видны.

Возьмём ли русско-польскую линию — нет и здесь конца узлам вин. Проследить их — поучительно в самом общечеловеческом смысле. (Сегодня, когда и поляки и мы раздавлены насилием, может показаться неуместным такое историческое разбирательство. Но я пишу — впрок. Когда-нибудь прозвучит и уместно.)

О наших винах перед Польшей у нас в России достаточно говорено, и в нашей памяти наслоилось, убеждать не надо. Три раздела Польши. Подавление восстаний 1830 и 1863 годов. После того русификация: вовсе запретили начальную польскую школу, в гимназиях даже польский язык преподавался на русском и был не обязателен, на квартирах ученикам между собою запрещалось говорить по-польски! В XX веке — упорное вымучивание, как не дать Польше независимость, лукавое двусмысленное поведение русского руководства в 1914–16 годах.

Но зато: сколько же и звучало с русской стороны раскаяния, начиная от Герцена, и как же едино было сочувствие полякам всего русского образованного общества, так что в кругах Прогрессивного блока польская независимость не считалась меньшей целью войны, чем сама русская победа.

Если же по событиям новейшим, в советское время, такого общественного раскаяния в России не прозвучало,

то лишь по обстановке нашей подавленности, а помнят все, ещё будут поводы назвать громко: высоко-благородный удар в спину гибнущей Польше 17 сентября 1939 года; и уничтожение цвета Польши в наших лагерях; и отдельно Катынь; и злорадное холодное наше стояние на берегу Вислы в августе 1944 года, наблюдение в бинокли, как на том берегу Гитлер давит варшавское восстание национальных сил, — чтоб им не воспрять, а мы-то найдём, кого поставить в правительство. (Я был там рядом и говорю уверенно: при динамике нашего тогдашнего движения форсировка Вислы не была для нас затруднительна, а изменила бы судьбу Варшавы.)

Но подобно тому, как одни люди легче раскрываются раскаянию, а другие сопротивительней и даже вовсе ни на щёлочку, — так, мне кажется, и нации есть более и менее склонные к раскаянию.

В предыдущие века расцветная, сильная, самоуверенная Польша не короче по времени и не слабее завоёвывала и угнетала нас. (XIV-XVI века — Галицкую Русь, Подолию. В 1569 по Люблинской унии присоединение Подлясья, Волыни, Украины. В XVI-м — поход на Русь Стефана Батория, осада Пскова. В конце XVI века подавлено казачье восстание Наливайко. В начале XVII-го — войны Сигизмунда III, два самозванца на русский престол, захват Смоленска, временный захват Москвы; поход Владислава IV. В тот миг поляки едва не лишили нас национальной независимости, глубина той опасности была для нас не слабей татарского нашествия, ибо поляки посягали и на правослаvie. И у себя внутри систематически подавляли его, вгоняли в унию. В середине XVII-го — подавление Богдана Хмельницкого, и даже в середине XVIII-го — подавление крестьянского восстания под Уманью.) И что ж, прокатилась ли волна сожаления в польском образованном обществе, волна раскаяния в польской литературе? Никогда никакой. Даже ариане, настроенные против всяких войн вообще, ничего особо не высказали о покорении Украины и Белоруссии. В наше Смутное Время восточная экспансия Польши воспринималась польским обществом как нормальная и даже похвальная политика. Поляки представлялись сами себе — избранным божьим народом, бастионом христианства, с задачей распространить подлинное христи-

анство на „полужычников”-православных, на дикуую Московию, и быть носителями университетской ренессансной культуры. И когда во 2-й половине XVIII века Польша испытывала упадок, затем и после разделов её, публично высказывались об этом размышления, сожаления, они носили характер государственно-политический, но никак не этический.

Правда, не всегда разделишь, где общенациональная черта, где отпечаток социального строя. Польский строй со слабыми выборными королями, всеильными магнатами и безмерным своеволием шляхты вёл к шумному самопроявлению её, исключал самоограничение, делал неуместным раскаяние. При таком строе образованные поляки чувствовали себя участниками и деятелями совершаемого, никак не сторонними наблюдателями. Русское же раскаяние XIX и начала XX века облегчалось тем, что осудители политики могли считать себя несоучастными: это всё совершают *они*, царь не советовался с обществом.

Но может быть польское раскаяние выразилось в делах? Больше столетия испытыв горечь разделённого состояния, вот Польша получает по Версальскому миру независимость и немалую территорию (опять за счёт Украины и Белоруссии). Каковы ж первые внешние действия её? Пилсудский (кстати — социалист и одиозец Александра Ульянова по процессу) ловит момент создать „Великую Польшу от моря до моря”. Но для этого он не только не выступает против большевиков, а выжидает ослабления России от гражданской войны. Осенью 1919, в момент наибольших успехов Деникина, Пилсудский ведёт тайные переговоры с большевиками через Мархлевского, гарантирует им своё невмешательство и тем разрешает снять крупные красные силы с белорусского направления на битву под Орлом. Весной 1920, когда Деникин разбит и ждать не остаётся, — Польша энергично нападает на Советскую Россию, берёт Киев, с целью затем выйти к Чёрному морю. У нас в школах учат (чтобы было страшней), что это был „Третий поход Антанты”, и что Польша координировалась с белыми генералами, дабы восстановить царизм. Вздор, это было самостоятельное действие Польши, переждавшей разгром всех главных белых сил, чтобы не быть с ни-

ми в невольном (и обязывающем) союзе, а самостоятельно грабить и кромсать Россию в её наиболее истерзанный момент. Эта цель Польше не вполне удалась. В августе 1920, при начавшемся крупном наступлении Врангеля, Польша, напротив, вступает в мирные переговоры с большевиками (и берёт с Советов контрибуцию). Следующее внешнее действие её, 1921 года: незаконное отобрание Вильнюса со всею областью от слабой Литвы. И никакая Лига Наций, никакие призывы и усовещания не подействовали: так и продержала Польша захваченный кусок до самых дней своего падения. Кто помнит её национальное раскаяние в связи с этим? На украинских и белорусских землях, захваченных по договору 1921 года, велась неуклонная полонизация, по-польски звучали даже православные церковные проповеди и преподавание закона Божьего. И в пресловутом 1937 году (!) в Польше рушили православные церкви (более ста, среди них — и варшавский собор), арестовывали священников и прихожан.

И как же над этим всем подняться нам, если не взаимным раскаянием?..

И не правда ли, есть ощущение: острота раскаяния, как личного, так и национального, очень зависит от сознания встречной вины? Если обиженный нами обидел когда-то и нас — наша вина не так надрывна, та встречная вина всегда бросает ослабляющую тень. Татарское иго над Россией навсегда ослабляет наши возможные вины перед осколками Орды. Вина перед эстонцами и литовцами всегда болезней, стыдней, чем перед латышами или венграми, чьи винтовки довольно погрохали и в подвалах ЧК и на задворках русских деревень. (Отвергаю неперемённые здесь возгласы: „так это не те! нельзя же с одних — на других!..” И мы — не те. А отвечаем все — за всё.)

Это — лишний довод в пользу раскаяния всеобщего. И какое же очищение, даже восторженное, вызывает у нас, когда враги признают свою вину перед нами! С каким рвением добрым хочется перехлестнуть их в раскаянии, превзойти в великодушии!

Но теряет раскаяние смысл, если на нём и обрывается: порывать, да жить по-прежнему. Раскаяние есть открытие пути для новых отношений. Новых отношений — и между нациями.

Как всякое раскаяние, так и раскаяние нации предполагает возможность прощения со стороны обиженных. Но ожидать прощения, прежде того самим не настроившись простить, — невозможно. Путь взаимного раскаяния есть и путь взаимного прощения.

Кто — не виновен? Виновны -- все. Но где-то должен быть пресечен бесконечный счёт обид, уж не сравнивая их по давности, по весу и по объёму жертв. Ни сроки, ни сила обид сравняться никогда не могут, ни между какими соседями. Но могут сравняться чувства раскаяния.

Картина такая мне несколько не кажется идиллической, отвлечённой, не относящейся к современной ситуации. Напротив. Как нельзя построить хорошего общества при дурных отношениях между людьми, так и хорошего человечества не будет при дурных, затаённо-мстительных отношениях наций. И никакая *позитивная* внешняя политика и никакие ловчайшие усилия дипломатов так не договаривать договора, чтобы каждая сторона находила успокоение своей гордости, не заглушат семян раздора и не устранят новых и новых конфликтов.

Сейчас вся атмосфера ООН пересыщена ненавистью и злорадством — тем, с которым Ассамблея ликовала (даже, говорят, на скамьи вскакивали экспансивные члены), когда 10 миллионов китайцев Тайваня выкинули из человеческой семьи за то, что они не подчинились тоталитарному захвату.

Без установления существенно *новых*, добрых отношений между нациями вся задача „всеобщего мира” есть или утопия или шаткая эквилибристика.

Взаимных вин особенно много накапливается в государствах многонациональных и в федерациях — таких, как раньше была Австро-Венгрия, как сейчас СССР, Югославия, Нигерия, многоплеменные и многорасовые африканские государства. Для того чтобы такие государства существовали при внутренней прочности, а не на спайке по-нуждающей силы, никак не обойтись без развитого чувства раскаяния у живущих там народов — иначе под любой золою будет вечно тлеть и снова, снова вспыхивать огонь, и не будет прочности у этих стран. Западные пакистанцы были безжалостны к восточным — и страна развалилась, но и от этого не утихла ненависть. Напротив, с помощью



английского и советского оружия и при равнодушии всего мира север Нигерии кроваво расправился с её востоком, и страну удержали в единстве, — но если это не будет исправлено раскаянием и добром победителей — не будет той стране прочности и здоровья.

Раскаяние есть только подготовка почвы, только подготовка чистой основы для нравственных действий впредь — того, что в частной жизни называется *исправлением*. И как в частной жизни исправлять содеянное следует не словами, а делами, так тем более — в национальной. Не столько в статьях, книгах и радиопередачах, сколько в национальных *поступках*.

По отношению ко всем окраинным и заокраинным народам, насильственно втянутым в нашу орбиту, только тогда чисто окажется наше раскаяние, если мы дадим им подлинную волю самим решать свою судьбу.

## 7

После раскаяния и при отказе от насилия выдвигается как самый естественный принцип — *самоограничение*. Раскаяние создаёт атмосферу для самоограничения.

Самоограничение отдельных людей много раз наблюдало, описано, хорошо всем известно. (Не говоря уже, как оно приятно окружающим в быту, — оно может иметь для человека универсально-полезный характер и во всех областях его деятельности.) Но, сколько знаю, не проводило последовательно самоограничения никакое государственное образование и такой задачи в общем виде себе не ставило. А когда ставило в худую минуту в частной области (продовольствие, топливо и др.), то отлично себя самоограничение оправдывало.

Всякий профессиональный союз и всякий концерн добивается любыми средствами занять наиболее выгодное положение в экономике, всякая фирма — непрерывно расширяться, всякая партия — вести своё государство, среднее государство — стать великим, великое — владеть миром.

Мы с большой охотой порываемся ограничить *других*, тем только и заняты все политики, но сегодня высмеян бу-

дет тот, кто предложит партии или государству ограничить себя — при отсутствии вынуждающей силы, по одному этическому зову. Мы напряжённо следим, сторожим, как обуздать непомерную жадность *другого*, но не слышно отказов от непомерной жадности *своей*. Не раз уже дала нам история примеры кровопролитий, когда была обуздана жадность меньшинства, — но кто и как обуздает распалённую жадность большинства? Ведь только — оно само.

А мысль об общественном самоограничении — не нова. Вот мы находим её столетие назад у таких последовательных христиан, как русские старообрядцы. В их журнале „Истина” (Иоганисбург, 1867, № 1) в статье К. Голубова, корреспондента Огарёва и Герцена, читаем:

„Своей безнравственною борзостью подчиняется народ злостраданию. Не то есть истинное благо, которое достигается путём восстаний и отъятия: это скорее будет бесчиние развратной совести; но то есть истинное прочное благо, которое достигается *дальновидным самостеснением*” (выделено мною, А. С.).

И в другом месте:

„Кроме самостеснения нет истинной свободы человеческой.”

(!) После западного идеала неограниченной свободы, после марксистского понятия свободы как осознанно-неизбежного ярма, — вот воистину христианское определение свободы: свобода — это самостеснение! самостеснение — ради других!

Такой принцип — однажды понятый и принятый, вообще переключает нас — отдельных людей, все виды наших ассоциаций, общества и нации, — с развития внешнего на внутреннее, и тем углубляет нас духовно.

Поворот к развитию внутреннему, перевес внутреннего над внешним, если он произойдёт, будет великий поворот человечества, сравнимый с поворотом от Средних Веков к Возрождению. Изменится не только направление интересов и деятельности людей, но и самый характер человеческого существа (от духовной разбросанности к духовной сосредоточенности), тем более — характер человеческих обществ. Если процессу этому суждено где-то пройти революционно, то революции эти будут не прежние — физические, кровопролитные и никогда не благодатные, но

*революции нравственные*, где нужны и отвага, и жертва, но не жестокость, — некий новый феномен человеческой истории, ещё неизвестный, ещё никем не провидимый в чётких ясных формах. Рассмотрение всего этого выходит за рамки нашей статьи.

Но и в материальной сфере такой поворот отменно скажется. Человеку — не выколачивать в жажде всё большего и большего заработка и захвата, но экономно, разумно, бессумятно тратить то, что у него есть. Государству — не как сейчас, не применять силу даже иногда без ясной цели, если где давится — непременно дави, если какая стенка поддаётся передвижке — передвигай, но и между государствами принять индивидуальную мораль: не делай другому, чего не хотел бы себе; но — углублённо осваивать то, что имеешь. Только так и может создаться упорядоченная жизнь на планете.

Понятие о неограниченной свободе возникло в тесной связи с ложным, как мы теперь узнали, понятием „бесконечного прогресса“. Такой прогресс невозможен на нашей ограниченной Земле с ограниченными поверхностями и ресурсами. Перестать толкаться и самостесниться — всё равно неизбежно: при бурном росте населения нас к этому скоро вынудит сама матушка Земля. Но насколько было бы духовно ценней и субъективно легче принять принцип самоограничения — прежде того, *дальновидным самостеснением*.

Нелёгко будет такой поворот западной свободной экономике, это революционная ломка, полная перестройка всех представлений и целей: от непрерывного прогресса перейти к стабильной экономике, не имеющей никакого развития в территории, объёмах и темпах (а лишь — в технологии, и то успехи её отсеиваются весьма придирчиво). Значит, отказаться от заразы внешней экспансии, от риска за новыми и новыми рынками сырья и сбыта, от роста производственных площадей, количества продукции, от всей безумной гонки наживы, рекламы и перемен. Стимул к самоограничению ещё никогда не существовал в буржуазной экономике, но как легко и как давно он мог быть сформулирован из нравственных соображений! Исходные понятия — частной собственности, частной экономической инициативы — природны человеку, и нужны

для личной свободы его и нормального самочувствия, и благодетельны были бы для общества, *если бы только...* если бы только носители их на первом же пороге развития *самоограничились*, а не доводили бы размеров и напора своей собственности и корысти до социального зла, вызвавшего столько справедливого гнева, не пытались бы покупать власть, подчинять прессу. Именно в ответ на бесстыдство неограниченной наживы развился и весь социализм.

Но русскому автору сегодня — не этими заботами голову ломать. Аспектов самоограничения — международных, политических, культурных, национальных, социальных, партийных — тьма. Нам бы, русским, разобраться со своими.

И показать пример широкой души. Небесплодности раскаяния.

В той надежде и вере я и пишу эту статью.

## 8

Может быть, как никакая страна в мире, наша родина после столетий ложного направления своего могущества (и в петербургский и в советский периоды), стянувши столько ненужного внешнего и так много погубивши в себе самой, теперь, пока не окончательно упущено, нуждается во всестороннем *внутреннем* развитии: и духовно, и как следствие — географически, экономически и социально.

Наша внешняя политика последних десятилетий представляется как бы нарочито составленной вопреки истинным потребностям своего народа. За судьбы Восточной Европы мы взяли на себя ответственность, не сравнимую с нашим сегодняшним духовным уровнем и нашей способностью понимать европейские нужды и пути. Эту ответственность мы самоуверенно готовы распространить и на любую страну, как бы далеко она ни лежала, хотя бы на обратной стороне земного шара, лишь бы она проявляла намерение национализировать средства производства и централизовать власть (эти признаки по марксистской теории — ведущие, все остальные — национальные, бытовые, ты-

сячелетних культур — второстепенны). Наша страна неутомимо вмешивается в конфликты всех материков, судит и рядит, подталкивает к ссорам и бесстыдно гонит оружие первым товаром советского экспорта (то, что в советских газетах до 40-х годов называлось „торговцы кровью”). \* В погоне за всеми этими искусственными целями, никак не нужными нашей нации, мы истощили свои силы, мы подорвали свои поколения: предыдущие — больше физически, сегодняшние — больше духовно.

Мы — устали от этих всемирных, нам не нужных задач! Нуждаемся мы отойти от этого кипения мирового соперничества. От рекламной космической гонки, никак не нужной нам: что подбираться к оборудованию лунных деревень, когда хилеют и непригодны стали для житья деревни русские? В безумной индустриальной гонке мы стянули непомерные людские массы в противоестественные города с торопливыми нелепыми постройками, где мы отравляемся, издёргиваемся и вырождаемся уже с юных лет. Изнурение женщин вместо их равенства, заброшенность семейного воспитания, пьянство, потеря вкуса к работе, упадок школы, упадок родного языка — целые духовные пустыни плешами выедают наше бытие, и только на преодолении их ожидает нас престиж истинный, а не тленный. Дальних ли тёплых морей нам добиваться или чтобы теплота разлилась между собственными гражданами вместо злобы?

А ещё ко всему, похваляясь своею передовитостью, мы рабски копировали западный технический прогресс и вместе с ним бездумно впоролись в кризисный тупик, угрожающий сегодня существованию всего человечества.

Как семья, в которой произошло большое несчастье или позор, старается на некоторое время уединиться ото всех и переработать своё горе в себе, так надо и русскому народу: побыть в основном наедине с собою, без соседей и гостей. Сосредоточиться на задачах внутренних: на лечении души, на воспитании детей, на устройстве собственно дома.

---

\* По данным западных специалистов с 1955 по 1970 СССР продал оружия на 28 миллиардов долларов; в 70-х годах его доля в мировой торговле оружием — 37,5%.

Лечение наших душ! — ничего нет для нас важнее теперь, после всего отжитого, после нашего всежизненного участия во лжи и даже злодействах. Поколения старшие быть может уже и не успеют с этим, но с тем большей ревностью и самоотверженностью мы должны заняться воспитанием наших детей, чтобы выросли они по чистоте несравнимы с нашим падшим обществом. *Школа* — это ключ в будущую Россию! А такая задача — худым родителям и воспитателям вырастить добрую смену, — противоречива, сложна, не в одну волну решается, бессчётных усилий требует: всю систему народного просвещения надо пересоздать и не отбросными, но лучшими силами народа. На то пойдут и миллиардные затраты — и взять их надо за счёт трат наших внешних, ненужных, хвастливых. Надо перестать выбегать на улицу на всякую драку, но целомудренно уйти в свой дом, пока мы в таком беспорядке и потерянности.

К счастью, дом такой у нас есть, ещё сохранён нам историей, неизгаженный просторный дом — русский Северо-Восток. И отказавшись наводить порядки за океанами, и перестав пригребать державною рукой соседей, желающих жить вольно и сами по себе, — обратим своё национальное и государственное усердие на неосвоенные пространства Северо-Востока, чья пустынно́сть уже нетерпима становится для соседей по нынешней плотности земной жизни.

*Северо-Восток* — это Север Европейской России — Пинега, Мезень, Печора, это и — Лена и вся средняя полоса Сибири, выше магистрали, по сегодня пустующая, местами нетронутая и незнаемая, каких почти не осталось пространств на цивилизованной Земле. Но и тундра и вечная мерзлота Нижней Оби, Ямала, Таймыра, Хатанги, Индигирки, Колымы, Чукотки и Камчатки не могут быть покинуты безнадежно при технике XXI века и перенаселении его.

Северо-Восток — тот ветер, к нам, описанный Волошиным:

В этом ветре — вся судьба России...

Северо-Восток — тот вектор, от нас, который давно указан России для её естественного движения и развития.

Он уже понимался Новгородом, но заброшен Московской Русью, осваивался самостоятельным негосударственным движением, потом изневольным бегунством старообрядцев, а Петром не угадан, и в последний полувек тоже, по сути, пренебрежён, несмотря на шумные планы.

Северо-Восток — это напоминание, что мы, Россия, — северо-восток планеты, и наш океан — Ледовитый, а не Индийский, мы — не Средиземное море, не Африка, и делать нам там нечего! наших рук, наших жертв, нашего усердия, нашей любви ждут эти неохватные пространства, безрассудно покинутые на четыре века в бесплодном вызябании. Но лишь два-три десятилетия ещё, может быть, оставлены нам для этой работы: иначе близкий взрыв мирового населения отнимет эти пространства у нас.

Северо-Восток — ключ к решению многих якобы запутанных русских проблем. Не жадничать на земли, не свойственные нам, русским, или где не мы составляем большинство, но обратить наши силы, но воодушевить нашу молодость — к Северо-Востоку, вот дальновидное решение. Его пространства дают нам выход из мирового технологического кризиса. Его пространства дают нам место исправить все нелепости в построении городов, промышленности, электростанций, дорог. Его холодные, местами мёрзлые пространства ещё далеко не готовы к земледелию, потребуют необъятных вкладов энергии, — но сами же недра Северо-Востока и таят эту энергию, пока мы её не разбазарили.

Северо-Восток не мог оживиться лагерными вышками, криками конвойных, лаем человекоядных. Только свободные люди со свободным пониманием национальной задачи могут воскресить, разбудить, излечить и инженерно украсить эти пространства.

Северо-Восток — более звучания своего и глубже географии будет означать, что Россия предпримет решительный выбор *самоограничения*, выбор вглубь, а невширь, внутрь, а не вовне; всё развитие своё — национальное, общественное, воспитательное, семейное и личное развитие граждан, направит к расцвету внутреннему, а не внешнему.

Это не значит, что мы закроемся в себе уже навек. То и не соответствовало бы общительному русскому характе-

ру. Когда мы выздоровеем и устроим свой дом, мы несомненно ещё сумеем и захотим помочь народам бедным и отсталым. Но — не по политической корысти: не для того, чтоб они жили по-нашему или служили нам.

Возражат: но как далеко могут нация, общество, государство зайти в самоограничении? Ведь роскошь произвольных и вполне самоотверженных решений, какая есть у отдельного человека, не может быть допущена целым народом. Если народ перешёл к самоограничению, а соседи его — нет, — должен ли он быть готов противостоять насилию?

Да, разумеется. Силы защиты должны быть оставлены, но лишь подлинно — защиты, но лишь соразмерно с непридуманною угрозою, не самодовлеющие, не самозатягивающие, не для роста и красоты генералитета. Оставлены — в надежде, что начнёт же меняться и вся атмосфера человечества.

А не начнёт меняться, — так уже рассчитано: жизни нам всем осталось менее ста лет.

Ноябрь 1973



## ОБРАЗОВАНЩИНА

### 1

Роковые особенности русского предреволюционного образованного слоя были основательно рассмотрены в „Вехах” — и возмущённо отвергнуты всею интеллигенцией, всеми партийными направлениями от кадетов до большевиков. Пророческая глубина „Вех” не нашла (и авторы знали, что не найдут) сочувствия читающей России, не повлияла на развитие русской ситуации, не предупредила гибельных событий. Вскоре и название книги, эксплуатированное другою группою авторов („Смена вех”) узко политических интересов и невысокого уровня, стало смешиваться, тускнеть и вовсе исчезать из памяти новых русских образованных поколений, тем более — сама книга из казённых советских библиотек. Но и за 60 лет не померкли её свидетельства: „Вехи” и сегодня кажутся нам как бы присланными из будущего. И только то радует, что через 60 лет кажется утолщается в России слой, способный эту книгу поддержать.

Сегодня мы читаем её с двойственным ощущением: нам указываются язвы как будто не только минувшей исторической поры, но во многом — и сегодняшние наши. И потому всякий разговор об интеллигенции сегодняшней (по трудности термина „интеллигенция” пока, для первой главы, понимая её: „вся масса тех, кто так себя называет”, интеллигент — „всякий, кто требует считать себя таковым”) почти нельзя провести, не сравнивая нынешних качеств с суждениями „Вех”. Историческая оглядка всегда даёт и понимание лучшее.

Однако, нисколько не гонясь сохранить тут цельность веховского рассмотрения, мы позволим себе, со служебною целью сегодняшнего разбора, суммировать и перегруппировать суждения „Вех” в такие четыре класса:

а) *Недостатки той прошлой интеллигенции*, важные для русской истории, но сегодня угасшие или слабо продолженные или диаметрально обёрнутые.

Кружковая искусственная выделенность из общенациональной жизни. (Сейчас — значительная сращённость, через служебное положение.) Принципиальная напряжённая противопоставленность государству. (Сейчас — только в тайных чувствах и в узком кругу отделение своих интересов от государственных, радость от всякой государственной неудачи, пассивное сочувствие всякому сопротивлению, своя же на деле — верная государственная служба.) Моральная трусость отдельных лиц перед мнением „общественности”, недерзновенность индивидуальной мысли. (Ныне далеко оттеснена панической трусостью перед волей государства.) Любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному материальному благу парализовала в интеллигенции любовь и интерес к истине; „соблазн Великого Инквизитора”: да сгинет истина, если от этого люди станут счастливее. (Теперь таких широких забот вовсе нет. Теперь: да сгинет истина, если этой ценой сохраняюсь я и моя семья.) Гипноз общей интеллигентской веры, идейная нетерпимость ко всякой другой, ненависть как страстный этический импульс. (Ушла вся эта страстная наполненность.) Фанатизм, глухой к голосу жизни. (Ныне — прислушивание и подлаживание к практической обстановке.) Нет слова, более непопулярного в интеллигентской среде, чем „смирение”. (Сейчас подчинились и до раболепства.) Мечтательность, прекраснотушение, недостаточное чувство действительности. (Теперь — трезвое утилитарное понимание её.) Нигилизм относительно труда. (Изжит.) Негодность к практической работе. (Годность.) Объединяющий всех напряжённый атеизм, некритически принимающий, что наука компетентна решить и вопросы религии, притом — окончательно и, конечно, отрицательно; догматы идолопоклонства перед человеком и человечеством; религия заменена верой в научный прогресс. (Спала напряжённость атеизма, но он всё так же разлит по массе образованного слоя — уже традиционный, вялый, однако с безусловным предпочтением научного прогресса и „человек выше всего”.) Инертность мысли; слабость самоценной умственной жизни, даже ненависть к самоцен-

ным духовным запросам. (Напротив, за отход от общественной страсти, веры и действия, иные образованные люди на досуге и в замкнутой скорлупе, кружке, вознаграждают себя довольно интенсивной умственной деятельностью, но обычно без всякого приложения наружу, иногда — анонимным тайным выходом в Самиздат.)

„Вехи” интеллигенцию преимущественно критиковали, перечисляли её пороки и недостатки, опасные для русского развития. Отдельного рассмотрения достоинств интеллигенции там нет. Мы же сегодня, углом сопоставительного зрения не упуская качеств нынешнего образованного слоя, обнаружим, как, меж перечислением недостатков, авторы „Вех” упоминают такие черты, которые сегодня нами не могут быть восприняты иначе, как:

б) *Достоинства предреволюционной интеллигенции.*

Всеобщий поиск целостного мирозерцания, жажда веры (хотя и земной), стремление подчинить свою жизнь этой вере. (Ничего сравнимого сегодня; усталый цинизм.) Социальное покаяние, чувство виновности перед народом. (Нынче распространено напротив: что народ виновен перед интеллигенцией и не кается.) Нравственные оценки и мотивы занимают в душе русского интеллигента исключительное место; думать о своей личности — эгоизм, личные интересы и существование должны быть безусловно подчинены общественному служению; пуританизм, личный аскетизм, полное бескорыстие, даже ненависть к личному богатству, боязнь его как бремени и соблазна. (Всё — не о нас, всё наоборот!) Фанатическая готовность к самопожертвованию, даже активный поиск жертвы; хотя путь такой проходят единицы, но для всех он — обязательный, единственно достойный идеал. (Узнать невозможно, это — не мы! Только слово общее „интеллигенция” осталось по привычке.)

Не низка ж была русская интеллигенция, если „Вехи” применили к ней критику, столь высокую по требованиям. Мы ещё более поразимся этому по группе черт, выставленных „Вехами” как:

в) *Тогдашние недостатки, по сегодняшней нашей переполюсовке чуть ли не достоинства.*

Всеобщее равенство как цель, для чего готовность принизить высшие потребности одиночек. Психология ге-

роического экстаза, укрепленная государственными преследованиями; партии популярны по степени своего бесстрашия. (Нынешние преследования жесточе, систематичней и вызывают подавленность, не экстаз.) Самочувствие мученичества и исповедничества; почти стремление к смерти. (Теперь — к сохранности.) Героический интеллигент не довольствуется ролью скромного работника, его мечта — быть спасителем человечества или по крайней мере — русского народа. Экзальтированность, иррациональная приподнятость настроения, опьянение борьбой. Убеждение, что нет другого пути, кроме социальной борьбы и разрушения существующих общественных форм. (Ничего сходного! Нет другого пути, кроме подчинения, терпения, ожидания милости.)

Но — не всё духовное наследство растеряли мы. Узнаём и себя.

г) *Недостатки, унаследованные посегодня.*

Нет сочувственного интереса к отечественной истории, чувства кровной связи с ней. Недостаток чувства исторической действительности. Поэтому интеллигенция живёт в ожидании социального чуда (тогда — много и делали для него, теперь — укрепляя, чтобы чуда не было, и... ожидая его!). Всё зло — от внешнего неустройства, и потому требуются только внешние реформы. За всё происходящее отвечает самодержавие, с каждого же интеллигента снята всякая личная ответственность и личная вина. Преувеличенное чувство своих прав. Претензия, поза, ханжество постоянной „принципиальности” — прямолинейных отвлечённых суждений. Надменное противопоставление себя — „обывателям”. Духовное высокомерие. Религия самообожествления, интеллигенция видит в себе Провидение для своей страны.

Всё так совпадает, что и не требует комментариев.

Добавим каплю из Достоевского („Дневник писателя”):

Малодушие. Поспешность пессимистических заключений.

Так ещё много бы оставалось в сегодняшней интеллигенции от прежней — если бы сама интеллигенция ещё оставалась быть...

Интеллигенция! Каков точно её объём, где её границы? Одно из излюбленных понятий в русских спорах, а употребляется весьма по-разному. При нечёткости термина многое обесценивается в выводах. Авторы „Вех” определяли интеллигенцию не по степени и не по роду образованности, а по идеологии — как некий новый *орден*, безрелигиозно-гуманистический. Они очевидно не относили к интеллигенции инженеров и учёных математического и технического циклов. И интеллигенцию военную. И духовенство. Впрочем, и сама интеллигенция того времени, *собственно интеллигенция* (гуманитарная, общественная и революционная) тоже к себе не относилась всех их. Более того, в „Вехах” подразумевается, а у последователей „Вех” укореняется, что крупнейшие русские писатели и философы — Достоевский, Толстой, Вл. Соловьёв, тоже не принадлежали к интеллигенции! Для современного читателя это звучит диковато, а между тем в своё время состояло так, и расщелина была достаточно глубока. В Гоголе ценили обличение государственного строя и правящих классов. Но как только он приступил к наиболее дорогим для себя духовным поискам, он был публицистически исхлёстан и отрешён от передовой общественности. В Толстом ценили те же разоблачения, ещё — вражду к церкви, к высшей философии и творчеству. Но его настойчивая мораль, призывы к опрощению, ко всеобщей доброте воспринимались снисходительно. „Реакционный” Достоевский был и вовсе интеллигенцией ненавидим, был бы вообще наглухо забит и забыт в России и не цитировался бы сегодня на каждом шагу, если бы в XX веке внезапно на уважаемом Западе не вынырнула его громовая мировая слава.

А между тем все не попавшие в собственно интеллигенцию — куда же должны были быть включены? А у них были свои характерные черты, иногда далеко не совпадавшие с теми, какие подытожены в „Вехах”. Например, к интеллигенции технической относится лишь малая часть характеристик из „Вех”. Не было в ней отделённости от

национальной жизни, ни противопоставленности государству, ни фанатизма, ни революционизма, не ведущей ненависти, ни слабого чувства действительности и т. д. и т. д.

Если принять определение интеллигенции этимологическое, от корня (*intelligere*: понимать, знать, мыслить, иметь понятие о чём-либо), то, очевидно, оно охватило бы во многом иной класс людей, чем те, кто в России рубежа двух веков присвоил себе это звание и в этом качестве рассмотрен в „Вехах”.

Г. Федотов остроумно предлагал считать интеллигенцией специфическую группу, „объединяемую идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей”.

В. Даль определял интеллигенцию как „образованную, умственно развитую часть жителей”, но вдумчиво отмечал, что „для *нравственного образования* у нас нет слова” — для того просвещения, которое „образует и ум, и *сердце*”.

Были попытки строить определение интеллигенции на самодвижущей творческой силе, даже вопреки внешним обстоятельствам; на неподражаемости образа мысли; на самостоятельной душевной жизни. Во всех этих поисках высшая затруднённость не в формулировке определения и не в характеристике реально существующей общественной группы, а в разности желаний: кого мы *хотели бы* видеть под именем интеллигенции.

Бердяев позже предлагал определение, альтернативное тому, какое рассмотрено в „Вехах”: интеллигенция как совокупность духовно-избранных людей страны. То есть духовная элита, а не социальный слой.

После революции 05–07 годов начался тихий процесс поляризации интеллигенции: поворота интересов студенческой молодёжи и медленного выделения ещё очень тонкого слоя с повышенным вниманием ко внутренней нравственной жизни человека, а не ко внешним общественным преобразованиям. Так что авторы „Вех” не вовсе были в тогдашней России одиночками. Однако этому неслышному хрупкому процессу выделения нового типа интеллигенции (вслед за тем расщепился бы и уточнился сам термин) не суждено было в России произойти: его смешала и раздавила первая мировая война, затем стремительный ход революции. Чаше многих других произносилось в русском образованном классе слово „интеллигенция”, — но так, за

событиями, и не успело получить обстоятельно-точного смысла.

А дальше — условий и времени было ещё меньше. 1917 год был идейным крахом „революционно-гуманистической” интеллигенции, как она очерчивала сама себя. Впервые ей пришлось от одиночного террора, от кипливой кружковщины, от партийного начётничества и необузданной общественной критики правительства перейти к реальным государственным действиям. И, в полном соответствии с печальными прогнозами авторов „Вех” (ещё отдельно у С. Булгакова: „интеллигенция в союзе с татарщиной... погубит Россию”), интеллигенция оказалась неспособна к этим действиям, сробела, запуталась, её партийные вожди легко отрекались от власти и руководства, которые издали казались им такими желанными, — и власть, как обжигающий шар, отталкиваемая от рук к рукам, докатилась до тех, что ловили её и были кожей приготовлены к её накалу (впрочем, тоже интеллигентские руки, но особенные). Интеллигенция сумела раскатать Россию до космического взрыва, да не сумела управить её обломками. (Потом, озираясь из эмиграции, сформулировала интеллигенция оправдание себе: оказался „народ — не такой”, „народ обманул ожидания интеллигенции”. Так в этом и состоял диагноз „Вех”, что, обожествляя народ, интеллигенция не знала его, была от него безнадежно отобщена! Однако, незнание — не оправдание. Не зная ни народа, ни собственных государственных сил, надо было десятижды остережся непроверенно кликать его и себя в пустоту.)

И как та кочерга из присказки, в тёмной избе неосторожно наступленная ногою, с семикратной силой ударила олуха по лбу, так революция расправилась с пробудившей её русской интеллигенцией. После царской бюрократии, полиции, дворянства и духовенства следующий уничтожительный удар успел по интеллигенции ещё в революционные 1918–20 годы, и не только расстрелами и тюрьмами, но холодом, голодом, тяжёлым трудом и насмешливым пренебрежением. Ко всему тому интеллигенция в своём героическом экстазе готова не была и — чего уж от самой себя никак не ожидала — в гражданскую войну потянулась частью под защиту бывшего царского генералитета, а затем и в эмиграцию, иные не первый уже раз, но

теперь — вперемешку с той бюрократией, которую недавно сама подрывала бомбами.

Заграничное существование, в бытовом отношении много тяжче, чем в прежней ненавидимой России, однако отпустило осколкам русской интеллигенции ещё несколько десятилетий оправданий, объяснений и размышлений. Такой свободы не досталось большей части интеллигенции — той, что осталась в СССР. Уцелевшие от гражданской войны не имели простора мысли и высказывания, как они были избалованы раньше. Под угрозой ГПУ и безработицы они должны были к концу 20-х годов либо принять казённую идеологию в качестве своей задушевной, излюбленной, или погибнуть и рассеяться. То были жестокие годы испытания индивидуальной и массовой стойкости духа, испытания, постигшего не только интеллигенцию, но, например, и русскую церковь. И можно сказать, что церковь, к моменту революции весьма одряхлевшая и разложившаяся, быть может из первых виновниц русского падения, выдержала испытание 20-х годов гораздо достойнее: имела и она в своей среде предателей и приспособителей (обновленчество), но и массой выделила священников-мучеников, от преследований лишь утвердившихся в стойкости и под штыками погнанных в лагеря. Правда, советский режим был к церкви намного беспощаднее, а перед интеллигенцией припахнул соблазны: соблазн *понять Великую Закономерность*, осознать пришедшую железную Необходимость как долгожданную Свободу — осознать *самим*, сегодня, толчками искреннего сердца, опережающими завтрашние пинки конвойных или зашеины общественных обвинителей, и не заикнуться в своей „интеллигентской гнилости“, но утопить своё „я“ в Закономерности, но заглотнуть горячего пролетарского ветра и шатками своими ногами догонять уходящий в светлое будущее Передовой Класс. А для догнавших — второй соблазн: своим интеллектом вложиться в Небывалое Созидание, какого не видела мировая история. Ещё бы не увлечься!.. Этим ретивым самоубеждением были физически спасены многие интеллигенты и даже, казалось, не сломлены духовно, ибо с полной искренностью, вполне добровольно отдавались новой вере. (И ещё долго потом высились — в литературе, в искусстве, в гуманитарных науках — как



заправдошные стволы, и только выветриванием лет узналось, что это стояла одна пустая кора, а сердцевины уже не было.) Кто-то шёл в это „догонянье” Передового Клас-са с усмешкою над самим собой, лицемерно, уже поняв смысл событий, но просто спасаясь физически. Парадоксально однако (и этот процесс повторяется сегодня на За-паде), что большинство шло вполне искренно, загипноти-зировано, охотно дав себя загипнотизировать. Процесс облегчался, увернялся захваченностью подрастающей ин-теллигентской молодёжи: огненнокрылыми казались ей истины торжествующего марксизма — и целых два деся-тилетия, до второй мировой войны, несли нас те крылья. (Вспоминаю как анекдот: осенью 1941, уже пылала смерт-ная война, я — в который раз и всё безуспешно — пытал-ся вникнуть в мудрость „Капитала”).

В 20-е и 30-е годы усиленно менялся, расширялся и самый состав прежней интеллигенции, как она сама себя понимала и видела.

Первое естественное расширение было — на интелли-генцию техническую („спецы”). Впрочем, как раз техни-ческая, стоявшая на прочной деловой почве, реально свя-занная с национальной промышленностью и на совести не имевшая греха соучастия в революционных жестокостях, значит, и без нужды сплестать горячее оправдание Новому Строю и к нему льнуть, — техническая интеллигенция в 20-е годы оказала гораздо большую духовную стойкость, чем гуманитарная, не спешила принять Идеологию как единственно возможное мировоззрение, а по независимо-сти своей работы и физически устояла притом.

Но были и другие формы расширения — и разложе-ния! — прежнего состава интеллигенции, уверенно направ-ляемые государственные процессы. Один — физическое прервание традиции интеллигентских семей: дети интелли-гентов имели почти нулевые права на поступление в выс-шие учебные заведения (путь открывался лишь через лич-ное подчинение и перерождение молодого человека: ком-сомол). Другой — спешное создание рабфаковской интел-лигенции, при слабой научной подготовке, — „горячий” пролетарско-коммунистический поток. Третий — массо-вые аресты „вредителей”. Этот удар пришёлся больше всего по интеллигенции технической: разгромив меньшую

часть её, остальных смертельно напугать. Процессы шахтинский, Промпартии и несколько мелких в обстановке уже общей напуганности в стране успешно достигли своей цели. С начала 30-х годов техническая интеллигенция была приведена также к полной покорности, 30-е годы были успешной школой предательства уже и для неё: также покорно голосовать на митингах за любые требуемые казни; при уничтожении одного брата другой брат послушно брал на себя хоть и руководство Академией Наук; уже не стало такого военного заказа, который русские интеллигенты осмелились бы оценить как аморальный, не бросились бы поспешно-угодливо выполнять.\* Удар пришёлся не только по старой интеллигенции, но уже отчасти и по рабфак-овской, он избирал по принципу непокорности, и так всё более пригибал оставшуюся массу. Четвёртый процесс — „нормальные” советские пополнения интеллигенции — кто прошёл всё своё 14-летнее образование при советской власти и генетически был связан только с нею.

В 30-е же годы совершилось и новое, уже необъятное, расширение „интеллигенции”: по государственному расчёту и покорным общественным сознанием в неё были включены миллионы государственных служащих, а верней сказать: вся интеллигенция была зачислена в *служащих*, иначе и не говорилось и не писалось тогда, так заполнялись анкеты, так выдавались хлебные карточки. Всем строгим регламентом интеллигенция была вогнана в служебно-чиновный класс, и само слово „интеллигенция” было заброшено, упоминалось почти исключительно как бранное. (Даже свободные профессии через „творческие союзы” были доведены до служебного состояния.) С тех пор и пребывала интеллигенция в этом резко увеличенном объёме, искажённом смысле и умалённом сознании. Когда же, с конца войны, слово „интеллигенция” восстановилось отчасти в правах, то уж теперь и с захватом многомиллионного мещанства служащих, выполняющих любую канцелярскую или полуумственную работу.

---

\* Эта угарная преданность государственным заказам очень неестественно выражена в недавней самиздатской публикации „Туполевская шарага”, она не миновала и крупнейших фигур.

Партийное и государственное руководство, правящий класс, в довоенные годы не давали себя смешивать ни со „служащими” (они — „рабочими” оставались), ни тем более с какой-то прогнившей „интеллигенцией”, они отчётливо отгораживались как „пролетарская” кость. Но после войны, а особенно в 50-е, ещё более в 60-е годы, когда увяла и „пролетарская” терминология, всё более изменяясь на „советскую”, а с другой стороны и ведущие деятели интеллигенции всё более допускались на руководящие посты, по технологическим потребностям всех видов управления, — правящий класс тоже допустил называть себя „интеллигенцией” (это отражено в сегодняшнем определении интеллигенции в БСЭ), и „интеллигенция” послушно приняла и это расширение.

Насколько чудовищно мнилось до революции назвать интеллигентом священника, настолько естественно теперь зовётся интеллигентом партийный агитатор и политрук.

Так, никогда не получив чёткого определения интеллигенции, мы как будто и перестали нуждаться в нём. Под этим словом понимается в нашей стране теперь *весь образованный слой*, все, кто получил образование выше семи классов школы.

По словарю Даля *образовать* в отличие от *просвещать* означает: придать лишь наружный лоск.

Хотя и этот лоск у нас довольно третьего качества, в духе русского языка и верно по смыслу будет: сей образованный слой, всё то, что самозванно или опрометчиво зовётся сейчас „интеллигенцией”, называть *образованщиной*.

### 3

Так — произошло, и с историей уже не поспоришь: согнали нас в образованщину, утопили в ней (но и мы дали себя согнать, утопить). С историей не поспоришь, а в душе — протест, несогласие: не может быть, чтоб так и осталось! Воспоминанием ли прошлого, надеждой ли на будущее: мы — другие!..

Некто Алтаев (псевдоним, статья „Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура” в № 97 „Вестника

РСХД”), признавая это численное умножение, растворение интеллигенции и смыкание её с бюрократией, всё же ищет рычаг, которым бы отделить интеллигенцию от растворяющей массы. Он находит его в „родовом признаке” интеллигенции, якобы отличавшем её и до революции и сейчас, так что можно признать его за „определение” интеллигенции: что это „уникальная категория лиц”, не повторявшаяся никогда ни в одной стране, живущая в „сознании коллективной отчуждённости” от „своей земли, своего народа и своей государственной власти”. Но не говоря об искусственности такого определения (и не такой уж уникальности ситуации) можно возразить, что дореволюционная интеллигенция (в „веховском” определении) именно сознания отчуждённости от своего *народа* не имела, напротив, уверена была в своём полновластии высказываться от его имени; а интеллигенция современная вовсе не отчуждена от современного *государства*: те, кто ощущают так — сами с собой или в узком кругу своих, зажато-тоскливо, обречённо, отданно, — не только *держат* государство всею своей повседневной интеллигентской деятельностью, но принимают и исполняют даже более страшное условие государства: участие *душой* в обязательной общей лжи. Куда ж дальше? Ещё может быть можно остаться „отчуждённым”, отдаваясь только телом, только мозгом, только специальными познаниями, — но не душой же! Интеллигенция прежняя действительно была противопоставлена государству до открытого разрыва, до взрыва, так оно и случилось, — об интеллигенции нынешней сам же Алтаев в противоречие себе пишет, что „она не смела выступить при советской власти не только оттого, что ей не давали этого сделать, но и оттого в первую очередь, что ей *не с чем* было выступить. Коммунизм был её собственным детищем... в том числе и идеи террора... В её сознании не было принципов, существенно отличавшихся от принципов, реализованных коммунистическим режимом”, интеллигенция сама „причастна ко злу, к преступлению, и это больше, чем что-либо другое, мешает ей поднять голову”. (И облегчило войти в систему лжи.) Хотя и в несколько неожиданной форме, интеллигенция получила по сути то самое, чего добивалась многими десятилетиями, — и без боя покорилась. И только ту утешку по-

сасывала втихомолку, что „идеи революции были хороши, да извращены”. И на каждом историческом изломе тешила себя надеждой, что режим вот выздоравливает, вот изменится к лучшему и теперь-то, наконец, сотрудничество с властью получает полное оправдание (блестяще отграниченные у Алтаева *шесть соблазнов* русской интеллигенции — революционный, сменовеховский, социалистический, патриотический, оттепельный и технократический, в их последовательном появлении и затем сосуществовании во всякий момент современности).

Покорились — до полной приниженности, до духовного самоуничтожения, и что ж, как не кличка *образованщины*, по справедливости остаётся нам? Тоскливое чувство отчуждённости от государства (годов лишь с 40-х), своего невольничьего состояния в чужих лапах — это не признак родовой, непрерывный, но зарождение нового протеста, зарождение раскаяния. И большинством же интеллигенции вполне сознаётся теперь — кем тревожно, кем равнодушно, кем высокомерно — отчуждение от нынешнего *народа*.

О том, как не размыться в образованщине, как отграничиться от неё и спасти понятие интеллигенции, много пишет и Г. Померанц (не псевдоним, лицо подлинное, востоковед, имеющий в Самиздате целый том философских эссе и публицистических статей): „самая здоровая часть современного общества”, „другого такого прогрессивного слоя не найти”. \* Но и он остаётся в смущении перед морем образованщины: „Понятие интеллигенции очень трудно определить. Интеллигенция в самой жизни ещё не устоялась.” (? За 130 лет от Белинского и Грановского не устоялась? нет, после революционного потрясения.) Ему приходится выделять „лучшую часть интеллигенции”, это „даже не прослойка, а кучка людей”, „собственно интеллигентно лишь маленькое ядро интеллигенции”, „узкий круг людей, способных самостоятельно открывать вновь святыни, ценности культуры”, даже: „интеллигентность — это процесс”... Он предлагает вообще отказаться от очерчивания

---

\* Все цитаты из Померанца здесь и ниже — главным образом из статей „Человек ниоткуда” и „Квадрильон”.

контура, границ, пределов интеллигенции, а представить себе как бы поле (в смысле физики): центр излучения (самая малая кучка) — затем „слой одушевлённой интеллигенции” — дальше „неодушевлённая интеллигенция” (?), которая однако „развитее мещанства”. (В старых вариантах той же самиздатской статьи Померанц делил интеллигенцию на „порядочную” и „непорядочную”, с таким странным определением: „порядочные люди гадят ближнему лишь по необходимости, без удовольствия”, а непорядочные, мол, с удовольствием, и в этом их различие!)

Правда, в защиту этого многомиллионного класса, на границе „неодушевлённости” и „мещанства”, Померанц находит весьма сочувственные слова: о тяжести работы школьных педагогов, врачей общей медицинской сети и бухгалтеров — этих „грузчиков умственного труда”. Но, оказывается, эта его настойчивая защита есть скорее нападение на „народ”: доказать, что искать ошибки в платёжной ведомости тяжелее, чем колхознице работать в задушливом птичнике.

Что искажённый труд и искалеченные люди — верно. Я и сам, достаточно поработав школьным преподавателем, могу горячо разделить эти слова и ещё добавить сюда много разрядов: техников-строителей, сельхозтехников, агрономов... Школьные учителя настолько задёрганные, заспешенные, униженные люди, да ещё и в бытовой нужде, что не оставлено им времени, простора и свободы формулировать собственное мнение о чём бы то ни было, даже находить и поглощать неповреждённую духовную пищу. И не от природы и не от слабости образования вся эта бедствующая провинциальная масса так проигрывает в „одушевлённости” по сравнению с привилегированной столично-научной, а именно от нужды и бесправия.

Но оттого нисколько не меняется безнадёжная картина расплывшейся образованщины, куда стандартным входом служит самое среднее образование.

Если обвиняют нынешний рабочий класс, что он чрезмерно законопослушен, безразличен к духовной жизни,

утонул в мещанской идеологии, весь ушёл в материальные заботы, получение квартир, покупку безвкусной мебели (уж какую продают), в карты, домино, телевизоры и пьянку, — то на много ли выше поднялась образованщина, даже и столичная? Более дорогая мебель, концерты более высокого уровня и коньяк вместо водки? А хоккеем по телевизору — тот же самый. Если на периферии образованщины колотьба о заработках есть средство выжить, то в сияющем центре её (шестнадцать столиц и несколько закрытых городков) выглядит отвратительно подчинение любых идей и убеждений — корыстной погоне за лучшими и большими ставками, званиями, должностями, квартирами, дачами, автомобилями (Померанц: „сервис — это компенсация за потерянные нервы”), а ещё более — заграничными командировками. (Вот поразились бы дореволюционная интеллигенция! Это же надо объяснить: впечатления, развлечения, красивая жизнь, валютная оплата, покупка цветных тряпок... Думаю, самый захудалый дореволюционный интеллигент по этой причине не подал бы руки самому блестящему сегодняшнему столичному образованцу.) Но более всего характеризуется интеллект центральной образованщины её жадной наград, премий и званий, несравненных с теми, что дают рабочему классу и провинциальной образованщине, — и суммы премий выше и какая звучность: „народный художник (артист и т. д.) ... заслуженный деятель... лауреат...”! Для всего того не стыдно вытянуться в струнчайшую безукоризненность, прервать все порицательные знакомства, выполнять все пожелания начальства, осудить письменно или с трибуны или неподанием руки любого коллегу по указанию парткома.

Если это всё — „интеллигенция”, то что же тогда „мещанство”?!..

Люди, чьё имя мы недавно прочитывали с киноэкранов и которые уж конечно ходили в интеллигентах, недавно, уезжая из этой страны навсегда, не стеснялись разбирать екатерининские секретеры по доскам (вывоз древностей запрещён), вперемежку с простыми досками сколачивали их в нелепую „мебель” и вывозили так. И язык поворачивается выговорить это слово — „интеллигенция”?.. Только таможенный запрет ещё удерживает в стране иконы древнее XVII века. А из более новых целые вы-

ставки устраиваются ныне в Европе — и не только государство продавало их туда...

Всякий живущий в нашей стране платит подать в поддержку обязательной идеологической лжи. Но у рабочего класса и тем более у крестьянства эта подать минимальна, особенно после упразднения ежегодных вымученных займов (душевредных и мучительных именно своей ложной добровольностью, деньги-то можно было отбирать в любой форме), осталось — редкое голосование на общем собрании, где не так уж тщательно проверяют отсутствующих. С другой стороны, государственные управители и идеологические внедрители иные искренне верят своей Идеологии, многие отдались ей по многолетней инерции, по недостатку знаний, по психологической особенности человека иметь мировоззрение, соответствующее его основной деятельности.

Но — центровая образованщина? Отлично видеть жалкость и дряблость партийной лжи, меж своими смеяться над нею — и тут же цинично, в „гневных” протестах и статьях, звучно и витиевато повторять ту же ложь, ещё развивая и укрепляя её средствами своей элоквенции и стиля! На ком же узнано, с кого ж и списано Оруэллом *двоемыслие*, как не с советской интеллигенции 30-х и 40-х годов? Это двоемыслие с тех пор лишь отработалось, стало устойчивым жизненным приёмом.

О, мы жаждем свободы, мы заклеим (шёпотом) всякого, кто усумнился бы в желанности и необходимости полнейшей свободы в нашей стране! (Пожалуй так: не для всех, но для центровой образованщины непременно. Померанц в письме XXIII съезду партии предлагает ассоциацию „интеллигентного ядра”, обладающую независимой прессой, теоретический центр, дающий советы административно-партийному.) Однако этой свободы мы ждём как внезапного чуда, которое без наших усилий вдруг выпадет нам, сами же ничего не делаем для завоевания той свободы. Уж где там прежние традиции — поддержать политических, накормить беглеца, приютить беспаспортного, бездомного (можно службу казённую потерять), — центровая образованщина повседневно добросовестно, а иногда и талантливо трудится для укрепления общей тюрьмы. И этого она не разрешит поставить себе в вину! — пригото-



лены, обдуманы, отточены многоязыкие оправдания. Подножка сослуживцу, ложь в газетном заявлении находчиво оправдываются совершившим, охотно принимаются хором окружающих: если б я (он) этого не сделал, то меня (его) бы сняли с этого поста и назначили бы худшего! Так для того, чтоб удерживать позиции *добра* к облегчению всех, — естественно каждый день приходится причинять зло некоторым („порядочные люди гадают ближним лишь по необходимости”). Но эти некоторые — сами виноваты: зачем так резко неосторожно выставили себя перед начальством, не думая о *коллективе*? или зачем скрыли свою анкету перед отделом кадров — и вот *подвели под удар* весь коллектив?.. Челнов („Вестник РСХД” № 97) остроумно называет позицию интеллигенции кривостоянием, „при котором прямизна кажется нелепой позой”.

Но главный оправдательный аргумент — дети! Перед этим аргументом смолкают все: кто ж имеет право пожертвовать материальным благополучием своих детей для *отвлечённого* принципа правды?!.. Что моральное здоровье детей дороже их служебного устройства, — и в голову не приходит родителям, самим обеднённым на то. Резонно вырасти такими и детям: прагматики уже со школьной скамьи, первокурсники уже покорны лжи политучёб, уже разумно взвешивают, как наивыгоднейше вступить на состязательное поприще наук. Поколение, не испытывавшее настоящих гонений, но как оно осторожно! А те немногие юноши — надежда России, кто оборачивается лицом к правде, обычно проклинаются и даже преследуются своими разъярёнными состоятельными родителями.

И не оправдаешь центровую образованщину, как прежних крестьян, тем, что они раздроблены по волостям, ничего не знают о событиях общих, давимы локально. Интеллигенция во все советские годы достаточно была информирована, знала, что делается в мире, *могла* знать, что делается в стране, но — отворачивалась, но дрябло сдавалась в каждом учреждении и кабинете, не заботясь о деле общем. Конечно, от десятилетия к десятилетию сжимали невиданно (западным людям и не вообразить, пока до них не докатилось). Людей динамичной инициативы, отзывных на все виды общественной и личной помощи, самодеятельности, — подавляли гнѐтом и страхом, да и саму общест-

венную помощь заглаживали казённой лицемерной имитацией. И в конце концов поставили так, что как будто третьего нет: в травле товарища по работе никто не смеет остаться нейтральным — едва уклонясь, он тут же становится травимым и сам. И всё же у людей остаётся выход и в этом положении: что ж, быть травимым и самому! что ж, пусть мои дети на корочке вырастут, да честными! Была б интеллигенция такая — она была бы непобедима.

А есть ещё особый разряд — людей именитых, так недосягаемо, так прочно поставивших имя своё, предохранительно окутанное всесоюзной, а то и мировой известностью, что, во всяком случае в послесталинскую эпоху, их уже не может постичь полицейский удар, это ясно всем напрозор, и вблизи, и издали; и нуждою тоже их не накажешь — накоплено. Они-то — могли бы снова возвысить честь и независимость русской интеллигенции? выступить в защиту гонимых, в защиту свободы, против удушающих несправедливостей, против убогой навязываемой лжи? Двести таких человек (а их и полтысячи можно насчитать) своим появлением и спаянным стоянием очистили бы общественный воздух в нашей стране, едва не переменили бы всю жизнь! В предреволюционной интеллигенции так и действовали тысячи, не ожидая защитной известности. В нашей образованщине — насчитаем ли полный десяток? Остальные — такой *потребности* не имеют! (Даже если у кого и отец расстрелян — ничего, съедено.) Как же называть и зримую верхушку нашу — выше образованщины?

В сталинское время за отказ подписать газетную кляузу, заклинание, требование смерти и тюрьмы своему товарищу действительно могла грозить и смерть, и тюрьма. Но сегодня — какая угроза сегодня склоняет седовласых и знаменитых брать перо и, угодливо спросивши — „где?“, подписывать не ими составленную грязную чушь против Сахарова? Только личное ничтожество. Какая сила заставляет великого композитора XX века стать жалкой марионеткой третьестепенных чиновников из министерства культуры и по их воле подписывать любую презренную бумажку, защищая кого прикажут за границей, травя кого прикажут у нас? (Сокоснулся композитор безо всяких перегородок, душа с душою, с тёмной гибельной душою XX

века. Он ли её, нет, она его захватила с такой пронзающей достоверностью, что когда — если! — наступит у человечества более светлый век, услышат наши потомки через музыку Шостаковича, как мы были уже в когтях дьявола, в его полном обладании, — и когти эти, и адское его дыхание казались нам красивыми.)

Бывало ли столь жалкое поведение среди великих русских учёных прошлого? среди великих русских художников? Традиция их сломлена, мы — образованщина.

Тройной стыд, что уже не страх перед преследованием, но извилистые расчёты тщеславия, корысти, благополучия, спокойствия заставляют так сгибаться „московские звёзды” образованщины и средний слой „остепенённых”. Права Лидия Чуковская: кого-то от интеллигенции пришла пора отчислить. Если не этих всех — то окончательно потерял смысл слова.

О, появились бесстрашные! — выступить в защиту сносимого старого здания (только не храма) и даже целого Байкала. Спасибо и на том, конечно. В нашем сегодняшнем сборнике предполагалось участие одного незаурядного человека, достигшего между тем всех чинов и званий. В частных беседах стонет его сердце — о безвозвратности гибели русского народа. От корней знает нашу историю и культуру. И — отказался: *к чему это? ни к чему не приведёт...* Обычная достойная отговорка образованщины.

Чего заслуживаем. На каком дне прозябаем.

Когда сверху дёргали верёвку, что можно посмелей (1956, 1962), мы малость разминали затекшую спину. Когда дёргали „цыц!” (1957, 1963), мы сникали тут же. Был момент и самопроизвольный: 1967–68, Самиздат пошёл как половодье, множились имена, новые имена в протестах, казалось — ещё немножко, ещё чуть-чуть — и начнём дышать. И — много ли понадобилось на подавление? Полсотни самых дерзких лишили работы по специальности. Несколько исключили из партии, нескольких из союзов, да семь дюжин „подписантов” *вызвали на собеседование* в партком. И бледные и потерянные возвращались с „собеседований”.

И самое важное открытие своё, условие своего дыхания, возрождения и мысли — Самиздат, образованщина поспешно обронила в бегстве. Давно ли гнались образо-

ванцы за новинками Самиздата, выпрашивали перепечатать, начинали собирать самиздатские библиотеки? отправляли в провинцию?.. Но вот стали сжигать эти библиотеки, содержать в девственности пишущие машинки, разве иногда в тёмном коридоре перехватывать запретный листок, пробегать с пятого на десятое и тут же возвращать обожжёнными руками.

Да, в тех преследованиях прояснило, проступило несомненное *интеллигентное ядро*: кто продолжал собою рисковать и жертвовать — открыто или в неслышном сокрытии хранил опасные материалы, бесстрашно помогал посаженным или сам поплатился свободой.

Но и другое „ядро” открылось, кто обнаружил иную мудрость: из этой страны — бежать! Спасая ли свою неповторимую индивидуальность („там буду спокойно развивать русскую культуру”). Затем — спасая тех, кто остаётся („там будем лучше защищать ваши права здесь”). Наконец же — и детей своих, более ценных, чем дети остальных соотечественников.

Такое открылось „ядро русской интеллигенции”, которое может существовать и без России...

## 5

Да всё бы простилося нам, вызывало бы только сочувствие — и наша зажатая униженность, и наше служение лжи, если бы мы смиренно признались в своей некрепости, в своей привязанности к благополучию, в своей духовной неготовности к этим слишком крутым испытаниям: мы — жертвы истории, произошедшей до нас, мы уже родились — в ней, и хлебнули её довольно, и вот барахтаемся, не знаем, как выбиться.

Но нет! В этом положении мы выискиваем изворотливые доводы ошеломительной высоты, почему должны мы „осознать себя духовно, не бросая своего НИИ” (Померанц), — как будто „осознать себя духовно” есть задача уютного размышления, а не строгого искуса, а не беспощадного испытания. Мы нисколько не отреклись от заносчивости. Мы настаиваем на высоком наследном звании интеллигентов, на праве быть высшими судьями всего духов-

ного, происходящего в стране и человечестве: давать общественным теориям, течениям, движениям, направлениям истории и деятельности активных лиц безапелляционные оценки из безопасной норы. Ещё в вестибюле НИИ, беря пальто, мы вырастаем на голову, а уж за чайными столами вечером произносится вершинная оценка: что из поступков и кому из деятелей „простит” или „не простит интеллигенция”.

Наблюдая жалкое реальное поведение центральной образованщины на советской службе, невозможно поверить, на каком историческом пьедестале эта образованщина видит себя: каждый — сам себя, друзей и сослуживцев. Всё большее сужение профессиональных знаний, дающее возможность и в доктора наук проходить полуневеждам, насколько не смущает образованца.

Настолько властно надо всеми образованными людьми это высокое мнение образованщины о себе, что даже упорный обличитель её Алтаев в промежутке между обличениями традиционно склоняется: „сегодня (наша) интеллигенция явно держит в своих руках судьбы России, а с нею и всего мира”!.. Горький смеётся... По пройденному русскому опыту перед растерянным сегодняшним Западом — могла бы держать! — да руки слабы, да сердце перебивается...

В 1969 году этот напор самодовольства научно-технической образованщины прорвался в Самиздат статьёй Семёна Телегина (разумеется, псевдоним) „Как быть?”. Тон — бодрого напористого всезнайки, быстрого на побочные ассоциации, с довольно развязным и невысоким остроумием, вроде „русиш культуриш”, то пренебрежением к этому населению, с которым приходится делить один участок суши („человеческий свинарник”), то — пафосными зачинами: „А задумывались ли вы, читатель?”. „Творческое начало, источник этики и гуманизма”, автор выводит от обезьян, лучшим выходом для разочарованных считает „трибуны стадиона”, худшим — „в сектанты”.

Но не так важен сам автор, как единомыслящий круг его, который он аттестует отчётливо: „прогрессивные интеллигенты” (состоящие в партии, ибо сживают на партсобраниях и руководят „отдельными участками работы”), „мы — цвет мыслящей России”, кто „создаёт свой круг

воззрений, в котором можно жить, не путаясь в противоречиях". „Представьте себе класс высокообразованных людей, вооружённых идеями современной науки, умелых, самостоятельных, бесстрашно мыслящих, вообще привыкших и любящих думать, а не... пахать землю."

Не скрывает Телегин и таких особенностей своего круга: „Мы — люди, привыкшие думать одно, говорить другое, а делать третье... Тотальная демобилизация морали коснулась и нас." Речь идёт о *троедушии*, о тройной морали — „для себя, для общества, для государства". Но является ли это пороком? Весёлый Телегин считает: „в этом наша победа"! Как так? А: власти хотели бы, чтобы мы и *думали* так же подчинённо, как говорим вслух и работаем, а мы *думаем* — бесстрашно! „мы отстаивали свою *внутреннюю свободу*"! (Изумишься: если *шиш*, показываемый тайно в кармане, есть внутренняя свобода, — что же тогда внутреннее рабство? Мы бы всё-таки назвали внутренней свободой способность и мыслить *и действовать*, не завися от внешних пут, а внешней свободой — когда тех пут вовсе нет.)

Именно в статье Телегина „цвет мыслящей России" адекватно и очень откровенно выразил себя. Обогачительно для нас познакомиться с этими взглядами.

„Под режимом угнетения" будто бы выросла „новая культура", „система отношений и система мышления", это „колосс на двух ногах — искусства и науки". В области искусства? — гитаристы-песенники и независимая самиздатская литература. В области науки? — „могучая методология физики", а из неё — „целая жизненная философия", вот уже „десятки отраслевых и локальных подкультур пускают побеги в чертёжных залах КБ, в коридорах НИИ, в холлах институтов Академии Наук". „Здесь простор творцам, и они есть." „Науку не обуздать никаким властям" (гм-гм...). И вот: можно будет „методологию физики приложить к тонкостям морали" (упаси нас Бог...), „на этой подпольной культуре взойдёт, как на дрожжах, племя новых цельных людей, гигантов, которым будут смешны наши страхи".

И дальше — смелый план, как эту культуру использовать для нашего спасения. Дело в том, что „открыто выступать против условий, в которых мы живём... не всегда

лучший способ". „Зло злом не исправишь", не помогут и не нужны „ни тайные заговоры, ни новые партии", нельзя призывать к революции.

С последним выводом мы искренне согласны, хотя в обосновании его автор грешит: падение самодержавия приписывает исключительно тому, что общество отвергло казённую идею, а никакой революционной деятельности. Это — не так, тут параллели не натянешь: и революционная деятельность была самая настоящая, и самодержавие не оборонялось в сотую долю так свирепо, и интеллигенция была жертвенна. Но с практическим выводом мы согласны: откинем мысль о революции, „не будем строить планов создания новой массовой партии ленинского типа".

А — что же? Вот: „на первых порах больших жертв не предвидится" (очень успокоительно для образованщины). 1-й этап: „неприятие культуры угнетателей" и своё „культурное строительство" (ну, читать Самиздат и высоко понимать в курилках НИИ). 2-й этап: прилагать „усилия по распространению этой культуры среди народа", даже „активно нести эту культуру в народ" (методологию физики? гитарные песни?), „внести в народ понимание того, до чего мы сами дошли", для чего искать „обходные способы". Такой путь „потребует в первую очередь не отваги (в который раз этот бальзам на душу!), а дара убеждать, прояснять, умения долго и успешно возбуждать внимание народа, не привлекая внимания властей", „России нужны не только трибуны и подвижники, но и... ехидные критики, искусные миссионеры новой культуры". „Находим же мы с народом общий язык, говоря о футболе и рыбалке, — надо искать конкретные формы хождения в народ." „И неужели мы, владея мировоззрением... (и т. д.) ... не справимся с задачей, которую успешно решают полуграмотные проповедники религии?!" (Увы, увы, не в грамотности дело, на том и выдаёт себя заносчивая и подслепая образованщина, а — в душевной силе.)

Мы так щедро цитируем, потому что: не одного Телегина уже, а — всех самоуверенных идеологов центральной образованщины. Кого из них ни послушаем мы, одно это и слышим: осторожное просветительство! Статья Челнова (Вестник, № 97) точно, как и у Телегина, не сговариваясь, озаглавлена: „Как быть?" Ответ: „создавать тай-

ные христианские братства”, расчёт на тысячелетнее ж улучшение нравов. Л. Венцов (Вестник, № 99) „Думать!” — то же, не сговариваясь, телегинское лекарство. На короткое время заплодилось в Самиздате журналы и журналы — „Луч свободы”, „Сеятель”, „Свободная мысль”, „Демократ” — все строго конспиративны, конечно, и у всех совет один: только не открывать своего лица, только не нарушать конспирации, а медленно распространять среди народа верное понимание... Как же? Всё та же тысячелетняя пастораль, которую сто раз обгонят события ракетного века. Помнилось это так легко: в норке рассуждать, рассуждения отдавать в Самиздат, а там — само пойдёт!

Да не пойдёт.

В тёплых светлых благоустроенных помещениях НИИ учёные-„точники” и техники, сурово осуждая братьев-гуманитариев за „прислуживание режиму”, привыкли прощать себе свою безобидную служебную деятельность, а она никак не менее страшна, и не менее сурово за неё спросится историей. А ну-ка, потеряли бы мы завтра половину НИИ, самых важных и секретных, — пресеклась бы наука? Нет, империализм. „Создание антитоталитарной культуры может привести и к свободе вещественной”, — уверяет Телегин, — да как же это себе вообразить? Полный рабочий день учёные (с тех пор как наука стала промышленностью — по сути квалифицированные промышленные рабочие) выдают вещественную если не „культуру”, то цивилизацию (а больше — вооружение), именно вещественно укрепляют ложь, и везде голосуют и соглашаются и повторяют, как велено, — и как же такая культура спасёт всех нас?

За минувшие от статьи Телегина годы много было общественных поводов, чтобы племя *гигантов* хоть бы плечами повело, хоть бы дохнуло разик, — нет! Подписывали, что требовалось, против Дубчека, против Сахарова, против кого прикажут, и, держа шиши в карманах, торопились в курилки развивать „отраслевую подкультуру” и ковать „могучую методологию”.

А может быть и психиатры института Сербского той же „тройной моралью” живут и гордятся своею „внутренней свободой”? И прокуроры иные, и высокие судьи? — среди них ведь есть люди отточенного интеллекта (напри-



мер Л. Н. Смирнов), никак не ниже телегинских гигантов.

Тем и обманчива, в том и путана эта самодовольная декларация, что она очень близко проходит от истины, и это веет читателю на сердце, а в опасной точке круто сворачивает вбок. „Ohne uns!“ — восклицает Телегин. Верно. „Не принимать культуру угнетателей!“ — верно. Но: когда? где? и в чём не принимать? Не в гардеробной после собрания, а на собрании — не повторять, чего не думаешь, не голосовать против воли! И в том кабинете — не подписывать, чего не составил по совести сам. Какую там „культуру“ отвергать? Никто и не навязывает „культуры“, навязывают ложь — и всего-то лжи нельзя принять, но — тотчас, в тот момент и в том месте, где её предлагают, а не возмущаться вечером дома за чайным столом. Отвергнуть ложь — *тотчас*, и не думать о последствиях для своей зарплаты, семьи и досуга развивать „новую культуру“. Отвергнуть — и не заботиться, повторяют ли твой шаг другие, и не оглядываться, как это распространится на весь народ.

И потому, что ответ так ясен, стянут к такой простоте и прямоте, — от него всем блеском красноречия увильнёт анонимный идеолог высокомерного, мелкого и бесплодного племени гигантов.\*

А кто не способен идти на риск — избавьте нас пока в нашей грязи, в нашей низости от ваших остроумных рассуждений, обличений и указаний, откуда наши русские пороки.

## 6

И как же при этом центровая образованщина понимает своё место в стране, по отношению к своему народу? Ошибётся, кто предположит, что она раскаивается в своей роли прислужницы. Даже Померанц, представляющий совсем другой круг столичной образованщины — непри-

---

\* В Самиздате — текучи редакции. И позже Телегин изменил конец. Появилось: „первые вёрсты — бойкот, неучастие, игнорирование“. Игнорирование — это обычный шиш, а вот *неучастие* — где же?..

строенной, неруководящей, беспартийной, гуманитарной, не забудет восхвалить „ленинскую культурную революцию” (разрушала старые формы производства, очень ценно!), защитить образ правления 1917–22 годов („временная диктатура в рамках демократии”). И: „деспотического отношения со стороны победивших революционеров обыватель, разумеется, вполне заслуживает. Его трусость, его раболепие воспитывают деспотов”. Его раболепие, не наше!.. А чем же центровая образованщина ведёт себя достойней так называемого „обывателя”?

Даже предположения о какой бы то ни было *вине* перед народом за прошлое или за нынешнее, чем так мучилась предреволюционная интеллигенция, не возникает ни у кого из певцов образованщины, ни у порицателей её. Тут они все едины, и Алтаев: „Народу самому неплохо было бы ощутить свою вину перед интеллигенцией.”

В сравнении себя с народом центровая образованщина все выводы делает в свою пользу. Померанц: „Интеллигенция есть мера общественных сил — прогрессивных, реакционных. Противопоставленный интеллигенции, *весь народ сливается в реакционную массу*” (выделено мною, А. С.). „Это — та часть образованного слоя общества, в которой совершается духовное развитие, в которой рушатся старые ценности и возникают новые, в которой делается очередной шаг от зверя к Богу... Интеллигенция это и есть то, что интеллигенция искала в других — в народе, в пролетариате и т. д.: фермент,двигающий историю”. Более того: „Любовь к народу гораздо опаснее (чем любовь к животным): никакого порога, мешающего стать на четвереньки, здесь нет.” Да просто: „Здесь... *складывается хребет нового народа*”, „новое что-то заменит народ”, „люди творческого умственного труда становятся избранным народом XX века”!!!

То же у Телегина, то же и Горский (ещё один псевдоним, Вестник № 97): „Путь к высшим ценностям лежит в стороне от слияния с народом.” На 180 градусов от того, как думали их глупые интеллигентные предшественники.

Заберём себе и религию. Померанц: „Крестьяне не совершенны в религии”, то есть без философской высоты: „можете назвать это Богом, Абсолютом, Пустотой...

я не привязан ни к одному из этих слов”, а просто сердечная преданность вере, её заветам и даже обрядам, фи, — крестьяне несовершенны в вере, „так же, как и в агрономии”. (По крестьянской агрономии и хлебушек был и почва не гибла, а по науке вот скоро мы без почвы. Да, бишь, против *почвенников* и вся дискуссия Померанца, его идеал „люди воздуха, потерявшие все корни в обыденном бытии”.) Зато „нынешние интеллигенты ищут Бога. Религия перестала быть приметой народа. Она стала приметой элиты”. То же и Горский: „Смешивать возвращение в церковь и хождение в народ — опасный предрассудок.”

Один пишет в московском Самиздате, другие — в парижском журнале, друг друга вероятно не знают, а какое единство! — иголки не пробьёшь. Значит, не придумка одиночек, а *направление*.

А что ж порекомендуем народу? Вообще ничего. Никакого *народа нет*, в этом снова все они сходятся: „Культура, как змея, просто сбрасывает кожу, и *старая кожа, народ*, лежит, потеряв свою жизнь, в пыли.” „Для человечества патриархальные добродетели безнадёжно потеряны”, „мужик не может возродиться иначе, как оперный”. „Мы не окружены народом. Крестьянства в развитых странах становится слишком мало, чтобы окружить нас”, „крестьянские нации суть голодные нации, а нации, в которых крестьянство исчезло, — это нации, в которых исчез голод”. (Это пока мы ещё не упёрлись в технологический тупик.)

Но если идеологи образованщины так понимают общее положение народов, то как тогда — национальные судьбы? Обдуманно и это. Померанц: „Нации — локальные культуры и постепенно исчезнут.” А „место интеллигенции — всегда на полдороге... Духовно все современные интеллигенты принадлежат диаспоре. Мы всюду не совсем чужие. Мы всюду не совсем свои.”

В таком интернационализме-космополитизме было воспитано всё наше поколение. И (если отвлечься — если *можно* отвлечься! — от национальной *практики* 20-х годов) в нём есть большая духовная высота и красота, и, может быть, когда-нибудь человечеству уготовано на эту высоту подняться. Такой *взгляд* достаточно владеет сейчас и европейским обществом. В ФРГ это приводит к

настроению не очень-то заботиться об объединении Германии, ничего мистически необходимого в немецком национальном единстве, мол, нет. В Великобритании, ещё с иллюзорной хваткой её за мифическое Британское содружество и при чутком возмущении общества против малейших расовых утеснений, это привело к тому, что страна наводнилась азиатами и вест-индцами, совершенно равнодушными к английской земле, культуре, традициям и только ищущими пристроиться к уже готовому высокому стандарту жизни. Так ли уж это хорошо? Не нам издали судить. Но век наш вопреки прорицаниям, порицаниям и заклинаниям оказался повсюдным сплошным веком оживления наций, их самосознания, собирания. И чудодейственное рождение и укрепление Израиля после двухтысячелетнего рассеяния — только самый яркий из множества примеров.

Наши авторы как будто должны бы это знать, но в рассуждениях о России игнорируют. Горский раздражён против „бессознательного патриотизма”, против „инстинктивной зависимости от природных и родовых стихий”, он запрещает нам безотчётно иррационально *просто любить* ту страну, где мы родились, но требует от каждого возвыситься до „акта духовного самоопределения” и лишь таким способом выбрать себе родину. Среди признаков, объединяющих нацию, *он не называет родного языка!* (уступая даже такому теоретику, как... Сталин), ни — *ощущения истории* этой страны. Лишь на подсобном месте признаёт „этническую и территориальную общность”, а видит единство нации в религии (это верно, но религия может быть шире нации) и опять — в неопределённой „культуре” (не той ли, что у Померанца „переползает как змея”?). Настаивает, что существование наций противоречит Пятидесятнице. (А мы-то думали, что, сходя на апостолов языками многими, Дух Святой и подтвердил разнообразие человечества в нациях, — как оно и живёт с тех пор.) С раздражением закликает, что для России „центральной творческой идеей” должно стать не „национальное возрождение” (это им в кавычки взято и нам запрещено такое глупое понятие), а „борьба за Свободу и духовные ценности”. А мы по невежеству и противопоставления здесь не понимаем: как же иначе может духовно растерзанная Рос-

сия вернуть себе духовные ценности, если не через национальное возрождение? До сих пор вся человеческая история протекала в форме племенных и национальных историй, и любое крупное историческое движение начиналось в национальных рамках, а ни одно — на языке эсперанто. Нация, как и семья, есть природная непридуманная ассоциация людей с врождённой взаимной расположенностью членов, — и нет оснований такие ассоциации проклинать или призывать к исчезновению сегодня. А в дальнейшем будущем видно будет, не нам.

К тому ж, конечно, и Померанц. Уверяет он нас, что „с позиции народности все кошки серы... Бороться с отечественными порядками, стоя целиком на отечественной почве, так же просто, как вытащить себя из болота”. И опять мы по тупости не понимаем: а с *какой* же почвы можно бороться с *отечественными* пороками? — с интернациональной? Эту борьбу — латышскими штыками и мадьярскими пистолетами — мы уже испытали своими рёбрами и затылками, спасибо! Надо исправлять себя именно *самим*, а не кликать других мудрых себе в исправители.

Скажут: да что я прицепился к этим двум, Померанцу да Горскому, даже полутора (аноним за половину), с Алтаевым два, с Телегиным два с половиной?

А потому что — *направление*, все — теоретики и, видно, выставятся ещё не раз. Так на всякий будущий случай и поставим эти зарубки. Летом 1972 года, когда пылали русские леса по советскому бесхозяйству (у *наших* заботы были на Ближнем Востоке, в Латинской Америке); — бодрячок, весельчак и атеист Семён Телегин выпустил в Самиздат листовку, где впервые поднялся в свой гигантский рост и указал: это мол тебе, Россия, небесная кара за твои злодеяния. Прорвало.

Как на национальную проблему смотрит центровая образованщина — для того пройдитесь по знатным образованским семьям, кто держит породистых собак, и спросите, как они собак кличут. Узнаете (да с повторами): Фома, Кузьма, Потап, Макар, Тимофей... И никому уха не режет, и никому не стыдно. Ведь мужики — только „оперные”, *народа* не осталось, отчего ж крестьянскими, крестьянскими именами и не покликать?

О, как по этому ломкому хребту пройти, и в обиду по напраслине своих не давши, и порока своего горше чужого не спуская?..

7

Однако, картина народа, нарисованная Померанцем, увы, во многом и справедлива. Подобно тому, как мы сейчас, вероятно, смертельно огорчаем его, что интеллигенции в нашей стране не осталось, а всё расплылось в образованщине, — так и он смертельно ранит нас утверждением, что и *народа* тоже больше не осталось.

„Народа больше нет. Есть масса, сохраняющая смутную память, что когда-то она была народом и несла в себе Бога, а сейчас совершенно пустая.” „Народа в смысле народа-богоносца, источника духовных ценностей, вообще нет. Есть неврастенические интеллигенты — и масса.” „Что поют колхозники? Какие-то остатки крестьянского наследства” да вбитое „в школе, в армии и по радио”. „Где он, этот народ? Настоящий, народный, пляшущий народные пляски, сказывающий народные сказки, плетущий народные кружева? В нашей стране остались только следы народа, как следы снега весной... Народа как великой исторической силы, станового хребта культуры, как источника вдохновения для Пушкина и Гёте — больше нет.” „То, что у нас обычно называют народом, совсем не народ, а мещанство.”

Мрак и тоска. А — близко к тому.

И действительно, как было народу остаться? Накладывались в одну сторону и погоняли друг друга два процесса. Один — всеобщий (но в России ещё бы долго он придержался и, может, могли б мы его миновать) — процесс, как модно называть, *массовизации* (мерзкое слово, но и процесс не лучше), связанный с новой западной технологией, осточертелым ростом городов, всеобщими стандартными средствами информации и воспитания. Второй — наш особый, советский, направленный стереть исконное лицо России и натереть искусственное другое, этот действовал ещё решительней и необратимей.

Как же остаться было народу? Были насильственно

выкинуты из избы иконы и послушание старшим, печка хлебов и прялки. Потом миллионы изб, самых благоустроенных, вовсе опустошены, развалены или взяты под дурной догляд, и 5 миллионов трудоохотливых здоровых семей вместе с грудными детьми посланы умирать в зимней дороге или по прибытии в тундру. (И наша *интеллигенция* не дрогнула, не вскрикнула, а *передовая* часть её даже и сама выгоняла. Вот тогда она и кончила быть, интеллигенция, в 1930-м, и за тот ли миг должен народ просить у неё прощения?) Остальные избы и дворы разорять уже было хлопот меньше. Отняли землю, делавшую крестьянина крестьянином, обезличили её, как не бывало и в крепостное право, обезинтересили всё, чем мужик работал и жил, одних погнали на Магнитогорски, других — целое поколение так и погибших баб, заставили кормить махину государства до войны, всю великую войну и после войны. Все внешние интернациональные успехи нашей страны и расцвет сегодняшних тысяч НИИ был достигнут разгромом русской деревни, русского обычая. Взамен притянули в избы и в уродливые многоэтажные коробки городских окраин — репродукторы, пуше того поставили их на всех центральных столбах (по всему лицу России и сегодня это бубнит от шести утра до двенадцати ночи, высший признак *культуры*, и пойдя заткни — будет антисоветский акт). И те репродукторы dokonчили работу: они выбили из голов всё индивидуальное и всё фольклорное, натолкали штампованного, растоптали и замусорили русский язык, нагудели бездарных пустых песен (сочиняла их интеллигенция). Добили последние сельские церкви, растоптали и загадили кладбища, с комсомольской горячностью извели лошадь, изгадили, изрезали тракторами и пятитонками вековые дороги, мягко вписанные в пейзаж. Где ж и кому осталось плясать и плести кружева?.. Ещё насладила лакомством для сельской юности серятину глупеньких фильмов (интеллигент: „надо выпустить, будут большие *тиражные*”), да то же затолкано и в школьные учебники, да то же и в книгах повзрослей (а кто писал их, не знаете?), — чтоб и новая свежесть не выросла там, где вырублен старый лес. Как танками изгладили всю историческую народную память (Александрю Невскому без креста подняться дали, но

чему поближе — нет), — и как же народу было сохраниться?

Так вот, на этом пепелище, сидя в золе, разберёмся.

Народа — нет? И тогда, верно: уже не может быть национального возрождения?.. И что ж за надрыв! — ведь как раз замаячило: от краха всеобщего технического прогресса, по смыслу перехода к стабильной экономике, будет повсюду восстанавливаться первичная связь большинства жителей с землёю, простейшими материалами, инструментами и физическим трудом (как инстинктивно ищут для себя уже сегодня многие пресыщенные горожане). Так неизбежно восстановится во всех, и передовых, странах некий наследник многочисленного крестьянства, наполнитель народного пространства, сельскохозяйственный и ремесленный (разумеется с новой, но рассредоточенной техникой) класс. А у нас — мужик „оперный” и уже не вернётся?..

Но интеллигенции — тоже нет? Образованщина — древо мёртвое для развития?

Подменены все классы — и как же развиваться?

Однако — кто-то же есть? И как людям запретить будущее? Разве людям можно не жить дальше? Мы слышим их устало-тёплые голоса, иногда и лиц не разглядев, где-нибудь в полутьме пройдя мимо, слышим их естественные заботы, выраженные русской речью, иногда ещё очень свежей, видим их живые готовые лица и улыбки их, испытываем на себе их добрые поступки, иногда для нас внезапные, наблюдаем самоотверженные детные семьи, претерпевающие все ущербы, только бы душу не погубить, — и как же им всем запретить будущее?

Поспешен вывод, что больше нет народа. Да, разбежалась деревня, а оставшаяся приглушена, да, на городских окраинах — стук домино (достижение всеобщей грамотности) и разбитые бутылки, ни нарядов, ни хороводов, и язык испорчен, а уж тем более искажены и ложно направлены мысли и старания, — но почему даже от этих разбитых бутылок, даже от бумажного мусора, перевёваемого ветром по городским дворам, не охватывает такое отчаяние, как от служебного лицемерия образованщины? Потому что *народ*, в массе своей не участвует в казённой лжи, и это сегодня — главный признак его,



позволяющий надеяться, что он не совершенно пуст от Бога, как упрекают его. Или, во всяком случае, сохранил невыжженное, невытопанное в сердце место.

Поспешен и вывод, что нет интеллигенции. Каждый из нас лично знает хотя бы несколько людей, твёрдо поднявшихся и над этой ложью и над хлопотливой суетой образованщины. И я вполне согласен с теми, кто хочет видеть, верить, что уже видит некое *интеллигентное ядро* — нашу надежду на духовное обновление. Только по другим бы признакам я узнавал и отграничивал это ядро: не по достигнутым научным званиям, не по числу выпущенных книг, не по высоте образованности „привыкших и любящих думать, а не пахать землю”, не по научности методологии, легко создающей „отраслевые подкультуры”, не по отчуждённости от государства и от народа, не по принадлежности к духовной диаспоре („всюду не совсем свои”). Но — по чистоте устремлений, по душевной самоотверженности — во имя правды и прежде всего — для этой страны, где живёшь. Ядро, воспитанное не столько в библиотеках, сколько в душевных испытаниях. Не то ядро, которое желает считаться ядром, не поступаясь удобствами жизни центральной образованщины. Мечтал Достоевский в 1887 году, чтобы появилась в России „молодёжь скромная и доблестная”. Но *тогда* появлялись „бесы” — и мы видим, куда мы пришли. Однако свидетельствую, что сам я в последние годы своими глазами видел, своими ушами слышал эту скромную и доблестную молодёжь, — она и держала меня как невидимая плёнка над кажущейся пустотой, в воздухе, не давая упасть. Не все они сегодня остаются на свободе, не все сохраняют её завтра. И далеко не все известны нашему глазу и уху: как ручейки весенние, где-то сочатся под толстым серым плотным снегом.

Это порочность метода: вести рассуждение в „социальных слоях”, никак иначе. В социальных слоях получается безнадёжность (как у Амальрика и получилось). Интеллигенция-образованщина как огромный социальный слой закончила своё развитие в тёплом болоте и уже не может стать воздухоплавательной. Но это и в прежние, лучшие времена интеллигенции было неверно: зачислять в интеллигенцию целыми семьями, родами, кружками, слоями.

В частности могли быть и сплошь интеллигентная семья, и род, и кружок, и слой, а всё же по смыслу слова интеллигентом человек становится индивидуально. Если это и был слой, то — психический, а не социальный, и значит вход и выход всегда оставались в пределах индивидуального поведения, а не рода работы и социального положения.

И слой, и народ, и масса, и образованщина — состоят из людей, а для людей никак не может быть закрыто будущее: люди определяют своё будущее сами, и на любой точке искривлённого и ниспадного пути не бывает поздно повернуть к доброму и лучшему.

Будущее — неистребимо, и оно в наших руках. Если мы будем делать правильные выборы.

Вот и в сочинениях Померанца среди многих противоречивых высказываний выныривают то там, то сям поразительно верные, а если сплотить их, увидим, что и с разных сторон можно подойти к сходному решению. „Нынешняя масса — это аморфное состояние между двумя кристаллическими структурами... Она может оструктурироваться, если появится стержень, веточка, пусть хрупкая, вокруг которой начнут нарастать кристаллы.” С этим — не поспоришь.

Однако, упорно преданный интеллигентским идеалам, Померанц отводит эту роль стержня-веточки — только интеллигенции. По трудной доступности Самиздата надо цитировать обширно: „Масса может заново кристаллизоваться в нечто народоподобное только вокруг новой интеллигенции.” „Рассчитываю на интеллигенцию вовсе не потому, что она хороша... Умственное развитие само по себе только увеличивает способность ко злу... Мой избранный народ плох, я это знаю... но остальные ещё хуже.” Правда, „прежде, чем посолить, надо снова стать солёю”, а интеллигенция перестала быть ею. Ах, „если бы у нас хватило характера отдать все свои лавровые венки, все степени и звания... Не предавать, не подвывать... Предпочесть чистую совесть чистому подъезду и приготовиться обходиться честным куском хлеба без икры.” Но: „Я просто верю, что интеллигенция может измениться и потянуть за собою других”...

Здесь мы ясно слышим, что интеллигенцию Померанц

выделяет и ограничивает по *умственному развитию*, лишь желает ей — иметь и нравственные качества.

Да не в том ли заложена наша старая потеря, погубившая всех нас, — что интеллигенция отвергла религиозную нравственность, избрав себе атеистический гуманизм, легко оправдавший и торопливые ревтрибуналы и бессудные подвалы ЧК? Не в том ли и начиналось возрождение „интеллигентного ядра” в 10-е годы, что оно искало вернуться в религиозную нравственность — да застукали пулемёты? И то ядро, которое сегодня мы уже, кажется, начинаем различать, — оно не повторяет ли прерванного революцией, оно не есть ли по сути „младовеховское”? Нравственное учение о личности считает оно ключом к общественным проблемам. По такому ядру тосковал и Бердяев: „Церковная интеллигенция, которая соединяла бы подлинное христианство с просвещённым и ясным пониманием культурных и исторических задач страны.” И С. Булгаков: „Образованный класс с русской душой, просвещённым разумом, твёрдой волею.”

Это ядро не только не уплотнено, как надо быть ядру, оно даже не собрано, оно рассеяно, взаимонеузнано: его частицы многие не видели, не знают, не предполагают друг о друге. И не интеллигентность их роднит — но жажда правды, но жажда очиститься душою и такое же очищенное светлое место содержать вокруг себя каждого. Потому и „неграмотные сектанты” и какая-нибудь неведомая нам колхозная доярка тоже состоят в этом ядре добра, объединяемые общим направлением к чистой жизни. А какой-нибудь просвещённый академик или художник вектором стяжательства и жизненного благоразумия направлен как раз наоборот — назад, в привычную багровую тьму этого полувека.

Сколько это — „стержень-веточка” для „кристаллизации” целого народа? Это — десятки тысяч людей. Это опять-таки потенциальный *слой* — но не перелиться ему в будущее просторной беспрепятственной волною. Так безопасно и весело, как обещают нам, не бросая НИИ, по уик-эндам и на досуге, не составить „хребта нового народа”. Нет — это придётся совершать в будни, на главном направлении нашего бытия, на самом опасном участке, да ещё и каждому в ледящем одиночестве.

Обществу столь порочному, столь загрязнённому, в стольких преступлениях полувека соучастному — ложью, холопством радостным или изневольным, ретивой помощью или трусливой скованностью, — такому обществу нельзя оздоровиться, нельзя очиститься иначе, как пройдя через душевный фильтр. А фильтр этот — ужасный, частый, мелкий, имеет дырочки, как игольные ушки, — на одного. Проход в духовное будущее открыт только поодиночно, через продавливание.

Через сознательную добровольную жертву.

Меняются времена — меняются масштабы. 100 лет назад у русских интеллигентов считалось жертвой пойти на смертную казнь. Сейчас представляется жертвой — рискнуть получить административное взыскание. И по приниженности запуганных характеров это не легче, действительно.

Даже при самых благоприятных обстоятельствах (одновременная множественность жертвенного порыва) придётся потерять не музейную икру, как предупреждает Померанц, но — апельсины, но — сливочное масло, торговля которыми так налажена в научных центрах. Ликовали злорадные критики, что в „Круге первом” я обнажил „низкий уровень любви в народе” пословицею „для щей люди женятся, для мяса замуж идут”, а мы, мол, любим и женимся только на уровне Ромео! Но пословиц русских много, для разных оттенков и ситуаций. Есть и такая:

Хлеб да вода — молодецкая еда.

Вот на этой еде предстоит нам показать уровень своей любви к этой стране и её белым берёзкам. А любить их глазами — мало. Понадобится осваивать жестокий Северо-Восток — и придётся ехать нашим излюбленным образованским детям, а не ждать, чтобы *мещанство* ехало вперёд. И все умные советы анонимных авторов — конспирация, конспирация, „только не вылазки в одиночку”, тысячелетнее просвещение да развитие тайком культуры — вздор. Из нашей нынешней презренной аморфности никакого прохода в будущее не оставлено нам, кроме открытой личной и преимущественно публичной (пример показать) жертвы. „Вновь открывать святыни и ценности культуры” придётся не эрудицией, не научным профилем,

а образом душевного поведения, кладя своё благополучие, а в худых оборотах — и жизнь. И когда окажется, что образовательный ценз и число печатных научных работ тут совсем ни к чему, — с удивлением мы почувствуем рядом с собою так презираемых „полуграмотных проповедников религии”.

Слово „интеллигенция”, давно извращённое и расплывшееся, лучше признаем пока умершим. Без замены интеллигенции Россия, конечно, не обойдётся, но не от „понимать, знать”, а от чего-то *духовного* будет образовано то новое слово. Первое малое меньшинство, которое пойдёт продавливаться через сжимающий фильтр, само и найдёт себе новое определение — ещё в фильтре или уже по другую сторону его, узнавая себя и друг друга. Там узнается, родится в ходе их действия. Или оставшееся большинство назовёт их без выдумок просто праведниками (в отличие от „правдистов”). Не ошибёмся, назвав их пока жертвенною элитой. Тут слово „элита” не вызовет зависти ничьей, уж очень беззавистный в неё отбор, никто не обжалует, почему его не включили: включайся, ради Бога! Иди, продавливайся!

Из прошедших (и в пути погибших) одиночек составит эта элита, кристаллизующая народ.

Станет фильтр для каждой следующей частицы всё просторней и легче — и всё больше частиц пойдёт через него, чтобы по ту сторону из достойных одиночек сложился бы, воссоздался бы и достойный *народ* (это своё понимание народа я уж высказывал). Чтобы построилось общество, первой характеристикой которого будет не коэффициент товарного производства, не уровень изобилия, но чистота общественных отношений.

А другого пути я решительно не вижу для России.

И остаётся описать только устройство и действие фильтра.

Со стороны над нами посмеются: какой робкий и какой скромный шаг воспринимается нами как *жертва*. По всему миру студенты захватывают университеты, выходят

на улицы, даже свергают правительства, а смиреннее наших студентов в мире нет: сказано — политучёба, пальто с вешалки не выдавать, и никто не уйдёт. В 1962 весь Новочеркасск бушевал, но в общежитии Политехнического института заперли дверь на замок — и никто не выпрыгнул из окна! Или: голодные индусы освободились из-под Англии безнасильным непровотвлением, гражданским неповиновением, — но и на такую отчаянную смелость мы не способны — ни рабочий класс, ни образованщина, мы Сталиным-батюшкой напуганы на три поколения вперёд: как же можно *не выполнить* какого-нибудь распоряжения власти? Это уж — самогубительство последнее.

И если написать крупными буквами, в чём состоит наш экзамен на человека:

НЕ ЛГАТЬ! НЕ УЧАСТВОВАТЬ ВО ЛЖИ!

НЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЛОЖЬ!

— то будут смеяться над нами не то что европейцы, но арабские студенты, но цейлонские рикши: всего-то столько от русских требуется? И это — жертва, смелый шаг? а не просто признак честного человека, не жулика?

Но пусть смеются грибы другого кузова, а кто в нашем давится, тот знает: это действительно очень смелый шаг. Потому что каждодневная ложь у нас — не прихоть развратных натур, а форма существования, условие повседневного благополучия всякого человека. Ложь у нас включена в государственную систему как важнейшая сцепка её, миллиарды скрепляющихся крючочков, на каждого приходится десяток не один.

Именно поэтому нам так гнетуще жить. Но именно поэтому нам так естественно и распрямиться! Когда давят безо лжи — для освобождения нужны меры политические. Когда же запустили в нас когти лжи — это уже не политика! это — вторжение в нравственный мир человека, и распрямление наше — *отказаться лгать* — тоже не есть политика, но возврат своего человеческого достоинства.

Что есть жертва? — годами отказываться от истинного дыхания, заглатывать смрад? Или — начать дышать, как и отпущено земному человеку? Какой циник возьмётся вслух возразить против такой линии поведения: *неучастие во лжи*?

О, возразят конечно тут же, и находчиво: а что́ есть ложь? А кто это установит точно, где кончается ложь, где начинается правда? А в каждой исторически-конкретной диалектической обстановке и т. д., как уже и изворачиваются лгуны полвека.

А ответ самый простой: как видишь *ты сам*, как говорит тебе твоя совесть. И надолго будет довольно этого. В зависимости от кругозора, жизненного опыта, образования, каждый видит, понимает границу общественно-государственной лжи по-своему: один — ещё очень далеко от себя, другой — верёвкой, уже перетирающей шею. И там, где, по честности, видишь эту границу *ты*, — там и не подчиняйся лжи. От *той* части лжи отстранись, которую видишь несомненно, явно. А если искренне не видишь лжи нигде — и продолжай спокойно жить, как прежде.

Что значит — не лгать? Это ещё не значит — вслух и громко проповедывать правду (страшно!). Это не значит даже — вполголоса бормотать то, что думаешь. Это значит только: *не говорить того, чего не думаешь*, но уж: ни шёпотом, ни голосом, ни поднятием руки, ни опусканием шара, ни поддельной улыбкой, ни присутствием, ни вставанием, ни аплодисментами.

Области работы, области жизни — разные у всех. Работникам гуманитарных областей и всем учащимся лгать и участвовать во лжи приходится гуще и невылазнее, ложь наставлена заборами и заборами. В науках технических её можно ловчей сторониться, но всё равно: каждый день не миновать такой двери, такого собрания, такой подписки, такого обязательства, которое есть трусливое подчинение лжи. Ложь окружает нас и на работе, и в пути, и на досуге, во всём, что видим мы, слышим и читаем.

И как разнообразны формы лжи, так разнообразны и формы отклонения от неё. Тот, кто соберёт своё сердце на стойкость и откроет глаза на щупальцы лжи, — тот в каждом месте, всякий день и час сообразит, как нужно поступить.

Ян Палах — сжёл себя. Это — чрезвычайная жертва. Если б она была не одиночной — она бы сдвинула Чехословакию. Одиночная — только войдёт в века. Но так много — не надо от каждого человека, от тебя, от меня. Не придётся идти и под огнёмёты, разгоняющие демон-

страции. А всего только — дышать. А всего только — не лгать.

И никому не придётся быть первым — потому что „первых” уже многие сотни есть, мы только по их тихости их не замечаем. (А кто за веру терпит — тем более, да им-то прилично работать и уборщицами, и сторожами.) Из самого ядра интеллигенции я могу назвать не один десяток, кто уже давно так живёт — годами! И — жив. И — семья не вымерла. И — крыша над головой. И — что-то на столе.

Да, страшно! Дырочки фильтра в начале такие узкие, такие узкие — разве человеку с обширными запросами втиснуться в такую узость? Но обнадёжу: это лишь при входе, в самом начале. А потом они быстро, близко свободнеют, и уже перестают тебя так сжимать, а потом и вовсе покидают сжатием. Да, конечно! Это будет стоить оборванных диссертаций, снятых степеней, понижений, увольнений, исключений, даже иногда и выселений. Но в огонь — не бросят. И не раздавят танком. И — крыша будет, и будет еда.

Этот путь — самый безопасный, самый доступный из всех возможных наших путей, любому среднему человеку. Но он — и самый эффективный! Именно только мы, знающие нашу систему, можем вообразить, что случится, когда этому пути последуют тысячи и десятки тысяч, — как очистится и преобразится наша страна без выстрелов и без крови.

Но этот путь — и самый нравственный: мы начинаем освобождение и очищение со *своей души*. Ещё прежде, чем мы очистим страну, — мы очистимся сами. И это — единственно правильный исторический порядок, ибо зачем очищать воздух страны, если сами остаёмся грязными?

Возражат: но как жаль молодёжь! Ведь если на экзамене по общественной науке не проговоришь обязательной лжи, — двойка, отчисление из института, и перебито образование и жизнь.

В одной из следующих статей нашего сборника обсуждается, так ли правильно понимаем мы и осуществляем лучшие пути в науке. Но и без того: потеря в образовании — не главная потеря в жизни. Потери в душе, порча души,



на которую мы беззаботно соглашаемся с юных лет, — непоправимее.

Жаль молодёжь? Но и: чьё же будущее, как не их? Из кого ж мы и ждём жертвенную элиту? Для кого ж мы и томимся этим будущим? Мы-то стары. Если они сами себе не построят честного общества, то и не увидят его никогда.

Январь 1974

## ВСЕРОССИЙСКОМУ ПАТРИАРХУ ПИМЕНУ

### великопостное письмо

СВЯТЕЙШИЙ ВЛАДЫКО!

Камнем гробовым давит голову и разламывает грудь ещё не домершим православным русским людям — то, о чём это письмо. Все знают, и уже было крикнуто вслух, и опять все молчат обречённо. И на камень ещё надо камешек приложить, чтобы дальше не мочь молчать. Меня таким камешком придавило, когда в рождественскую ночь я услышал Ваше послание.

Защемило то место, где Вы сказали, наконец, о детях — может быть, первый раз за полвека с такой высотой: чтобы наряду с любовью к Отчизне родители прививали бы своим детям любовь к Церкви (очевидно, и к вере самой?) и ту любовь укрепляли бы собственным добрым примером. Я услышал это — и поднялось передо мной моё раннее детство, проведенное во многих церковных службах, и то необычайное по свежести и чистоте изначальное впечатление, которого потом не могли стереть никакие жернова и никакие умственные теории.

Но — что это? Почему этот честный призыв обращён только к русским эмигрантам? Почему только тех детей Вы зовете воспитывать в христианской вере, почему только дальнюю паству Вы остерегаете „распознавать клевету и ложь” и укрепляться в правде и истине? А нам — распознавать? А нашим детям — прививать любовь к Церкви или не прививать? Да, повелел Христос идти разыскивать даже сотую потерянную овцу, но всё же — когда девяносто девять на месте. А когда и девяносто девяти подручных нет — не о них ли должна быть забота первая?

Почему, придя в церковь крестить сына, я должен предъявить свой паспорт? Для каких канонических надоб-

ностей нуждается Московская Патриархия в регистрации крестящихся душ? Ещё удивляться надо силе духа родителей, из глубины веков унаследованному неясному душевному сопротивлению, с которым они проходят доносительскую эту регистрацию, потом подвергаясь преследованию по работе или публичному высмеиванию от невежд. Но на том иссякает настойчивость, на крещении младенцев обычно кончается всё приобщение детей к Церкви, последующие пути воспитания в вере глухо закрыты для них, закрыт доступ к участию в церковной службе, иногда и к причастию, а то и к присутствию. Мы обкрадываем наших детей, лишая их неповторимого, чисто-ангельского восприятия богослужения, которого в зрелом возрасте уже не наверстать, и даже не узнать, что потеряно. Перешиблено право продолжать веру отцов, право родителей воспитывать детей в собственном миропонимании, — а вы, церковные иерархи, смирились с этим и способствуете этому, находя достоверный признак *свободы вероисповедания* в том. В том, что мы должны отдать детей беззащитными не в нейтральные руки, но в удел атеистической пропаганды, самой примитивной и недобросовестной. В том, что отрочеству, вырванному из христианства, — только бы не заразилось им! — для нравственного воспитания оставлено ущелье между блокнотом агитатора и уголовным кодексом.

Уже упущено полувековое прошлое, уже не говорю — вызволить настоящее, но — будущее нашей страны как же спасти? — будущее, которое составит из сегодняшних детей? В конце концов истинная и глубокая судьба нашей страны зависит от того, окончательно ли укрепится в народном понимании *правота силы* или очистится от затмения и снова засияет *сила правоты*? Сумеет ли мы восстановить в себе хоть некоторые христианские черты или дотеряем их все до конца и отдадимся расчётам самосохранения и выгоды?

Изучение русской истории последних веков убеждает, что вся она потекла бы несравненно человечнее и взаимосогласнее, если бы Церковь не отреклась от своей самостоятельности, и народ слушал бы голос её, сравнимо бы с тем, как например в Польше. Увы, у нас давно не так. Мы теряли и утеряли светлую этическую христианскую атмо-

сферу, в которой тысячелетие устаивались наши нравы, уклад жизни, мировоззрение, фольклор, даже само название людей — *крестьянами*. Мы теряем последние чёрточки и признаки христианского народа — и неужели это может не быть главной заботой русского Патриарха? По любому злу в дальней Азии или Африке русская Церковь имеет своё взволнованное мнение, лишь по внутренним бедам — никогда никакого. Почему так традиционно безмятежны послания, нисходящие к нам с церковных вершин? Почему так благодущны все церковные документы, будто они издаются среди христианнейшего народа? От одного безмятежного послания к другому, в один ненастный год не отпадёт ли нужда писать их вовсе: их будет не к кому обратиться, не останется паствы, кроме патриаршей канцелярии?

Вот уже седьмой год пошёл, как два честнейших священника, Якунин и Эшлиман, своим жертвенным примером подтверждая, что не угас чистый пламень христианской веры на нашей родине, написали известное письмо Вашему предшественнику. Они обильно и доказательно представили ему то добровольное внутреннее порабощение — до самоистребления, до которого доведена русская Церковь: они просили указать им, если что неправда в их письме. Но каждое слово их было *правда*, никто из иерархов не взялся их опровергнуть. И как же ответили им? Самым простым и грубым: наказали, за правду — отвергли от богослужения. И Вы — не исправили этого по сегодня. И страшное письмо двенадцати вятичей так же осталось без ответа, и только давили их. И по сегодня всё так же сослан в монастырское заточение единственный бесстрашный архиепископ — Ермоген Калужский, не допустивший закрывать свои церкви, сжигать иконы и книги запоздало-остервенелому атеизму, так много успевшему перед 1964 годом в остальных епархиях.

Седьмой год как сказано в полную громкость — и что же изменилось? На каждый действующий храм — двадцать в запустении и осквернении, — есть ли зрелище более надрывное, чем эти скелеты, достояние птиц и кладовщиков? Сколько населённых мест по стране, где нет храма ближе ста и даже двухсот километров? И совсем без церквей остался наш Север — издавнее хранилище

русского духа, и, предвидимо, самое верное русское будущее. Всякое же попечение восстановить хоть самый малый храм, по однобоким законам так называемого „отделения Церкви от государства“, перегорожено для делателей, для жертвователей, для завещателей. О колокольном звоне мы уже и спрашивать не смеем, — а почему лишена Россия своего древнего украшения, своего лучшего голоса? Да храмы ли? — даже Евангелие у нас нигде не достать, даже Евангелие везут к нам из-за границы, как наши проповедники везли когда-то на Индигирку.

Седьмой год — и хоть что-нибудь отстоено Церковь? всё церковное управление, поставление пастырей и епископов (и даже — бесчинствующих, чтоб удобнее высмеять и разрушить Церковь) всё так же секретно ведётся из *Совета по делам*. Церковь, диктаторски руководимая атеистами, — зрелище, не виданное за Два Тысячелетия! Их контролю отдано и всё церковное хозяйство и использование церковных средств — тех медяков, опускаемых набожными пальцами. И благолепными жемами жертвуется по 5 миллионов рублей в посторонние фонды, — а нищих гонят в шею с паперти, а прохудившуюся крышу в бедном приходе не на что починить. Священники бесправны в своих приходах, лишь процесс богослужения ещё пока доверяется им, и то не выходя из храма, а за порог к больному или на кладбище — надо спрашивать постановление горсовета.

Какими доводами можно убедить себя, что планомерное разрушение духа и тела Церкви под руководством атеистов — есть наилучшее *сохранение* её? Сохранение — для кого? Ведь уже не для Христа. Сохранение — чем? *Ложью*? Но после лжи — какими руками совершать евхаристию?

Святейший Владыко! Не пренебрегите вовсе моим недостойным возгласом. Может быть не всякие семь лет Вашего слуха достигнет и такой. Не дайте нам предположить, не заставьте думать, что для архипастырей русской Церкви земная власть выше небесной, земная ответственность — страшнее ответственности перед Богом.

Ни перед людьми, ни тем более на молитве не скажем, что внешние пути сильнее нашего духа. Не легче было и при зарождении христианства, однако оно выстояло

и расцвело. И указало путь: ж е р т в у . Лишённый всяких материальных сил — в жертве всегда одерживает победу. И такое же мученичество, достойное первых веков, приняли многие наши священники и единоверцы на нашей живой памяти. Но тогда — бросали львам, сегодня же можно потерять только благополучие.

В эти дни, коленно опускаясь перед Крестом, вынесенным на середину храма, спросите Господа: какова же иная цель Вашего служения в народе, почти утерявшем и дух христианства и христианский облик?

*Александр Солженицын*

Великий пост  
Крестопоклонная неделя  
1972

## МИР И НАСИЛИЕ

Статья для газеты „Афтенпостен”

### 1

Потрясённые двумя кряду грандиозными мировыми войнами, наши последние поколения совершили эмоциональную ошибку или сдвиг: угрозу мирному, справедливому, доброму существованию человечества стали видеть почти исключительно в войнах, чем и укрепились основные противопоставление „мир – война”. И созывались весьма шумные и весьма односторонние конгрессы, избирались Всемирные Советы. И деятели, посвятившие усилия (кто искренне, а кто демагогически) предотвращению новых войн (иногда — некоторого разряда этих войн и в пользу войн другого разряда), получили или присвоили себе звание „сторонников мира”.

Но такое звание гораздо шире взятой ими задачи. Движение „против войны” это далеко ещё не всё движение „за мир”.

Противопоставление „мир – война” содержит логическую ошибку: целая теза противопоставляется части анти-тезы. Война есть массовое, густое, громкое, яркое, но далеко не единственное проявление никогда не прекращённого многоохватного мирового насилия. Противопоставление же логически равновесное и нравственно-истинное есть:

### М И Р — Н А С И Л И Е.

Существование человечества разрушается и разъедается не только бурными нарывами войн, но и постоянными неуступчивыми процессами насилия, иногда тоже бурными, иногда вялыми и скрытыми. И если принято говорить (и это верно), что „мир неделим”, что малое нарушение его (однако не только военное!) уже нарушает весь мир, — *то так же неделимо и насилие. И захват одного заложника*

и один угон самолёта есть такая же угроза всеобщему миру, как оружейный выстрел на государственной границе или бомба, сброшенная на территорию другой страны.

Но здесь, как и в сомнительной классификации войн на „допустимые” и „недопустимые”, мы сразу сталкиваемся с корыстным противодействием истине: известные группы насильников настаивают не считать угрозой миру (а даже благодеянием ему) именно ту форму насилия, которую применяют *они*.

Например, терроризм последних лет. Настороженное, напряжённое относительно войн, человечество оказалось небдительно, ослаблено относительно других видов насилия, — вот и в полном разброде, практически не готовое отразить терроризм ничтожных одиночек. И, разительно! — всемирная гуманная организация не смогла произнести *даже нравственного осуждения* терроризму! Корыстное большинство ООН такому осуждению противопоставило классификационные сомнения: да всякий ли терроризм вреден? и где же научное определение терроризма?

В шутку можно было бы предложить им такое: „когда нападают на нас — это терроризм, а когда нападаем мы — это партизанское освободительное движение”.

Серьёзно же. Отказываются признать терроризмом вероломное нападение в мирной обстановке на мирных людей со стороны скрыто-вооружённых, часто переодетых в гражданские военные. Требуют: изучить групповые цели террористов, поддерживающую их базу, идеологию и может быть признать священным „партизанством”. (Дошло до юмористического уже термина „городские партизаны” в Южной Америке.)

Конечно, возрастая количественно и в сплошном территориальном охвате, терроризм где-то переходит в партизанство (для отвоевания своей ли территории или для перенесения войны и революции на чужую территорию), а партизанство — в регулярную войну, руководимую через границу военными штабами. По всеобщей неделимости насилия такие плавные переходы существуют, да, и могут представить некоторые классификационные трудности, особенно для тех, кто эмоционально заинтересован не добыть истину и оправдать какие-то из видов насилия. Однако ободрю классификаторов примером из истории СССР.



Массовые крестьянские движения 1920-21 годов в Сибири, в Тамбовской губернии и в Узбекистане, в составе десятков тысяч человек и в разлив на пространства целых государств (по масштабам Европы), без всякого терминологического спора названы у нас *бандитскими*, и это успешно внедрено в сознание уцелевших (далеко не все уцелели) потомков тех повстанцев, так что они без иронии называют своих отцов и дедов „бандитами”.

По той же неделимости мирового насилия истинное, то есть не руководимое зарубежными центрами, массовое стихийное партизанство бывает вызвано постоянными силовыми незаконными решениями своего правительства — *систематическим государственным насилием*.

Такое устоявшееся перманентное государственное насилие, за десятилетия своего господства успевающее принять все „юридические” формы, кодифицировать толстые своды своих насильственных „законов” и накинута мантии на плечи своих „судей”, есть грознейшая опасность сегодняшнему миру, хотя мало кем это сознаётся. Такое насилие уже не нуждается ни подкладывать взрывные устройства, ни сбрасывать бомбы, его процедура совершается в строгом безмолвии, редко нарушенном последним криком удушаемого. Такое насилие разрешает себе выглядеть и благообразным, и дружелюбным, и очень мирным, и вовсе дремлющим.

Но масштабы такого насилия можно примерно оценить по подсчётам профессора статистики И. А. Курганова (они опубликованы на Западе, исследователям доступно проверить их основательность). Советский опыт уничтожения оценивается им в 66 миллионов смертей, то есть очевидно *больше, чем потеряли все воевавшие страны, вместе взятые, в двух мировых войнах вместе*.

Такие цифры полезны тем, кто преуменьшает значение „вялых”, „мирных” форм насилия перед „горячими” войнами.

Ошибка в том, какой же объём включён в понятие „мир”, именно — эмоциональная, я не оговорился. Это

часто так: не потому мы ошибаемся, что нам разглядеть истину трудно, да она даже на поверхности лежит, а потому ошибаемся, что приятнее и легче всего вести познание в согласии именно с чувствами, особенно — эгоистически. Истина давно была и показана, и доказана, и объяснена, но оставлена без внимания и сочувствия, подобно „1984” Оруэлла по „всеобщему заговору лести” (выражение самого автора).

Достоверно доказанные зверские массовые убийства в Гуэ были замечены лишь слегка, почти тут же прощены — ибо *в ту сторону* лилась симпатия общества и не хотелось нарушать этой инерции. Было досадно только, что эти сведения просочились в свободную печать и на время (совсем короткое) причинили неловкость (совсем небольшую) неистовым защитникам северовьетнамской системы. Неужели можно поверить, что порхающий мотылёк Рэмзи Кларк, перед тем всё же министр юстиции, просто „понятия не имел”, просто догадаться не мог, что военнопленный, который подаёт ему бумагу, нужную политическим целям Кларка, перед тем подвергнут пытке? (Он мог только *формы* не знать: что именно за сломанную руку верёвкой через блок в потолок, поднимая и опуская.) Да в Соединённых Штатах никто это Кларку и в упрёк не поставил, это же не „вотергейт”. С таким же нравственным перекосом мог осмелиться лидер английских лейбористов поехать в чужую страну (разумеется, не африканскую, этого бы ему не спустили! — но в Чехословакию) и там произносить самовольные „прощения” правительству, не спросив местного населения. А когда в 1968 единственные норвежцы предложили по свежим августовским следам *не всех* допустить к олимпийским играм, — с тем же нравственным окривлением большинство олимпийцев стыдливо замерло, зажмурилось, забормотало о высоких интересах спорта и коммерции. Но какой стеной они выстраиваются, если нужно протестовать *в другую сторону*! Да разве так, как генерала Григоренко, смогла б четыре года безнаказанно держать и пытать негритянского деятеля Южно-Африканская республика? Да буря мирового негодования давно б сорвала уже крышу с той тюрьмы!

В 1966 английский журнал с простора своей неограниченной свободы не счёл бестактным назвать „честолю-

бивым” замысел М. Михайлова создать такой же точно свободный журнал в Югославии. А немецкий журнал из своей безмятежности рассудил, что замысел Михайлова есть „преждевременная и дурная услуга либерализации”! (После сокрушения Михайлова мы видим, как, уже не встречая дурных услуг, либерализация широко разлилась по Югославии...) Или вот недавняя отчаянная смелость новозеландских и австралийских протестов против французских ядерных испытаний, — а отчего же не против китайских, гораздо более серьёзных? Только ли потому, что при необъявленных сроках велики расходы на содержание контрольного корабля? Убеждённо скажу: кроме окривления — ещё просто из малодушия, ибо из экспедиции в китайскую пустыню или к китайским берегам никто бы не вернулся — и они *знают* это. Лицемерие многих западных протестов в том и состоит: протестуют там, где не опасно для жизни, где ожидают отступления оппонента и где не попадёшь под осуждение „левых” кругов (желательно протестовать всегда с ними заодно). И таковы же — пространённейшие ныне формы „нейтралитета” или „неприсоединения”: одной стороне всегда поддакивать и угождать, другую (притом кормящую!) всегда лягать.

До наступления резвого оборотистого XX века одновременное существование двух шкал нравственных оценок в человеке, общественном течении или даже правительственном учреждении называлось *лицемерием*. А как назовём это сегодня?

Неужели этот массовый лицемерный перекося Запада виден только издали, а вблизи не виден?

Этим густым лицемерием несёт и от сегодняшней американской политической жизни, от перекривленных зрением вождей сената и от бречающего „вотергейтского дела”. Нисколько не защищая ни Никсона, ни республиканскую партию, как не изумиться этой притворной шумной ярости демократов? А что ж они думали: демократия, не имеющая никакой обязательной этической основы, демократия, как *борьба интересов*, не выше, чем интересов, борьба по регламенту всего лишь конституции, без этического купола над собой, — что ж, она не была полна обоюдных обманов и злоупотреблений в прежних избирательных кампаниях, только, может быть, не на уровне электронной техники и счастливым образом не вскрытых?

Меня лично, все эти годы занятого исследованием русской

жизни перед её крушением, поражает невозможное, кажется, сходство русской монархии в её последние годы и, например, республиканских Соединённых Штатов в их нынешние, смею предсказать, тоже последние годы перед великим расстройством. Сходство не в материально-экономической сфере и не в социальной структуре, но главной того: в психологической безудержности, в эмоциональной безоглядливости политиков. Так, весь яростный штурм демократов вокруг вотергейтского дела кажется пародией на яростный и опрометчивый штурм кадетов в 1915-16 против Горемыкина-Штюмера.

Это одна из загадок иррациональной истории: каким образом Россия в конце XIX века, ещё индустриально невооружённая, ещё косная в своём медлительном существовании, получила такой импульс, совершила такой динамический скачок, что сейчас русский исследователь смотрит на нынешнюю западную общественную жизнь как „назад“, как „в прошлое“. И до грусти смешно наблюдать, как общественные течения, деятели и молодёжь Запада с опозданием в 50 и 70 лет повторяют „наши“ идеи, заблуждения и поступки.

И, наоборот, можно согласиться, как утверждают многие и многие: что происходящее в СССР есть не просто „происходящее в одной из стран“, но есть *завтра человечества*, и потому к своим внутренним процессам достойно полного внимания западных наблюдателей.

Нет, не трудности познания затрудняют Запад, но *нежелание знать*, но эмоциональное предпочтение приятного — суровому. Руководит таким познанием дух Мюнхена, дух ублажения и уступок, трусливый самообман благополучных обществ и людей, потерявших волю к ограничениям, к жертвам и к стойкости. И хотя этот путь *никогда* не приводил к сохранению мира и справедливости, всегда бывал попран и поруган, — человеческие чувства оказываются сильнее самых отчётливых уроков, и снова и снова расслабленный мир рисует сентиментальные картины, как насилие великодушно смягчится и охотно откажется от превосходства своей силы, а пока можно продолжать беззаботное существование.

И „самолётный“ и всякий иной терроризм десятикратно разлился именно потому, что перед ним слишком поспешно капитулируют. А когда проявляют твёрдость, то и побеждают его всегда, заметьте.

От большого объёма и сложности того, что составляет *мир*, решающая борьба за него в современном человечестве происходит далеко не только на конференциях дип-

ломатов или конгрессах профессиональных ораторов со сбором миллионов добрых пожеланий. Самые-то страшные виды немирности протекают без атомных ракет, без морских и воздушных флотов, так *мирно*, что могут восприняться почти как „традиционный народный обычай”. И поэтому *сосуществование* на тесной слитой Земле правильно мыслить как существование не только без войн, этого мало! — но и *без насилия*: как жить, что говорить, что думать, что знать и чего не знать...

Не знаю, как в Европе, а в нашей стране вдоль всех железных дорог выложено камешками: „миру — мир!” и „за мир во всём мире!” Можно принять эту пропаганду как очень полезную, если она будет означать: чтобы во всём мире не только не было войн, но прекратилось бы и всякое *внутреннее* насилие.

Чтобы достичь не короткой отодвижки военной угрозы, а мира действительного, мира по сущности, по здоровой основе своей, — надо против „тихих”, спрятанных видов насилия вести борьбу, никак не менее строго, чем против „громких”. Поставить задачей остановить не только ракеты и пушки, но и границы государственного насилия остановить на том пороге, где кончается необходимость защиты членов общества. Изгнать из человечества самую идею, что кому-то дозволено применять силу вопреки справедливости, праву, взаимной договорённости.

И тогда: служит миру не тот, кто рассчитывает на добродушие насильников, но тот, кто неподкупно, непреклонно и неутомимо отстаивает права угнетённых, покорённых и убиваемых.

Такие борцы за мир на Западе, сколько я могу судить издали, — тоже есть, и, значит, у них есть аудитория, и это не даёт нашим надеждам окончательно затмиться.

Я не компетентен перечислять имена таких людей на Западе. У нас же естественно назвать — Андрея Дмитриевича Сахарова.

Распространившаяся ошибка в определении мира как „анти-войны”, а не как „анти-насилия” естественно приве-

ла и к ошибочным оценкам заслуг отдельных деятелей в борьбе за мир.

Лучшим борцом за мир, собирающим лавры в аэропортах и в парламентах, начинает пониматься тот, кто любой ценой отодвигает дыхание войны — „горячей” или „холодной” (точней бы назвать её „ругательной”, в ней Запад всегда проигрывает, ибо его фразы и утверждения подвержены анализу критики; или назвать войной нервов, соревнованием упорств, — тем более Запад обречён всегда проигрывать); любыми уступками добивается прекращения газетной брани, создаёт передышку для торговли и мнимого благоденствия. Напротив, люди, неколебимо ставшие на пути глобальной опасности миру со стороны всех видов насилия, иногда рискуют быть причисленными даже к „поджигателям войны”, а то и расчётливо оклеветываются так.

Этот сдвиг в понимании, *чему же именно* противостоит мир, сказывается и на деятельности Нобелевского комитета мира. Его суждения и решения с одной стороны естественно определяются настроениями мировой общественности, но с другой стороны, так же естественно, ответно формируют их, дают критерии. И поэтому ответственность Нобелевского комитета мира в избрании лауреатов — исключительно велика. Даже когда Нобелевский комитет не присуждает премии никому, это тоже вырастает в значение весомое: что заслуги и полезность деятельности предыдущего лауреата столь велики, что с ними не идут в сравнение ничьи другие. Ещё опаснее ложное направление оценок, например... взять подальше пример, — как если бы в 1939 году (помешала мировая война, а в октябре 1938 было уже по времени поздно) присудили Нобелевскую премию мира Невиллю Чемберлену. Высшее недоумение и разброд в оценках вызвало бы сегодня и увенчание такого деятеля, который может быть отчасти и способствовал ослаблению мировой напряжённости методами „неприсоединения”, но у себя в стране известен как подавитель свободы и национальных движений.

Если нобелевские премии увенчивают многолетние усилия отдельных людей, ещё укрепляя авторитет этих людей для их последующей деятельности, то в не меньшей

степени достойный или недостойный выбор кандидатов возвышает или подрывает авторитет самого института нобелевских премий.

Пользуясь правом нобелевского лауреата выдвигать кандидатов на нобелевские премии и не имея возможности обратиться к Нобелевскому комитету иначе, как посредством этой статьи в газете „Афтенпостен“, — я прошу считать эти мои строки формальным выдвижением Андрея Дмитриевича Сахарова в кандидаты на присуждение нобелевской премии мира 1973 года.

Обоснование этого я, по сути, уже дал в своём недавнем интервью газете „Монд“: неутомимое многолетнее и жертвенное (лично ему опасное) противодействие А. Д. Сахарова — настойчивому государственному насилию над отдельными личностями и группами населения. Такую деятельность, в понимании, развиваемом данной статьёй, и следует оценить как высший вклад в дело всеобщего мира, вклад не показной, не призрачный, но самый основательный: малыми индивидуальными силами героически задерживать могущественное насилие, а значит — укреплять всеобщий мир.

И пусть Нобелевский комитет не испытает сомнения из-за прошлых, слишком больших достижений Сахарова в области вооружения, не ощутит в том парадоксальности: в осознании человеческим духом своих прежних ошибок, в очищении от них, в искуплении их — как раз и содержится высший смысл пребывания человечества на Земле.

5 сентября 1973

Москва

## ПИСЬМО ВОЖДАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

*Написанное еще до взятия „Архипелага” в КГБ письмо со всеми этими предложениями я отправил по адресу полгода назад. С тех пор на него не было никакого отклика, ответа или движения к ним. В закрытом аппаратном разбирательстве погибло у нас много идей и несомненное этих. Мне ничего не остаётся теперь, как сделать письмо открытым. Газетная кампания против „Архипелага”, нежелание признать неопровержимое прошлое могли бы считаться окончательным отказом. Но я и сегодня не могу счесть его бесповоротным. Для раскаяния никогда не бывает слишком поздно, этот путь открыт всему живущему на Земле, всему способному жить.*

*Это письмо родилось, развилось из единственной мысли: как избежать грозящей нам национальной катастрофы? Могут удивить некоторые практические предложения его. Я готов тотчас и снять их, если кем-нибудь будет выдвинута не критика остроумная, но путь конструктивный, выход лучший и, главное, вполне реальный, с ясными путями. Наша интеллигенция равнодушна в представлении о желанном будущем нашей страны (самые широкие свободы), но так же равнодушна она и в полном бездействии для этого будущего. Все замороженно ждут, не случится ли что само. Нет, не случится.*

*Многие предложения были выдвинуты, разумеется, с весьма-весьма малою надеждой, однако же не полевой. Основание для надежды подаёт хотя бы „хрущёвское чудо” 1955-1956 годов — непредсказанное невероятное чудо роспуска миллионов невинных заключённых, соединённое с оборванными начатками человеческого законодательства (впрочем в других областях, другою рукой, тут же громоподобилось и противоположное). Этот порыв деятельности Хрущёва переклестнул необходимые ему политические шаги, был несомненным сердечным движением, по сути своей — враждебен коммунистической идеологии, несовмес-*



тим с нею (отчего так поспешно от него отшатнулись и методически отошли). Запретить себе допущение, что нечто подобное может и повториться, значит полностью захлопнуть надежду на мирную эволюцию нашей страны.

Январь 1974

Не обнадёжен я, что вы захотите благожелательно вникнуть в соображения, не запрошенные вами по службе, хотя и довольно редкого соотечественника, который не стоит на подчинённой вам лестнице, не может быть вами ни уволен с поста, ни понижен, ни повышен, ни награждён, и, таким образом, весьма вероятно услышать от него мнение искреннее, безо всяких служебных расчётов, — как не бывает даже у лучших экспертов в вашем аппарате. Не обнадёжен, но пытаюсь сказать тут кратко главное: что я считаю спасением и добром для нашего народа, к которому по рождению принадлежите все вы — и я.

Это не оговорка. Я желаю добра всем народам, и чем ближе к нам живут, чем в большей зависимости от нас — тем более горячо. Но преимущественно озабочен я судьбой именно русского и украинского народов, по пословице — где уродился, там и пригодился, а глубже — из-за несравненных страданий, перенесенных нами.

И это письмо я пишу *в предположении*, что такой же преимущественной заботе подчинены и вы, что вы не чужды своему происхождению, отцам, дедам, прадедам и родным просторам, что вы — не безнациональны. Если я ошибаюсь, то дальнейшее чтение этого письма бесполезно.

Я не стану здесь окунаться в тягчайшие подробности последних 60 лет. Как тянется наша история и что была она, я пытаюсь выяснить в книгах, о которых не думаю, чтобы вы читали их, может быть никогда и не прочтёте. Но это письмо я обращаю именно к вам: высказать вам моё понимание будущего, которое мне кажется верным и, может быть, всё-таки, вас убедить. Предложить вам ещё пока своевременный выход из главных опасностей, ждущих нашу страну в ближайшие 10–30 лет.

Эти опасности: война с Китаем и общая с Западной цивилизацией гибель в тесноте и смраде изгаженной Земли.

## 1. ЗАПАД НА КОЛЕНЯХ

Никакой самый оголтелый патриотический предсказатель не осмелился бы ни после Крымской войны, ни, ближе того, после японской, ни в 1916, ни в 21-м, ни в 31-м, ни в 41-м годах даже заикнуться выстроить такую заносчивую перспективу: что вот уже близится и совсем недалеко время, когда все вместе великие европейские державы перестанут существовать как серьезная физическая сила; что их руководители будут идти на любые уступки за одну лишь благосклонность руководителей будущей России и даже соревноваться за эту благосклонность, лишь бы только русская пресса перестала их бранить; и что они ослабнут так, не проиграв ни единой войны, что страны, объявившие себя „нейтральными“, будут искать всякую возможность угодить и подыграть нам; что вечная грёза о *проливах*, не осуществляясь, станет однако и не нужна — так далеко шагнёт Россия в Средиземное море и в океаны; что только боязнь экономических убытков и лишних административных хлопот будут аргументами против российского распространения на Запад; и даже величайшая заокеанская держава, вышедшая из двух мировых войн могучим победителем, лидером человечества и кормильцем его, вдруг проиграет войну с отдалённой маленькой азиатской страной, проявит внутреннее несогласие и духовную слабость.

Действительно, внешняя политика царской России никогда не имела успехов сколько-нибудь сравнимых. Даже выиграв большую европейскую войну против Наполеона, она никак не расширила своей власти на Восточную Европу. Она бралась подавлять венгерскую революцию — в пользу Габсбургов, обеспечивала прусский тыл в 1866 и 1870, ничего за то не взяв, то есть бескорыстно возвышала германские державы. Напротив, сама спутывалась ими же в балканских и турецких войнах, проигрывала, и при огромных ресурсах и замахах так никогда и не исполнила мечты своих руководящих кругов о *проливах*, хотя и в

последнюю гибельную для себя войну вступила с этой главной целью. Россия часто оказывалась исполнителем чужих задач, вовсе не своих. Множество промахов её внешней политики происходило от недостатка практического расчёта на верхах, от бюрократической неповоротливой дипломатии, — но отчасти, очевидно, и от некоторой доли идеализма в представлениях руководителей, что мешало им последовательно проводить в жизнь национальный эгоизм.

От всех этих слабостей с начала и до конца освобождена советская дипломатия. Она умеет требовать, добиваться и брать, как никогда не умел царизм. По своим реальным достижениям она могла бы считаться даже блистательной: за 50 лет, при всего одной большой войне, выигранной не с лучшими позициями, чем у других, — возвыситься от разорённой гражданской смуты страны до сверхдержавы, перед которой трепещет мир. Некоторые моменты особенно поражают сгромождением успехов. Например, конец второй мировой войны, когда Сталин, без затруднений всегда переигрывавший Рузвельта, переиграл и Черчилля, взял не только всё, что хотел в Европе и Азии, но даже, вероятно сверх своих ожиданий, легко получил ещё и более миллиона советских граждан, отбивавшихся от возвращения на родину, но преданных западными союзниками обманом и силой. Нисколько не меньше сталинских успехов надо признать успехи советской дипломатии последних лет: Западный мир как единая весомая сила перестал противостоять Советскому Союзу, да даже почти перестаёт и существовать. Найдя в себе единство, стойкость и мужество для Второй мировой войны и ещё силы найдя выйти из послевоенной разрухи, Европа, видимо, на том и исчерпалась надолго. Державы-победительницы без всяких внешних причин ослабли и одряхли.

На такой вершине ошеломляющих успехов неохотнее всего воспринимаются чьи-то мнения или сомнения. Сейчас, конечно, самый неудачный момент приступить к вам с советом или увещанием. В момент внешних успехов труднее всего бывает отказаться от дальнейшей накатки их, самоограничиться, перестроиться.

Но тем и отличаются мудрые от немудрых, что они

принимают советы и опасливые соображения много ранее крайней необходимости.

Да и в этих успехах далеко не всё есть повод для самовосхищения. Катастрофическое ослабление западного мира и всей западной цивилизации далеко-далеко не только успех неуклонимой настойчивой советской дипломатии, это главным образом результат исторического, психологического и нравственного кризиса всей той культуры и системы мировоззрения, которая зачалась в эпоху Возрождения и получила высшие формулировки у просветителей XVIII века. Анализ того кризиса — за пределами этого письма.

А ещё в наших успехах можно увидеть — нельзя не увидеть! — два удивительных провала: среди всех успехов мы *сами* вырастили себе двух лютых врагов, прошлой войны и будущей войны, — германский вермахт и теперь маоцзедуновский Китай. Германскому вермахту в обход Версальского договора мы помогли получить на советских полигонах первые офицерские кадры, первые навыки и теорию современной войны, танковых прорывов и воздушных десантов, что очень пригодилось потом в гитлеровской армии при её сжатых сроках подготовки. А как мы вырастили Мао Цзе-дуна вместо миролюбивого соседа Чан Кай-ши и помогли ему в атомной гонке — эта история ближе, известнее. (Ещё не так ли и с арабами провалимся?)

И вот что заметим здесь главное, для дальнейшего: провалы эти истекали не из ошибок наших дипломатов, не из просчётов наших генералов, а из *точного следования указаниям марксизма-ленинизма*: в первом случае — повредить мировому империализму, во втором — поддерживать зарубежное коммунистическое движение. Соображения *национальные* в обоих случаях отсутствовали.

Я знаю прекрасно, что говорю с крайними реалистами и не стану пусто взывать: о, призаём хоть немного неудачливого идеализма от старой русской дипломатии! Или: облагодетельствуем мир тем, что перестанем вмешиваться в его жизнь. Или: проверим нравственные основания нашей победной дипломатии — она приносит Советскому Союзу внешнюю мощь, но приносит ли истинное добро его народам?

Я говорю с крайними реалистами, и проще всего называть ту опасность, которую вы знаете детальнее меня, и давно уже смотрите туда тревожно, и правильно, что тревожно: *Китай*.

Как бы вы ни торжествовали сейчас, как бы ни возносились, — но приходится помнить и учиться, что во всей мировой истории ещё не бывало (и не будет никогда) такой силы, на которую не нашлось бы противосилы.

По нашей пословице: вырос лес, так выросло и топище.

В данном случае — 900 миллионов топищ.

## 2. ВОЙНА С КИТАЕМ

Я надеюсь, вы не повторяете ошибки многих мировых правителей до вас: вы не строите расчётов на победоносный блицкриг. Против нас — почти миллиардная страна, какая не выступала ни в одной войне мировой истории. Её население, очевидно, ещё не успело с 1949 года утратить своего исконного высочайшего трудолюбия — выше нашего сегодняшнего, своего упорства, покорности, и находится в верном захвате тоталитарной системы, несколько не упустительнее нашей. Её армия и её население не будут с западным благоразумием сдаваться массами ни окружёнными, ни покорёнными. Каждый солдат и каждый гражданский будет сражаться до последней пули и последнего вздоха. Союзника — в той войне не будет у нас, во всяком случае — размера Индии. Оружия ядерного вы, конечно, не примените первые — это было бы совершенно непоправимо со стороны репутации, которой вы не можете пренебречь, да и с практической стороны всё равно не принесло бы быстрой победы. Тем более не применит его противная сторона, более слабая в нём. (Да вообще, к счастью для человечества, оно из простого самосохранения умеет удерживаться на самой последней грани гибели. Так после 1-й мировой войны никто не посмел применить химического оружия, так после 2-й, я верю, никто не применит ядерного. Таким образом, всё нынешнее разорительное его сверхнакопление бессмысленно, лишь тешит изобретателей и генералов, оно есть

гяжкий жребий тех, кто взялся быть в переднем ряду ядерных держав. Накопление это никогда не пригодится, а к началу конфликта ещё и устаревает.)

Война же *обыкновенная* будет самой длительной и самой кровавой из всех войн человечества. Уж по крайней мере подобно вьетнамской (с которой будет схожа во многом) она никак не будет короче 10-15 лет и разыграется, кстати, почти по тем нотам, которые написал Амальрик, посланный за это на уничтожение, вместо того чтобы пригласить его в близкие эксперты. Если в 1-й мировой войне Россия потеряла до полутора миллионов человек, а во 2-й (по данным Хрущёва) — 20 миллионов, то война с Китаем никак не обойдётся нам дешевле 60 миллионов голов, — и, как всегда в войнах, лучших голов, все лучшие, нравственно высшие, обязательно погибают там. Если говорить о русском народе — будет истреблён последний наш корень, произведётся последнее из истреблений его, начатых в XVII веке уничтожением старообрядцев, потом — Петром, потом — неоднократно, о чём тоже не буду в этом письме, а теперь — уже окончательное. После этой войны русский народ практически перестанет существовать на планете. И уже только это одно будет означать полный проигрыш той войны, независимо от всех остальных её исходов (во многом безрадостных, в том числе и для вашей власти, как вы понимаете). Разрывается сердце: представить, как наша молодёжь и средний возраст пошагает и поколесит погибать в войне, да какой? — *идеологической*, за что? — главным образом, за мёртвую идеологию. Я думаю, даже и вы не способны взять на себя такую ужасную ответственность!

Щемящее сочувствие вызывают и рядовые китайцы — потому что они будут самыми беспомощными жертвами той войны, они находятся в столь зажатом положении, что не только не могут изменить своей судьбы, не только обсудить её, но даже ушками пошевелить.

Вот это гибельное будущее, по темпам приближения совсем уже недалёкое, ложится бременем на нас сегодняшних, — и на тех, кто имеет власть, и кто силу имеет повлиять, или кто только голос имеет, чтобы произнести: этой войны не должно быть вообще, *эта война вообще не должна состояться!* Не ставить задачу выиграть ту войну,

ибо выиграть её никому не возможно, но — избежать её!

Мне кажется, я такой путь вижу. И потому взялся за это письмо сегодня.

Какие причины клонят к этой войне? Вторая — это динамическое давление миллиардного Китая на до сих пор не освоенные наши сибирские земли — не на ту полосу, о кой идёт спор по старым договорам, но на всю Сибирь, до которой у нас впопыхах великих социальных и даже космических преобразований не дошли руки, — и это давление будет возрастать с ростом общей перенаселённости Земли. Однако, *первая* причина нависающей войны, причина гораздо более острая, главная и безвыходная, — идеологическая. Не удивимся: во всей истории не было войн и междуусобиц лютее, чем вызванные идеологическими (в том числе, увы, и религиозными) разногласиями. Вот уже 15 лет между вами и вождями Китая идёт спор о том, кто вернее понимает, толкует и продолжает Отцов Передового Мировоззрения. И помимо и острей государственного столкновения между нами вырастает это глобальное соперничество, претензия единосмысленно толковать коммунистическое учение и в нём вести именно за собою все народы мира.

И как же вы представляете? — возникнет война, и обе воюющих стороны так и понесут на знамёнах чистоту своей идеологии? И 60 миллионов наших соотечественников дадут себя убить за то, что именно на 533-й странице ленинского тома написана заветная истина, а не на 335-й, как утверждает наш противник? Разве только самые-самые первые лягут так...

Когда началась война с Гитлером, Сталин, так многое пропустивший и погубивший в военной подготовке, это й стороны, идеологической, не упустил. И хотя идеологические основания для той войны казались несомненнее, чем ожидающие вас, — война велась против идеологии, по внешности диаметрально противоположной, — Сталин от первых же дней войны не понадеялся на гниловатую порченую подпорку идеологии, а разумно отбросил её, почти перестал её поминать, развернул же старое русское знамя, отчасти даже православную хоругвь, — и мы победили! (Лишь к концу войны и после победы снова вытащили Передовое Учение из нафталина.)

Так неужели вы думаете, что при столкновении идеологий близких, смежных, расходящихся лишь в оттенках, в а м не придётся совершать ту же переориентировку? Но будет — поздно, в военном напряжении — уже очень тяжело.

Насколько же разумнее этот самый предохранительный поворот сделать уже сегодня! Если всё равно для войны его сделать неизбежно, то не разумнее ли сделать его много заблаговременней — *чтобы не воевать вообще?!*

Отдайте им эту идеологию! Пусть китайские вожди погордятся этим короткое время. И за то взвалют на себя весь мешок неисполнимых международных обязательств, и кричат, и тащат, и воспитывают человечество, и оплачивают все несуразные экономики, по миллиону в день одной Кубе, и содержат террористов и партизан южных континентов.

Отпадёт главная лютая рознь между нами и ими, отпадёт множество пунктов нынешнего состязания и столкновения во всём мире, — и военный конфликт отодвинется намного, а может быть — *и не состоится вовсе никогда.*

Посмотрим непредубеждённо: тёмный вихрь „передовой идеологии“ налетел на нас с Запада в конце прошлого века, достаточно потерзал и разорил нашу душу, — и если теперь сам утягивается дальше на Восток — так пусть утягивается, не мешайте! (Не значит, что я хочу духовной гибели Китая. Я верю, что и наш народ скоро излечится от этой болезни и китайский со временем тоже, — надеюсь, не слишком поздно, чтоб успеть спасти свою страну и оберечь человечество. Но с нас после всего перенесенного хватит пока заботы — как спасти наш народ.)

Отпадёт идеологическая рознь — и советско-китайской войны скорее всего не будет вовсе. А если в отдалённом будущем и будет, то уж действительно оборонительная, действительно отечественная. В конце XX века отдавать сибирскую территорию мы не можем, это несомненно. Но отдать идеологию — только к нашему облегчению и выздоровлению!



### 3. ТУПИК ЦИВИЛИЗАЦИИ

Вторая опасность — многосторонний тупик западной цивилизации, к которой и Россия давно избрала честь принадлежать, — не так близка, ещё в запасе есть два-три десятилетия, и тупик этот мы разделяем со всеми передовыми странами, даже у них заклинено грозней и хуже, чем у нас; и сохраняются надежды на новые научные лазейки и изобретения, оттягивающие расплату. И я не касался бы той опасности в этом письме, если бы решение обеих задач *не совпадало* бы во многом, если бы один и тот же поворот, *единое* решение не избавляло бы нас от *обеих* опасностей! Так благоприятно редко сходится в истории. Эти дары её надо ценить, эти возможности не упускать.

И как это „внезапно“ вывалилось перед человечеством и перед Россией!!.. Наши передовые публицисты и до революции и после — как излюбили высмеивать тех *ретроградов* (именно в России их было много всегда), кто звал беречь и жалеть нашу старину, даже самые глухие деревушки в три избы, даже просёлочные дороги рядом с железной колеей, сохранять лошадей уже при автомобилях, не забрасывать малых производств для огромных заводов и комбинатов, не пренебрегать навозными удобрениями для химических, не скопляться миллионами в городах, не карабкаться друг другу на голову в многоэтажных зданиях. И как смеялись, как затравили реакционными „славянофилами“ (из посмешища это стало термином, простак и не придумали себе названия другого), затравили тех, кто говорил, что такой колосс, как Россия, да со многими душевными особенностями и бытовыми традициями, вполне может поискать и свой особый путь в человечестве; и не может быть, чтобы путь развития у всего человечества был только и непременно один.

Нет, мы должны были проташиться всем западным буржуазно-промышленным и марксистским путём, чтобы к концу XX века узнать, опять-таки от передовых западных учёных, то, что искони понимал любой деревенский дед на Украине или в России и мог бы давно-давно растолковать передовым публицистам, если б те в своём запале

нашли бы время поконсультироваться с ним: что не может дюжина червей бесконечно изгрызать одно и то же яблоко; что если земной шар ограничен, то ограничены и его пространства и его ресурсы, и не может на нём осуществляться *бесконечный, безграничный* прогресс, вдолбленный нам в голову мечтателями Просвещения. Нет, мы должны были брести и брести за чьими-то спинами, не зная переда дороги, пока не услышали теперь, как головные перекликаются: забрели в тупик, надо заворачивать. Весь „бесконечный прогресс” оказался безумным напряжённым нерасчитанным рывком человечества в тупик. Жадная цивилизация „вечного прогресса” захлебнулась и находится при конце.

И не „конвергенция” ждёт нас с западным миром, но — полное обновление и перестройка и Запада, и Востока, потому что оба в тупике.

Всё это сейчас широко опубликовано и разъяснено на Западе трудами „Общества Тейяра де Шардена” и „Римского Клуба”. Вот их выводы в самом сжатом виде.

„Прогресс” должен перестать считаться желанной характеристикой общества. „Бесконечность прогресса” есть бредовая мифология. Должна осуществляться не „экономика постоянного развития”, но *экономика постоянного уровня, стабильная. Экономический рост не только не нужен, но губителен.* Надо ставить задачу не увеличения народных богатств, а лишь сохранения их. Надо срочно отказаться от современной технологии гигантизма — и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в расселении (нынешние города — раковые опухоли). Главная цель техники становится сейчас: устранить плачевные результаты предшествующей техники. „Третий мир”, ещё не ставший на гибельный путь западной цивилизации, может быть спасён лишь „раздробленной технологией”, требующей не сокращения ручного труда, но увеличения его, техники самой простой и основанной только на местных материалах.

Вся безудержность промышленного развития осуществлялась не за тысячелетия, не за столетия („от Адама до 1945 года”), а только за последние 28 лет (после 1945). Эта бурность темпа последних лет и является самой опасной для человечества. Указанные группы учёных провели

компьютерные расчёты по разным вариантам экономического развития — и все варианты оказались безнадёжны, предвещая катастрофическую гибель человечества между 2020 и 2070 годами, если оно не откажется от экономического прогресса. В этих расчётах рассматривались 5 главных факторов: население, природные ресурсы, сельскохозяйственное производство, промышленность и загрязнение среды. Если верить существующим сведениям о ресурсах Земли, некоторые из них идут к быстрому концу: через 20 лет закончится вся нефть, через 19 вся медь, через 12 — ртуть, и многие другие близки к концу, очень ограничены энергетические ресурсы и пресная вода. Но даже если последующими разведками запасы окажутся и вдвое, и втрое больше известных ныне, и если вдвое увеличится производительность сельского хозяйства, и подчинена будет человеку ядерная энергия, — во всех случаях в первых десятилетиях XXI века должна наступить массовая гибель населения: если не от остановки производства (конец ресурсов), то от избытка производства (гибель среды), — во всех случаях... Совместно все пять вышеназванных факторов решить оптимально при нынешней ставке на „прогресс” невозможно. Если человечество не откажется от экономического прогресса — биосфера станет непригодной для жизни практически уже *при ныне живущих*. А чтобы человечество спасти — технология должна быть перестроена к стабильной в ближайшие 20–30 лет, для этого перестройка должна начаться немедленно, сейчас.

Впрочем, наиболее вероятно всё же, что западная цивилизация не погибнет. Она столь динамична, столь изобретательна, что изживёт и этот нависающий кризис, переломает вековые ложные представления и в несколько лет приступит к необходимой перестройке. А „Третий мир” заблаговременно внимет предупреждениям и *вообще не пойдёт по западному пути*, это ещё очень доступно для большинства африканских, для многих азиатских стран (и никто их не будет за это дразнить „негрофилами”).

Но — мы?? С нашей неповоротливостью, косностью, с нашей неспособностью и робостью менять хоть единую букву, хоть штрих один в том, что сказал Маркс о промышленном развитии к 1848 году. Экономически, физически — мы вполне можем спастись. Но на пути на-

шего спасения стоит, перегораживает — Единственно Передовое Мировоззрение: если отказаться от промышленного развития, то как же тогда рабочий класс, социализм, коммунизм, безграничный рост производительности труда и т. д.?.. Исправлять Маркса нельзя, это ревизионизм...

Но „ревизионистами” вас всё равно уже кличут, что бы вы впредь ни делали. Так не верней ли — трезво, ответственно и решительно выполнить свой долг — отказаться от мёртвой буквы ради живого народа, целиком зависящего от вашей власти, от ваших решений? И — не промедлять. Зачем нам тянуть, если всё равно потом придётся очнуться? Зачем доделывать, повторять за другими мучительную петлю до конца, пока мы ещё недостаточно в неё впоролись? Если в череде идущих кричит передний „я заблудился!” — надо ли нам непременно дотопывать до того места, где он осознался, и лишь потом заворачивать? А почему бы нам не свернуть на верную дорогу — сразу, от того места, где мы есть?

Мы и так слишком долго и слишком верно шли за западной технологией. Казалось бы, „первая в мире социалистическая страна”, которая показывает образец другим народам Запада и Востока, и такая „оригинальная” в следовании некоторым уродливым доктринам — о крестьянстве, о мелком ремесле, — почему же были мы так уныло неоригинальны в технологии, так безмысли и слепо шли за западной цивилизацией? (А — от военной спешки, а спешка — от необъятных „интернациональных задач”, и всё опять — от марксизма...) При центральном плане, которым мы гордимся, уж у нас-то была, кажется, возможность не испортить русской природы, не создавать противочеловеческих многомиллионных скоплений. Мы же сделали всё наоборот: измерзопакостили широкие русские пространства и обезобразили сердце России, дорогую нашу Москву, — какая ошалелая несыновняя рука разорвала бульвары, так что нельзя уже ими пройти, не ныряя в унизительные каменные тоннели? какой злой чужой топор вырубил Садовое кольцо, заменил его бензинно-асфальтной отравленной зоной? Изничтожен неповторимый облик города, вся старая планировка, наляпаны подражания Западу вроде Нового Арбата, стиснут, раскнут и вышвышен город, в котором жить стало невыносимо, — и что

теперь делать? Воссоздать прежнюю Москву на новом месте? — вероятно невозможно. Значит, примириться с полной утратой её?

Мы бестолково-неоглядно тратили наши ресурсы, истощали нашу почву, безобразили наши просторы то глупейшими „сухопутными морями“, то заражёнными околопромышленными пустырями, — но пока ещё гораздо больше сохранилось неиспорченного нами, где мы не успели. Так очнёмся вовремя, так повернём с места!

#### 4. РУССКИЙ СЕВЕРО-ВОСТОК

И тут есть дополнительная надежда для нас — одна особенность, одна оговорка в рассуждениях вышеназванных учёных. Оговорка эта: высшее богатство народов сейчас составляет *земля*. Земля как простор для расселения. Земля как объём биосферы. Земля как покров глубинных ресурсов. Земля как почва для плодородия. И хотя о плодородии тоже прогнозы мрачные: земельные пространства в среднем по планете и рост плодородия будут исчерпаны к 2000 году, а если удастся с/х производство удвоить (не колхозам, конечно, не нам), — то к 2030 году всё равно плодородие исчерпается, — это в среднем по планете. Однако, есть четыре счастливых страны, обильно богатые неосвоенною землёй ещё и сегодня. Это — Россия (я не оговариваюсь, именно — РСФСР), Австралия, Канада и Бразилия.

И в том — русская надежда на выигрыш времени и выигрыш спасения: на наших широченных северо-восточных земельных просторах, по нашей же неповоротливости четырёх веков ещё не обезображенных нашими ошибками, мы можем *заново* строить не безумную пожирающую цивилизацию „прогресса“, нет, — безболезненно ставить сразу стабильную экономику и соответственно её требованиям и принципам селить там впервые людей. Эти пространства дают нам надежду не погубить Россию в кризисе западной цивилизации. (А по колхозному забросу много потерянных земель и ближе есть.)

Без догматической предвзятости вспомним Столыпина и отдадим ему должное. В 1908 году в Государствен-

ной Думе он пророчески сказал: „Земля — это залог нашей силы в будущем, земля — это Россия.” И по поводу Амурской железной дороги: „Если мы будем продолжать спать летаргическим сном, то край этот будет пропитан чужими соками, а когда мы проснёмся, может быть он окажется русским только по названию.”

Сегодня, в противостоянии Китаю, эта опасность распространяется едва ли не на всю нашу Сибирь. Две опасности смыкаются, — но от обеих счастливым образом рисуется единый выход: *отбросить мёртвую идеологию*, которая грозит нам гибелью и на путях войны и на путях экономики, отбросить все её чуждые мировые фантастические задачи, а сосредоточиться на освоении (в принципах стабильной, непрогрессирующей экономики) русского Северо-Востока — северо-востока Европейской нашей части, севера Азиатской и главного массива Сибири.

Не будем греть надежд и не будем подгонять того сотрясения, которое может быть и зреет, может быть и произойдёт в западных странах. Эти надежды могут так же обмануть, как и надежды на Китай в 40-х годах: если на Западе создадутся новые общественные системы, они могут оказаться к нам и жёстче и недружелюбнее нынешних. И оставим арабов их судьбе, у них есть ислам, они разберутся сами. И оставим самой себе Южную Америку, ей никто не грозит внешним завоеванием. И оставим Африку самой узнать, каково начинать самостоятельный путь государственности и цивилизации, лишь пожелаем ей не повторить ошибок „непрерывного прогресса”. Полвека мы занимались: мировой революцией; расширением нашего влияния на Восточную Европу; на другие материки; преобразованием сельского хозяйства по идеологическим принципам; уничтожением помещных классов; искоренением христианской религии и нравственности; эффектной бесполезной космической гонкой; само собой — вооружением, себя и других, кто просит оружия; чем угодно, кроме развития и благовождения главного богатства нашей страны — Северо-Востока. Но не предстоит нашему народу жить ни в Космосе, ни в Юго-Восточной Азии, ни в Латинской Америке, а Сибирь и Север — наша надежда и отстойник наш.

Скажут, что мы и там много делали, строили, — но

не столько строили, сколько людей губили, как на „мёртвой дороге” Салехард-Игарка, да уж не будем тут все лагерные истории перебирать. Так строить, чтоб затоплять Кругбайкальскую железную дорогу, а обходную бессмысленно гнать горами, сжигая тормоза; так строить, как целлюлозные комбинаты на Байкале и Селенге, поскорей к поживе и к отраве, — так лучше бы и повременить. По темпам века мы сделали на Северо-Востоке очень мало. Но сегодня можно сказать — и к счастью, что так мало: зато теперь можем делать всё разумно с самого начала, по принципам стабильной экономики. Ещё сегодня — к счастью, а в близком завтра уже будет к беде.

И какая ирония: с 1920 года, полвека, мы гордо (и справедливо) отказывались доверить иностранцам разработку наших природных богатств — и это могло выглядеть обещающими национальными чаяниями. Но мы тянули, тянули, но мы теряли, теряли время, и вдруг именно теперь, когда обнажилось истощение мировых энергетических ресурсов, мы, великая промышленная сверхдержава, подобно последней отсталой стране приглашаем иностранцев разрабатывать наши недра и предлагаем им в расплату забирать бесценное наше сокровище — сибирский природный газ, за что через полпоколения наши дети будут нас проклинать как безответственных мотов. (У нас было бы много других хороших товаров для расплаты, если бы наша промышленность тоже не была бы построена главным образом на... идеологии. И тут поперёк дороги нашему народу — идеология!)

Я не счёл бы нравственным советовать политику обо-собленного спасения среди всеобщих затруднений, если бы наш народ в XX веке не пострадал бы, я думаю, больше всех народов мира: *помимо* двух мировых войн мы потеряли от одних гражданских раздоров и неурядиц, от одного внутреннего „классового”, политического и экономического, уничтожения — 66 (шестьдесят шесть) миллионов человек!!! Такой подсчёт произвёл бывший ленинградский профессор статистики И. А. Курганов, вам принесут в любую минуту. Я не учёный статистик, не берусь проверять, да и вся же статистика скрыта у нас, тут расчёт косвенный, но действительно: *н е т* ста миллионов (именно *с т а*, как и предсказывал Достоевский!), на вой-

нах и без войн мы потеряли *треть* того населения, какое могли бы иметь сейчас, почти *половину* того, которое имеем! Кто ещё из народов расплачивался такую ценой? После *таких* потерь мы можем допустить себе и небольшую льготу, как дают больному отдых после тяжкой болезни. Нам надо излечить свои раны, спасти своё национальное тело и свой национальный дух. Достало бы нам наших сил, ума и сердца на устройство нашего собственного дома, где уж нам заниматься всею планетой.

И опять-таки, по счастливому совпадению, весь мир от этого — только выигрывает.

Другое нравственное возражение могут выставить — что наш Северо-Восток не *вовсе-то* русский, что при овладении им был совершён и исторический грех: было уничтожено немало местных жителей (ну да несравненно с нашим недавним самоуничтожением) и потеснены другие. Да, это было, было в XVI веке, но этого исправить уже никаким образом нельзя. С тех пор малоллюдными, даже безлюдными лежат эти раскинутые просторы. По переписи всех народностей Севера — 128 тысяч, они редкой цепочкой разбросаны по огромным пространствам, освоением Севера мы нисколько их не тесним. Напротив, сегодня мы естественно поддерживаем их быт и существование, они не ищут себе обособленной судьбы и не могли бы найти её. Из всех национальных проблем, стоящих перед нашей страной, эта — самая мягкая, её и нет почти.

Итак, наш выход один: чем быстрее, тем спасительнее — перенести центр государственного внимания и центр национальной деятельности (центр расселения, центр поисков молодёжи) с далёких континентов, и даже из Европы, и даже с юга нашей страны — на её Северо-Восток.\*

---

\* Конечно, такое перенесение рано или поздно должно привести к тому, чтобы мы сняли свою опеку с Восточной Европы. Также не может быть и речи о насильственном удержании в пределах нашей страны какой-либо окраинной нации.



## 5. РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕЕ, А НЕ ВНЕШНЕЕ

Это перенесение центра внимания и центра усилий конечно не будет иметь только один географический смысл: не только с внешних пространств на внутренние, но и с *внешних задач на внутренние*. Во всех смыслах: с внешнего на внутреннее. Этого требует от вас истинное, не показное состояние наших людей, наших семей, наших школ, нашего народа, нашего духа, нашего быта, нашего хозяйства.

С конца, с хозяйства. Парадоксально, поверить нельзя: но при таких блестящих успехах во внешней политике, у такой военно-могучей великой державы — такой тупик и даже безнадёжность в экономике. Всё, чего мы тут достигли, получено не уменьем, а числом, то есть непомерными затратами людских сил и материалов. Всё создаваемое обходится много дороже, чем оно стоит, но государство разрешает себе не считать расходов. Наше „идеологическое сельское хозяйство” уже стало посмешищем для всего мира, а скоро — при всемирной нехватке продуктов — станет и обузой для него. Во многих местах мира вспыхивает и ещё гуще будет вспыхивать голод из-за перенаселённости, земельной скудости, первичного выхода из колониального состояния, — то есть люди *не могут* произвести зерна. Мы же не производим достаточно или сотрясаемся от одного засушливого года (а ведь знает история земледелия и по семи подряд?) — всё потому, что не хотим признать свою колхозную ошибку. Веками Россия вывозила хлеб, перед 1-й мировой войной — по 10-12 миллионов тонн ежегодно, и вот 55 лет нового строя и 40 лет прославленной колхозной системы — и мы вынуждены 20 миллионов тонн *ввозить*! Ведь стыдно, ведь пора же очнуться! Деревня, на которой веками стояла Россия, стала главной слабостью её! Долгие десятилетия мы истощали колхозную деревню до полного отобрания сил её, до полного отчаяния, — наконец, стали ей возвращать ценности, стали ей и платить — но *поздно*. Истощены её вера в дело, её интерес. По старой пословице: отбей охоту — рублём не возьмёшь. При угрожающей в мире нехватке

зерна один выход у нас быть сытою страной: отказаться от принудительных колхозов, оставить только добровольные. На пространствах Северо-Востока ставить (с большими затратами, конечно) такое сельское хозяйство, которое будет кормить своим естественным экономическим ходом, а не наплывами агитаторов и мобилизованных горожан.

Предполагаю, знаете вы (это видно по вашим указаниям), что и во всём народном хозяйстве, во всей государственной служебной громаде так: люди не кладут сил на казённой работе и не рвутся к ней, но сколько могут — обманывают (а то и воруют), служебные часы тратят на личные дела (вынуждены так! — ибо при нынешних заработках не хватит никаких сил и никакой жизни), все стараются получить денег больше, а работать меньше, — и с таковым народным настроением какими же сроками можно располагать для спасения страны?

Но ещё разрушительнее — водка. Тоже знаете вы хорошо, вот и указ ваш был, — а что он изменил? Пока водка — важная статья государственного дохода, ничего не изменится, так и будем ради барыша прожигать народную внутренность. (Я когда-то в ссылке работал в потребкооперации и чётко помню, что водка составляла 60-70% нашего оборота.)

По сравнению с нравами людей, их душевным состоянием, их отношением друг ко другу и к обществу — мелкие и ничтожны все те материальные достижения, которыми у нас так трубно гордятся.

То, что географически будет называться освоением Северо-Востока, хозяйственно — построением стабильной экономики, во всех своих решаемых задачах — градостроительных, транспортных, социальных, должно углубиться в задачи *нравственные*. Физическое и духовное здоровье народа должно стать целью и всего этого движения, и каждого его этапа, и каждой его стороны.

Построение более чем половины государства на новом свежем месте позволяет не повторить губительных ошибок XX века — с промышленностью, с дорогами, с городами. Если не жечься куцыми экономическими потребностями дня, а создавать для наших детей страну с чистым воздухом и чистыми водами, придётся отказаться от мно-

гих видов промышленного производства с ядовитыми отходами. Скажут — военная необходимость диктует? Но военных необходимостей у нас вдесятеро меньше, чем мы делаем вид, чем мы напряжённо и суетливо создаём сами себе, изобретая интересы в Атлантическом или Индийском океанах. На ближайшие полвека у нас единственная истинная военная необходимость — оборониться от Китая, а лучше вовсе с ним не воевать. Хорошо устроенный Северо-Восток есть и лучшая защита от Китая. Больше *никто на Земле* нам не угрожает, никто на нас не нападёт. Мы вооружены для мирного времени многократно избыточно, мы производим массу оружия, которое потом будем менять и менять на свежее, в избытке тренируем личный состав, который и из возраста выйдет к моменту военной необходимости.

Со всех сторон, кроме Китая, мы имеем большой запас безопасности по срокам, и это даёт нам возможность на многие годы сильно сократить военную подготовку и освободившееся бросить на экономику и устройство жизни. Технологическая гибель — не меньшая опасность, чем война.

Пришла пора и освободить русскую юность от обязательной всеобщей воинской повинности, которой нет ни в Китае, ни в Соединённых Штатах, ни в одной большой стране мира. Мы эту армию держим всё из той же генеральской и дипломатической суеты — для престижа, из чванства; для внешнего расширения, от которого надо отказаться, физически и душевно спасая самих же себя; и ещё — от ложного представления, что мужскую молодёжь нельзя воспитать государственно полезной иначе, как пропуская её через армейский котёл долгими годами. Если и будет признано, что мы не можем обеспечить оборону иначе, как проводя через армию всех, то на много может быть сокращён срок службы и очеловечено „воспитание” в армии. При нынешнем мы как народ теряем *внутренне* гораздо больше, чем нашагивают наши парады.

Резко уменьшая вооружение, мы освободим и наше небо от надоевших грохочущих самолётных армад, — над нашими обширными пространствами днём и ночью, без поры и времени, они производят свои нескончаемые полёты и учения! — с переходами звукового порога, с гулом

и рёвом, нарушающим быт, отдых, сон и нервы сотен тысяч людей, эффективно оглупляя их под своим гулом (все видные начальники над своими дачными местностями полёты запрещают), — и всё это десятилетиями, ни для какого спасения страны, а — никчемушняя суета. Верните стране здоровую тишину, без которой и не может быть здорового народа.

Нынешняя городская жизнь, которой обречена уже половина нашего населения, совершенно противоестественна, и все вы единодушно с этим согласны, ибо единодушно ежевечерне спасаетесь из города на загородные дачи. И все вы по вашему возрасту хорошо помните прежние до-автомобильные города — города для людей, лошадей, собак, ещё — трамваев, человечные, приветливые, уютные, всегда с чистым воздухом, зимою многоснежные, весной через заборы на улицы льются запахи из садов; сады чуть не при каждом доме, и редко какой дом выше двух этажей — приятнейшая высота человеческого жилища; жители тех городов были не кочевники, не кочевали дважды в год, спасая детей от пылающего ада. Экономика не-гигантизма, с дробной, хотя и высокой технологией, не только позволит, но даже потребует построения рассредоточенных городов, мягких для человека. И вполне можно поставить на всех въездах шлагбаумы, пропуская лошадей и электрические аккумуляторные двигатели, но не ядовитые двигатели внутреннего сгорания, и в самом городе на перекрестках если нужно кому нырять под землю, — то двигателям, а не старым, малым и большим людям.

Вот такими городами пусть украсится наш растепленный отморозенный Северо-Восток, и на то растепление пусть грохаются дурные космические деньги.

Правда, в прежних русских городах была ещё одна особенность, уже духовная, позволявшая самым образованным людям с наслаждением жить там и не сгущаться всем в одну семимиллионную столицу: многие провинциальные города, не только Иркутск, Томск, Саратов, Ярославль, Казань, многие были значительными и самостоятельными культурными центрами. А у нас сейчас разве допустим какой-нибудь самостоятельный, самостоятельный центр, кроме Москвы? Даже и Питер затускнел совсем. Бывало, в каком-нибудь Вышнем Волочке могло по-

явиться уникальное книжное издание большой ценности, — а разве сейчас это допустит наша *идеология*? Нынешняя централизация всех видов духовной жизни — уродство, духовное убийство. Без таких 40-80 городов нет России как страны, лишь какой-то безгласный придаток. Вот и тут, как на каждом месте, на каждой линии, построить Россию здоровую нам мешает — *идеология*.

Так каждая сторона быта неразрывно связана с душевным состоянием людей. Тот, кто вынужденно калечит гусеницами тракторов или колёсами огромных грузовиков не приспособленные к ним, не ожидавшие их травяные и просёлочные дороги, или остервенелым „неподвижным мотоциклом” бензопилы на рассвете от жадности перебуживает целый посёлок, — становится жесток и циничен. Не случайны и эти бесчисленные пьяные и хулиганы, не дающие женщинам проходу в вечерние и праздничные часы, — никакой милиции на них не хватит, тем более не удержит их идеология, претендующая, что она заменила нравственность.

Достаточно поработав в школах — и городских, и сельских, могу утверждать, что школа наша плохо учит и дурно воспитывает, а лишь разменивает и мельчит юные годы и души. Всё поставлено так, что ученикам не за что уважать свой педсовет. Школа будет истинной тогда, когда в учителя пойдут люди отборные и к тому призванные. Но для этого — сколько средств и усилий надо потратить! — не так оплачивать их труд и не так унижительно держать их. А сейчас пединститут — в ряду институтов последний по своему авторитету, и взрослый мужчина стыдится быть школьным учителем. Абитуриенты как мухи на мёд летят на военную электронику — неужели для таких бесплодностей мы развивались тысячу сто лет?

Не получая нужного в школе, наши будущие граждане не много получают и в семье. Мы много хвастаем достигнутым женским равноправием и детскими садами и скрываем, что это всё — взамен подорванной семьи. А равноправие женщин не в том, чтобы занимать столько же рабочих мест и служебных постов, сколько мужчины, но лишь — принципиальная незакрытость всех этих постов для женщины. Реально же состояние мужского заработка должно быть таково, чтобы в семье с двумя ли, с четырь-

мя ли детьми женщина не нуждалась бы в отдельном заработке, не нуждалась бы поддерживать семью ещё и деньгами сверх своих трудов и забот. В погоне за пятилетками, за лишними руками, мы никогда не давали мужчинам такого заработка, и подрыв и разорение семей — одна из наших страшных плат за пятилетки. И как не сжаться сердцу стыдом и жалостью, когда мы видим наших женщин с тяжёлыми носилками на мощении мостовых, на подстилке железнодорожных путей? Видя такую картину — о чём ещё можно говорить? В чём ещё сомневаться? Чтоб освободить их от такого унижения — как не отказаться от финансирования южноамериканских революционеров?

Так почти каждое направление народной деятельности мы видим запущенным, требующим средств, труда и терпения. Но не выше того и досуг, сведенный к телевизору, картам, домино и всё той же водке, а кто читает — так или спорт, или шпионские детективы, или всё ту же Идеологию в виде газет. Неужели это и есть тот манящий социализм-коммунизм, для которого и клались все жертвы и гибли 60-90 миллионов?

Потребности внутреннего развития несравненно важнее для нас, как народа, чем потребности внешнего расширения силы. Вся мировая история показывает, что народы, создавшие империи, всегда несли духовный ущерб. Цели великой империи и нравственное здоровье народа несовместимы. И мы не смеем изобретать интернациональных задач и платить по ним, пока наш народ в таком нравственном разорении и пока мы считаем себя его сыновьями.

Ещё ли нам не отказаться от Средиземного моря?

А для этого прежде всего — от идеологии.

## 6. ИДЕОЛОГИЯ

Эта идеология, доставшаяся нам по наследству, не только дряхла, не только безнадежно устарела, но и в свои лучшие десятилетия она ошиблась во всех своих предсказаниях, она никогда не была наукой.

Примитивная верхоглядная экономическая теория, которая объявила, что только рабочий рождает ценности, и не увидела вклада ни организаторов, ни инженеров, ни

транспорта, ни аппарата сбыта. Она ошиблась, предсказывая, что пролетариат будет безгранично захват, что он никогда ничего не добьётся при буржуазной демократии, — нам бы сейчас так накормить его, одеть и осыпать досугом, как он получил всё это при капитализме! Она дала маху, что благополучие европейских стран держится на колониях, — а они только освобождаясь от колоний и стали совершать свои „экономические чудеса”. Она прошиблась, что социалисты никогда не сумеют приходить к власти иначе, как вооружённым переворотом. Она просчиталась, будто эти перевороты начнутся с передовых промышленных стран, — как раз всё наоборот. И как революции быстро охватят весь мир, и как будут быстро отмирать государства — всё сплошь заблуждения, всё сплошь незнание человеческой природы. И что войны присущи только капитализму и кончатся с ним, — мы уже видели самую пока долгую войну XX века, 15 и 20 лет не капитализм отвергал переговоры и перемирие, — и не дай нам Бог увидеть самую жестокую и самую кровавую из всех войн человечества — войну между двумя коммунистическими сверхдержавами. Так и национализм был этой теорией в 1848 году погребён как уже „пережиток” — а найдите сегодня в мире силу большую! И со многим так, перечислять устанешь.

Марксизм не только не точен, не только не наука, не только не предсказал *ни единого события* в цифрах, количествах, темпах или местах, что сегодня шутя делают электронные машины при социальных прогнозах, да только не марксизмом руководясь, но поражает марксизм своей экономико-механистической грубостью в попытках объяснить тончайшее человеческое существо и ещё более сложное миллионное сочетание людей — общество. Лишь корыстью одних, ослеплением других и жадной верить у третьих можно истолковать этот жуткий юмор XX века: каким образом столь опорощенное, столь провалившееся учение ещё имеет на Западе столько последователей! У нас-то их меньше всего осталось! Мы-то, отдававшие, только притворяемся поневоле...

Мы видели выше, что всеми жерновками, которые топят вас, наградили вас не ваш здравый смысл, а именно наследное дряхлое Передовое Учение. И коллективизацией.

И национализацией мелких ремёсел и услуг (что сделало невыносимой жизнь рядовых граждан, но вы этого не ощущаете; что нагромоздило воровство и ложь даже в повседневной экономике — и вы бессильны). И необходимостью для великого интернационального замаху так раздвигать военное развитие, что пущена в прорыв вся внутренняя жизнь, и даже вот Сибирь освоить за 55 лет не нашлось времени. И помехами в промышленном развитии и перестройке технологии. И преследованием религии, очень важным для марксизма\*, но бессмысленным и невыгодным для практических государственных руководителей: с помощью бездельников травить своих самых добросовестных работников, чуждых обману и воровству, — и страдать потом от всеобщего обмана и воровства. Для верующего его вера есть высшая ценность, выше той еды, которую он кладёт в желудок. Задумались ли вы: зачем же эти лучшие миллионы подданных вы отрешаете от родины? Вам как государственным руководителям это только вредно, а делаете вы это автоматически, механически, потому что марксизм навязывает вам так. Как навязывает он вам, руководителям сверхдержавы, давать отчёты о своих действиях каким-то далёким приезжим гостям — с другого полушария вождям невлиятельных, незначительных компартий, меньше всего озабоченных русской судьбой.

Воспитанным в марксизме кажется страшным такой шаг: вдруг начать жить без этой привычной идеологии. Но тут, по сути, выбора не осталось, сами обстоятельства заставят сделать его, да может оказаться поздно. Национальным руководителям России в предвидении грозящей войны с Китаем всё равно придётся опираться на патриотизм и только на него. Когда Сталин начинал такой поворот во время войны, вспомните! — никто даже не удивился, никто не зарыдал по марксизму, все приняли как самое естественное, наше, русское! Разумно же совершить пере-

---

\* Сергей Булгаков показал („Карл Маркс как религиозный тип", 1906), что атеизм есть главный вдохновляющий и эмоциональный центр марксизма, всё остальное учение уже наворачивалось вокруг него. Яростная вражда к религии — самое настойчивое в марксизме.



группировку сил перед великой опасностью — раньше, а не позже. Да этот отказ, только нерешительный, уже и начат у нас давно, ибо что такое „совмещение” марксизма с патриотизмом? — бессмыслица. Эти точки зрения можно „слить” только в общих закланиях, на любом же конкретном историческом вопросе эти точки зрения всегда противоположны. Это так явно, что Ленин в 1915 году даже декларировал: „мы — антипатриоты”. И то было истинно, искренне. И все 20-е годы слово „патриот” у нас значило абсолютно то же самое, что „белогвардеец”. И всё это письмо, которое я сейчас кладу перед вами, есть патриотизм — и *значит* отрицание марксизма. Марксизм напротив велит не осваивать Северо-Востока и оставить наших женщин с ломами и лопатами, но торопить и финансировать мировую революцию.

В ту минуту, когда уже будут стрелять первые пушки на советско-китайской границе, бойтесь оказаться в этой двойственной шаткости с недостатком и нечёткостью национального самосознания в нашей стране, — вы видите, как могучая Америка проиграла маленькому Северному Вьетнаму, как легко сдали нервы американского общества и молодёжи — именно потому, что в Соединённых Штатах очень слабое невыявленное национальное самосознание. Не пропустите момент!

Шаг поначалу кажется трудным, а на самом деле вы очень скоро испытаете большое облегчение, отбросив эту никчемную ношу, облегчение всего государственного устройства, всех движений в руководстве. Ведь эта идеология, доводя до острейшего конфликта наше внешнее положение, давно уже перестала помогать нам во внутреннем, как помогала в 20-е и 30-е годы. Всё в стране давно держится лишь на материальном расчёте и подчинении подданных, ни на каком идейном порыве, вы отлично знаете это. Сегодня эта идеология уже только ослабляет и связывает вас. Она захламляет всю жизнь общества, мозги, речи радио, печать — ложью, ложью, ложью. Ибо как же ещё мёртвому делать вид, что оно продолжает жить, если не пристройками лжи? *Всё погрязло во лжи и все это знают* и в частных разговорах открыто об этом говорят, и смеются, и нудятся, а в официальных выступлениях лицемерно твердят то, „что положено”, и так же лицемерно, со ску-

кой читают и слушают выступления других, — сколько же уходит на это впустую энергии общества! И вы — открывая газеты или включая телевизор, — *вы сами* разве верите сколько-нибудь в искренность этих выступлений? Да давно уже нет, я уверен. А иначе — глухо ж вас отъединили от внутренней жизни страны.

Эта всеобщая обязательная, принудительная к употреблению ложь стала самой мучительной стороной существования людей в нашей стране — хуже всех материальных невзгод, хуже всякой гражданской несвободы.

И все эти арсеналы лжи, совсем и не нужные для нашей государственной устойчивости, привлекаются как налог в пользу Идеологии: связать, увязать происходящее, как оно течёт, и цепкую когтистую умершую Идеологию. Именно оттого, что наше государство по привычке, по традиции, по инерции всё ещё держится за эту ложную доктрину, за её ответвлённые заблуждения, — оно и нуждается сажать за решётку инакомыслящего. Потому что именно ложной идеологии нечем ответить на возражения, на протесты, кроме оружия и решётки.

Отпустите же эту битую идеологию от себя! Отдайте её вашим соперникам или куда она там тянется, пусть она минует нашу страну как туча, как эпидемия и пусть о ней заботятся и в ней разбираются другие, только не мы! И вместе с ней мы освободимся от необходимости наполнять всю жизнь ложью. Стяните, стряхните со всех нас эту потную грязную рубашку, на которой уже столько крови, что она не даёт дышать живому телу нации, крови тех 66 миллионов. На ней — вся ответственность за всё пролитое, убеждать ли мне вас, что надо поскорее скинуть её — и пусть подбирает, кто хочет.

Я вовсе не предлагаю вам принять другую крайность — преследовать или запрещать марксизм, даже спорить против него (с ним спорить скоро никто уже и не будет, из лени одной). Я только предлагаю вам — спастись от него самим, и спасти от него своё государственное устройство, и свой народ. А для этого только: лишить марксизм мощной государственной поддержки, и пусть он существует сам по себе, на своих ногах. И пусть его пропагандируют, защищают и внедряют беспрепятственно все желающие — но в свободное от работы время и не на государст-

венной зарплате. То есть вся система агитпропа должна перестать оплачиваться из народных средств. У многочисленных работников агитпропа это ведь не может вызвать негодования или сопротивления? — новое положение освобождает их от всяких обидных упрёков в возможной корысти, оно впервые даст им возможность по-настоящему доказать свою идейную убеждённость, свою искренность. И им должна быть только радостна эта двойная нагрузка? — в будни, в дневное время, принять на себя продуктивный труд для страны, производить реальные ценности (любой труд, какой бы они ни избрали взамен нынешнего, будет много продуктивнее, ибо их нынешний — нулевой, если не отрицательный), а по вечерам, по свободным дням и в отпуска посвятит свой досуг пропаганде любимого учения, бескорыстно наслаждаясь истиной. Ведь именно так поступают, например, верующие, да ещё под преследованием, — и считают себя духовно удовлетворёнными. Какой будет замечательный случай не говорю проверить, но — доказать искренность всех тех, кто десятилетиями агитировал всех нас.

## 7. А КАК ЭТО МОГЛО БЫ УЛОЖИТЬСЯ?

Сказавши всё это, я не забыл ни на минуту, что вы — крайние реалисты, на том и начат разговор. Вы — исключительные реалисты и не допустите, чтобы власть ушла из ваших рук. Оттого вы не допустите доброю волей двух- или многопартийную парламентскую систему у нас, вы не допустите реальных выборов, при которых вас могли бы не выбрать. И на основании реализма приходится признать, что это ещё долго будет в ваших силах.

Долго, но — не вечно.

Предложив диалог на основании реализма, должен и я сознаться, что из русской истории стал я противником всяких вообще революций и вооружённых потрясений, значит, и в будущем тоже: и тех, которых вы жаждете (не у нас), и тех, которых вы опасаетесь (у нас). Изучением я убедился, что массовые кровавые революции всегда губительны для народов, среди которых они происходят. И среди нашего нынешнего общества я совсем не одинок в

этом убеждении. Всяким поспешным сотрясением смена нынешнего руководства (всей пирамиды) на других персон могла бы вызвать лишь новую уничтожающую борьбу и наверняка очень сомнительный выигрыш в качестве руководства.

В таком положении что ж остаётся н а м ? Приводить утешительные соображения о зелени винограда. Аргументировать довольно искренно, что мы — не поклонники того буйного „разгула демократии“, когда каждый четвёртый год политических деятелей и даже всей страны чуть не полностью ухлопывается на избирательную кампанию, на угождение массе, и на этом многократно играют не только внутренние группировки, но и иностранные правительства; когда суд, пренебрегая обеспеченной ему независимостью, в угождение страстям общества объявляет невинным человека, во время изнурительной войны выкравшего и опубликовавшего документы военного министерства. Что даже и в демократии устоявшейся видим мы немало примеров, когда её роковые пути избраны в результате эмоционального самообмана или случайного перевеса, даваемого крохотной непопулярной партией между двух больших, — и от этого ничтожного перевеса, никак не выражающего волю большинства (а и воля большинства не защищена от ложного направления), решаются важнейшие вопросы государственной, а то и мировой политики. Да ещё эти частые теперь примеры, когда любая профессиональная группа научилась вырывать себе лучший кусок в любой тяжёлый момент для своей нации, хоть вся она пропади. И уж вовсе оказались беспомощными самые уважаемые демократии перед кучкою сопливых террористов.

Да, конечно: свобода — нравственна. Но только до известного предела, пока она не переходит в самодовольство и разнузданность.

Так ведь и *порядок* — не безнравственен, устойчивый и покойный строй. Тоже — до своего предела, пока он не переходит в произвол и тиранию.

У нас в России, по полной непривычке, демократия просуществовала всего 8 месяцев — с февраля по октябрь 1917 года. Эмигрантские группы к-д и с-д, кто ещё жив, до сих пор гордятся ею, говорят, что им её загубили посторонние силы. На самом деле та демократия была именно

их позором: они так амбициозно кликали и обещали её, а осуществили сумбурную и даже карикатурную, оказались неподготовлены к ней прежде всего сами, тем более была неподготовлена к ней Россия. А за последние полвека подготовленность России к демократии, к многопартийной парламентской системе, могла ещё только снизиться. Пожалуй, внезапное введение её сейчас было бы лишь новым горевым повторением 1917 года.

Записывать ли нам себе в демократическую традицию — соборы Московской Руси, Новгород, ранее казачество, сельский мир? Или утешиться, что и тысячу лет жила Россия с авторитарным строем — и к началу XX века ещё весьма сохраняла и физическое и духовное здоровье народа?

Однако, выполнялось там важное условие: тот авторитарный строй имел, пусть исходно, первоначально, сильное нравственное основание — не идеологию всеобщего насилия, а православие, да древнее, семивековое православие Сергия Радонежского и Нила Сорского, ещё не издёрганное Никоном, не оказёненное Петром. С конца московского и весь петербургский период, когда то начало исказилось и ослабло, — при внешних кажущихся успехах государства авторитарный строй стал клониться к упадку и погиб.

Но и русская интеллигенция, больше столетия все силы клавшая на борьбу с авторитарным строем, — чего же добилась с огромными потерями и для себя и для простого народа? Обратного конечного результата. Так может быть следует признать, что для России этот путь был неверен или преждевременен? Может быть на обозримое будущее, хотим мы этого или не хотим, назначим так или не назначим, России всё равно суждён авторитарный строй? Может быть, только к нему она сегодня созрела?..

Всё зависит от того, к а к о й авторитарный строй ожидает нас и дальше. Невыносима не сама авторитарность, но — навязываемая повседневная идеологическая ложь. Невыносима не столько авторитарность — невыносимы произвол и беззаконие, непроходимое беззаконие, когда в каждом районе, области или отрасли — один властитель, и всё вершится по его единой воле, часто безграмотно и жестоко. Авторитарный строй совсем не означает,

что законы не нужны или что они бумажны, что они не должны отражать понятия и волю населения. Авторитарный строй — не значит ещё, что законодательная, исполнительная и судебная власти не самостоятельны ни одна и даже вообще не власти, но все подчиняются телефонному звонку от единственной власти, утвердившей сама себя. Я напомним, что *советы*, давшие название нашему строю и просуществовавшие до 6 июля 1918 года, никак не зависели от Идеологии — будет она или не будет, но обязательно предполагали широчайший совет всех, кто трудится.

Остаёмся ли мы на почве реализма или переходим в мечтания, если предложим восстановить хотя бы реальную власть советов? Не знаю, что сказать о нашей конституции, с 1936 года она не выполнялась ни одного дня и потому не кажется способной жить. Но может быть — и она не безнадежна?

Оставаясь в рамках жестокого реализма, я не предлагаю вам менять удобного для вас размещения руководства. Совокупность всех тех, от верху до низу, кого вы считаете действующим и желательным руководством, переведите, однако, в систему советскую. А впредь от того любой государственный пост пусть не будет прямым следствием партийной принадлежности, как сейчас. Освободите и свою партию от упреков, что люди получают партийные билеты для карьеры. Дайте возможность некоторым работающим соотечественникам тоже продвигаться по государственным ступеням и без партийного билета — вы и работников получите хороших и в партии останутся лишь бескорыстные люди. Вы, конечно, не упустите сохранить свою партию как крепкую организацию единопособников и конспиративные от масс („закрытые”) свои отдельные совещания. Но расставшись с Идеологией, лишь бы отказалась ваша партия от невыполнимых и ненужных нам задач мирового господства, а исполнила бы национальные задачи: спасла бы нас от войны с Китаем и от технологической гибели. Эти задачи и благородны и выполнимы.

Не должны мы руководиться соображениями политического гигантизма, не должны замысливать о судьбах других полушарий, от этого надо отказаться навек, это наверняка всё лопнет, другие полушария и тёплые океаны будут развиваться всё равно без нас, по-своему, и тем никто

из Москвы не управит, и того никто не предскажет даже в 1973 году, а тем более Маркс из 1848-го. Руководить нашей страной должны соображения внутреннего, нравственного, здорового развития народа, освобождения женщины от каторги заработков, особенно от лома и лопаты, исправления школы, детского воспитания, спасения почвы, вод, всей русской природы, восстановления здоровых городов, освоения Северо-Востока — и никакого Космоса и никаких всемирно-исторических завоеваний и придуманных интернациональных задач: другие народы ничуть не глупее нас, а есть у Китая лишние деньги и дивизии — пусть пробует.

Учил нас Сталин — и вас и всех нас, что *благодушие* есть „величайшая опасность”, то есть добрая душа правителей — величайшая опасность! Это нужно было ему так для его замысла — уничтожать миллионы подданных. Но если у вас нет этой цели — так отречёмся от его проклятой заповеди! Пусть авторитарный строй, — но основанный не на „классовой ненависти” неисчерпаемой, а на человеколюбии — и не к близкому своему окружению, но искренно — ко всему своему народу. И самый первый признак, отличающий этот путь, — *великодушие*, милосердие к узникам. Оглянитесь и ужаснитесь: с 1918 по 1954 год и с 1958 по сегодня *ни один человек* не был у нас освобождён из заключения движением доброй души! Если кого и выпускали изредка, то по голому политическому расчёту: насколько уже сломлен духом или насколько нестерпимо давит мировая общественность. Уж конечно придётся отказаться навек от психиатрического насилия и от негласных судов, и от того жестокого безнравственного мешка лагерей, где провинившихся и оступившихся калечат дальше и уничтожают.

Чтобы не задохнулись страна и народ, чтобы они имели возможность развиваться и обогащать вас же идеями, свободно допустите к честному соревнованию — не за власть! за истину! — все идеологические и все нравственные течения, в частности все религии, — их некому будет преследовать, если их гонитель марксизм лишится государственных привилегий. Но допустите честно, не так, как сейчас, не подавляя в немоте, допустите их с молодёжными духовными организациями (не политическими совсем),

допустите их с правом воспитывать и учить детей, с правом свободной приходской деятельности. (Сам я не вижу сегодня никакой живой духовной силы, кроме христианской, которая могла бы взяться за духовное исцеление России. Но я не прошу и не предлагаю ей льгот, а только: честно — не подавлять.) Допустите свободное искусство, литературу, свободное книгопечатание — не политических книг, Боже упаси! не воззваний! не предвыборных листовок — но философских, нравственных, экономических и социальных исследований, ведь это всё будет давать богатый урожай, плодоносить — в пользу России. Такая свободная колосьба мыслей быстро избавит вас от необходимости все новые идеи с запозданием переводить с западных языков, как это происходит все полвека, вы же знаете.

Чего вам опасаться? Неужели это так страшно? Неужели вы так не уверены в себе? У вас остаётся вся неколебимая власть, отдельная сильная замкнутая партия, армия, милиция, промышленность, транспорт, связь, недра, монополия внешней торговли, принудительный курс рубля, — но дайте же народу дышать, думать и развиваться! Если вы сердцем принадлежите к нему — для вас и колебания не должно быть!

А ещё ведь и такая потребность бывает в человеческой душе — искупление прошлого?..

Покажется, что я уклонился с первоначальной платформы реализма? Но я напому исходное предположение: что вы не чужды отцам, дедам и русским просторам. Но я повторяю вышесказанное: мудро прислушаться к советам раньше крайней необходимости.

Вы можете с негодованием или смехом отбросить соображения какого-то одиночки, писателя. Но с каждым годом то же самое будет настойчиво предлагать вам жизнь — по разным поводам, в разное время, с разными формулировками, — но именно это. Потому что это осуществимый *плавный* путь спасения нашей страны, нашего народа.

И — вас самих, кстати. Ведь наступит грозный час — и вы опять воззовёте к этому народу, не к мировому коммунизму. И даже ваша судьба — *даже ваша!* — будет зависеть от нас.

Конечно, такие решения не принимаются в неделю. Но сейчас вы имеете возможность совершить этот переход спо-



койно — хоть в три года, хоть в пять, хоть, со всем процессом, и в десять. Лишь бы начать — уже сейчас, лишь бы решиться — уже сейчас. Потом жизнь выставит требования и неотложней, и резче.

Ваше заветное желание — чтобы наш государственный строй и идеологическая система не менялись и стояли вот так веками. Но так в истории не бывает. Каждая система или находит путь развития или падает.

Невозможно вести такую страну, исходя из злободневных нужд: в 1942 году осуждать Неру как клику за его национально-освободительное движение (подрывал военные усилия наших союзников англичан), в 1956 году лобызаться с ним. И то же с Тито, и со многими, многими. Вести такую страну — нужно иметь национальную линию и постоянно ощущать за своими плечами все 1100 лет её истории, а не только 55 лет, 5% её.

Вы заметите, конечно, что это письмо не преследует никаких личных целей. Я из вашей скорлупы вырос уже всё равно, написанные мною вещи будут всё равно напечатаны, помимо вашего дозволения или запрета. Всё, что я сказал, — я уже сказал. Мне — тоже 55 лет, и я, кажется, доказал многими своими шагами, что не дорожу материальными благами и готов пожертвовать жизнью. Для вас такой тип жизнеощущения необычен — но вот вы наблюдаете его.

Этим письмом я тоже беру на себя тяжёлую ответственность перед русской историей. Но не взять на себя поиска выхода, но ничего не предпринять — ответственность ещё бóльшая.

*А. Солженицын*

5 сентября 1973  
Москва

## ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ!

Когда-то мы не смели и шёпотом шелестеть. Теперь вот пишем и читаем Самиздат, а уж друг другу-то, сойдясь в курилках НИИ, от души нажалуемся: чего только *они* не накуролесят, куда только не тянут нас! И ненужное космическое хвастовство при разорении и бедности дома; и укрепление дальних диких режимов; и разжигание гражданских войн; и безрассудно вырастили Мао Цзе-дуна (на наши средства) — и *н а с* же на него погонят, и придётся идти, куда денешься? и судят, кого хотят, и здоровых загоняют в умалишённые — всё „они”, а *м ы* — бессильны.

Уже до доньшка доходит, уже всеобщая духовная гибель насунулась на всех нас, и физическая вот-вот запылает и сожжёт и нас, и наших детей, — а *м ы* по-прежнему всё улыбаемся трусливо и лепечем косноязычно:

— А чем же *м ы* помешаем? У нас нет сил.

*Мы* так безнадёжно расчеловечились, что за сегодняшнюю скромную кормушку отдадим все принципы, душу свою, все усилия наших предков, все возможности для потомков — только бы не расстроить своего утлого существования. Не осталось у нас ни твёрдости, ни гордости, ни сердечного жара. Мы даже всеобщей атомной смерти не боимся, третьей мировой войны не боимся (может в щёлочку спрячемся), — *м ы* только боимся шагов гражданского мужества! Нам только бы не оторваться от стада, не сделать шага в одиночку — и вдруг оказаться без белых батонов, без газовой колонки, без Московской прописки.

Уж как долбили нам на политкружках, так в нас и вросло, удобно жить, на весь век хорошо: *среда*, социальные условия, из них не выскочишь, бытие определяет сознание, *мы-то* при чём? *мы* ничего не можем.

А *м ы* можем — *в с ё*! — но сами себе лжём, чтобы себя успокоить. Никакие не „они” во всём виноваты — *м ы с а м и*, только *м ы*!

Возразят: но ведь действительно ничего не придумаешь! Нам заклипили рты, нас не слушают, не спрашивают. Как же заставить их послушать нас?

Переубедить их — невозможно.

Естественно было бы их переизбрать! — но перевыборов не бывает в нашей стране.

На Западе люди знают забастовки, демонстрации протеста, — но мы слишком забиты, нам это страшно: как это вдруг — отказаться от работы, как это вдруг — выйти на улицу?

Все же другие роковые пути, за последний век отпробованные в горькой русской истории, — тем более не для нас, и вправду — не надо! Теперь, когда все топоры своего дорубились, когда всё посеянное взошло, — видно нам, как заблудились, как зачадились те молодые, самонадеянные, кто думали террором, кровавым восстанием и гражданской войной сделать страну справедливой и счастливой. Нет, спасибо, отцы просвещения! Теперь-то знаем мы, что гнусность методов распложается в гнусности результатов. Наши руки — да будут чистыми!

Так круг — замкнулся? И выхода — действительно нет? И остаётся нам только бездейственно ждать: вдруг случится что-нибудь с а м о ?..

Но никогда оно от нас не отлипнет с а м о , если все мы все дни будем его признавать, прославлять и упрочнять, если не оттолкнёмся хотя б от самой его чувствительной точки.

От — лжи.

Когда насилие врывается в мирную людскую жизнь — его лицо пылает от самоуверенности, оно так и на флаге несёт, и кричит: „Я — Насилие! Разойдись, расступись — раздавлю!” Но насилие быстро стареет, немного лет — оно уже не уверено в себе, и чтобы держаться, чтобы выглядеть прилично, — непременно вызывает себе в союзники Ложь. Ибо: насилию нечем прикрыться кроме лжи, а ложь может держаться только насилием. И не каждый день, не на каждое плечо кладёт насилие свою тяжёлую лапу: оно требует от нас только покорности лжи, ежедневного участия во лжи — и в этом вся верноподданность.

И здесь-то лежит пренебрегаемый нами, самый простой, самый доступный ключ к нашему освобождению:

*личное неучастие во лжи!* Пусть ложь всё покрыла, пусть ложь всем владеет, но в самом малом упрёмся: пусть владеет *не через меня!*

И это — прорез во мнимом кольце нашего бездействия! — самый лёгкий для нас и самый разрушительный для лжи. Ибо когда люди отшатываются ото лжи — она просто перестаёт существовать. Как зараза, она может существовать только на людях.

Не призываемся, не созрели мы идти на площади и громогласить правду, высказывать вслух, что думаем, — не надо, это страшно. Но хоть откажемся говорить то, чего не думаем!

Вот это и есть наш путь, самый лёгкий и доступный при нашей проросшей органической трусости, гораздо легче (страшно выговорить) гражданского неповиновения по Ганди.

Наш путь: *ни в чём не поддерживать лжи сознательно!* Осознав, где граница лжи (для каждого она ещё по-разному видна), — отступить от этой гангренозной границы! Не подклеивать мёртвых косточек и чешуек Идеологии, не сшивать гнилого тряпья — и мы поражены будем, как быстро и беспомощно ложь опадёт, и чему надлежит быть голым — то явится миру голым.

Итак, через робость нашу пусть каждый выберет: остаётся ли он сознательным слугою лжи (о, разумеется, не по склонности, но для прокормления семьи, для воспитания детей в духе лжи!), или пришла ему пора отряхнуться честным человеком, достойным уважения и детей своих и современников. И с этого дня он:

— впредь не напишет, не подпишет, не напечатает никаким способом ни единой фразы, искривляющей, по его мнению, правду;

— такой фразы ни в частной беседе, ни многолюдно не выскажет ни от себя, ни по шпаргалке, ни в роли агитатора, учителя, воспитателя, ни по театральной роли;

— живописно, скульптурно, фотографически, технически, музыкально не изобразит, не сопроводит, не транслирует ни одной ложной мысли, ни одного искажения истины, которое различает;

— не приведёт ни устно, ни письменно ни одной „руководящей” цитаты из угождения, для страховки, для

успеха своей работы, если цитируемой мысли не разделяет полностью или она не относится точно сюда;

— не даст принудить себя идти на демонстрацию или митинг, если это против его желания и воли; не возьмёт в руки, не подымет транспаранта, лозунга, которого не разделяет полностью;

— не поднимет голосующей руки за предложение, которому не сочувствует искренне; не проголосует ни явно, ни тайно за лицо, которое считает недостойным или сомнительным;

— не даст загнать себя на собрание, где ожидается принудительное, искажённое обсуждение вопроса;

— тотчас покинет заседание, собрание, лекцию, спектакль, киносеанс, как только услышит от оратора ложь, идеологический вздор или беззастенчивую пропаганду;

— не подпишется и не купит в рознице такую газету или журнал, где информация искажается, первосущные факты скрываются.

Мы перечислили разумеется не все возможные и необходимые уклонения ото лжи. Но тот, кто станет очищаться, — взором очищенным легко различит и другие случаи.

Да, на первых порах выйдет не равно. Кому-то на время лишиться работы. Молодым, желающим жить по правде, это очень осложнит их молодую жизнь при начале: ведь и отвечаемые уроки набиты ложью, надо выбирать. Но и ни для кого, кто хочет быть честным, здесь не осталось лазейки: никакой день никому из нас даже в самых безопасных технических науках не обминуть хоть одного из названных шагов — в сторону правды или в сторону лжи; в сторону духовной независимости или духовного лакейства. И тот, у кого не достанет смелости даже на защиту своей души, — пусть не гордится своими передовыми взглядами, не кичится, что он академик или народный артист, заслуженный деятель или генерал, — так пусть и скажет себе: я — быдло и трус, мне лишь бы сытно и тепло.

Даже этот путь — самый умеренный из всех путей сопротивления — для засидевшихся нас будет нелёгок. Но насколько же легче самосожжения или даже голодовки: пламя не охватит твоего туловища, глаза не лопнут

от жара, и чёрный-то хлеб с чистой водою всегда найдётся для твоей семьи.

Преданный нами, обманутый нами великий народ Европы — чехословацкий, неужели не показал нам, как даже против танков выстаивает незащищённая грудь, если в ней достойное сердце?

Это будет нелёгкий путь? — но самый лёгкий из возможных. Нелёгкий выбор для тела, — но единственный для души. Нелёгкий путь, — однако есть уже у нас люди, даже десятки их, кто годами выдерживает все эти пункты, живёт по правде.

Итак: не первыми вступить на этот путь, а — присоединиться! Тем легче и тем короче окажется всем нам этот путь, чем дружнее, чем гуще мы на него вступим! Будут нас тысячи — и не управятся ни с кем ничего поделать. Станут нас десятки тысяч — и мы не узнаем нашей страны!

Если ж мы струсим, то довольно жаловаться, что кто-то нам не даёт дышать — это мы сами себе не даём! Пригнёмся ещё, подождём, а наши братья биологи помогут приблизить чтение наших мыслей и переделку наших генов.

Если и в э т о м мы струсим, то мы — ничтожны, безнадёжны, и это к нам пушкинское презрение:

К чему стадам дары свободы?

.....

Наследство их из рода в роды

Ярмо с гремящими да бич.

12 февраля 1974

НА ЗАПАДЕ

1974 — 1980





## СЛОВО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПРЕМИИ „ЗОЛОТОЕ КЛИШЕ”

Союза итальянских журналистов

Цюрих, 31 мая 1974

Ознакомясь с принципами, согласно которым ваша премия присуждается Союзом итальянских журналистов уже 11-й год и вот сегодня мне, я, разумеется, не только выражаю вам благодарность, но не свободен и от чувства гордости, видя столь достойных и мужественных людей в числе моих предшественников, в том числе — совокупно всю пражскую молодёжь 1968 года.

Те, кто передают сегодня эту премию, и тот, кто её сегодня получает, прожили свою жизнь как будто в разных половинах планеты, разных мирах, разных системах, о которых говорят, что они разделены пропастью, во всём противоположны и исключают друг друга. Однако если бы это было так, то не нашлось бы между нами единых ценностей, которые подали бы вам мысль присудить мне эту премию. А если такие ценности нашлись, то, быть может, мы можем выработать и общий взгляд на происходящее в сегодняшнем мире и даже открыть друг во друге сходное направление наших чаяний и усилий.

Примитивное разделение мира на две системы является суждением *политическим*, а значит весьма посредственного уровня. Все вообще политические приёмы есть операции с готовыми нравственными (или безнравственными) данностями, лежат на невысоком уровне человеческого сознания и бытия, обрываются и меняются за короткие периоды, при каждой смене ситуации. Страстными политическими ярлыками мы больше вводимся в заблуждение, чем вникаем в состояние сегодняшнего мира. Если же мы хотим охватить истинную суть положения человечества сегодня, степень безнадёжности его и степень надежды, — а пресса в своих высших задачах тоже не может не иметь

в виду этой цели, — нам не избежать подняться много выше, чем политические характеристики, формулировки и рецепты.

И тогда мы увидим, быть может, хотя это не окажется более отрадно, что главная опасность не в том, что мир расколот на две альтернативные социальные системы, а в том, что о б е системы поражены пороком и даже о б щ и м , и потому ни одна из систем при её нынешнем миропонимании не обещает здорового выхода. Черезo все случайности конкретного развития отдельных стран и за несколько веков этот порок органически пророс в современное человечество, и на большой дистанции мы можем его проследить.

Мы — все мы, всё цивилизованное человечество, — посаженные на одну и ту же жёстко связанную карусель, совершили долгий орбитальный путь. Как детишкам на карусельных конях, он казался нам нескончаемым — и всё вперёд, всё вперёд, нисколько не вбок, не вкривь. Этот орбитальный путь был: Возрождение — Реформация — Просвещение — физические кровопролитные революции — демократические общества — социалистические попытки. Этот путь не мог не совершиться, коль скоро Средние века когда-то не удержали человечества, оттого что построение Царства Божьего на Земле внедрялось насильственно, с отобранием существенных прав личности в пользу Целого. Нас тянули, гнали в Дух — насилием, и мы рванули, нырнули в Материю, тоже неограниченно. Так началась долгая эпоха гуманистического индивидуализма, так начала строиться цивилизация на принципе: человек — мера всех вещей и человек превыше всего.

Весь этот неизбежный путь весьма обогатил опыт человечества, но вот на наших глазах и он подошёл к исчерпанию: ошибки в основных положениях, не оцененные в начале пути, ныне мстят за себя. Поставив высшею мерой всех вещей человека, со всеми его недостатками и жадностью, отдавшись Материи неумеренно, несдержанно, — мы пришли к засорению, к изобилию мусора, мы тонем в земном мусоре, этот мусор заполняет, забивает все сферы нашего бытия. В сфере материальной этот мусор уже всем слишком заметен, он отравил воздух, воду, освоенную часть земной поверхности, уже захламляет и неосвоен-

ную; он так же безобразно наградил наши могучие производственные усилия, как в жизни отдельных людей повседневно самые заманчивые рекламы, упаковки и пластмассы обращаются в изобильный мусор городской. Но и в сфере так называемой духовной этот мусор забивает нас, давит нас — тяжёлыми объёмами, не могущими вместиться в наши глаза, уши, груди, втолакиванием звонких всеобщих, как будто всем ясных, а на деле беспомощных плоских идей, ложной наукой, жеманным искусством, — всем, что не знает над собою ответственности выше, чем Человек, то есть ты, я и люди по нашей склонности. Гремлющая цивилизация совершенно лишила нас сосредоточенной внутренней жизни, вытащила наши души на базар — партийный или коммерческий. В сфере социальной наш многовековой путь привёл нас в одних случаях на край анархии, в других — к стабильной деспотии. Между этими двумя грозными исходами на наших глазах становятся немощными, бесправными одно за другим демократические правительства — оттого, что малые и большие соединения людей не желают самоограничиться в пользу Целого. Это понимание, что должно же быть нечто Целое, Высшее, где-то разоренное нами, когда-то полагавшее предел нашим страстям и безответственности, — это понимание чутко сторожится современными жестокими тираниями и вовремя выставляется под названием Социализма. Но — обман вывески, неисследованность термина: столетия достаточно показали, что и там мы массажируем благоденствие малых групп людей — и при этом самых ничтожных, мусорных.

Оттого и орбитален оказался путь, что из власти насилия вырвались мы и во власть насилия вернулись — ещё не все пока, но скоро грозит и всем, при общей болезни ослабнувшей воли и потерянной перспективе. Орбита грозит унизительно замкнуться.

Как нам видится, цивилизованное человечество подошло сейчас к повороту мировой истории (жизни, быта и миропонимания), по значению такому же, как от Средних веков к Новому времени, — если только по беспечности и по упадку духа мы не пропустим этого поворота. Именно ваша страна, Италия, была некогда первой страной мира, приоткрывшей нам прежний исторический по-

ворот. Быть может, теперь вы из первых же и ощущаете бездны нашего нынешнего положения и, по вашей чуткости, поможете нам найти те формы, которые облегчили бы нам перейти на орбиту более высокого уровня, на которой мы научимся соблюдать достойную гармонию между нашей природой физической и природой духовной. Найдём в себе душевную высоту заново открыть, что человек — не венец вселенной, а есть над ним — Высший Дух.

По угрожающим темпам сегодняшней жизни — времени на осмысление и осуществление этого поворота у нас остаётся несравненно меньше, чем отпускалось его в неторопливом течении XIV или XVI веков. А при всём кровавом опыте минувших столетий — и самый выбор форм преобразования должен быть тоньше и выше: мы научились уже, что физическим сотрясением государств, что насильственными переворотами открывается путь не в светлое будущее, а в худшую гибель, в худшее насилие. Что если и суждены нам впереди революции спасительные, то они должны быть революциями нравственными, то есть неким новым феноменом, который нам предстоит ещё открыть, разглядеть и осуществить.

## ТРЕТЬЕМУ СОБОРУ ЗАРУБЕЖНОЙ РУССКОЙ ЦЕРКВИ

Ваши Высокопреосвященства, Ваши Преосвященства,  
Досточтимые Отцы, Милостивые государи!

Высокопреосвященнейший митрополит Филарет выразил желание, чтобы я обратился к вам со своими соображениями, как и чем может неугнетённая часть Русской Православной Церкви помочь её угнетённой пленённой части. Сознывая свою неподготовленность к выступлению по церковному вопросу перед собранием священнослужителей и иерархов, посвятивших служению Церкви всю свою жизнь, я однако и не смею уклониться от своего долга, лишь прошу о снисхождении к моим возможным ошибкам в терминологии или в самой сути суждений.

Скорбная картина подавления и уничтожения православной Церкви на территории нашей страны сопровождала всю мою жизнь от первых детских впечатлений: как вооружённая стража обрывает литургию, проходит в алтарь; как беснуются вокруг пасхальной службы, вырывая свечи и куличи; одноклассники рвут нательный крестик с меня самого; как сбрасывают колокола наземь и долбят храмы на кирпичи. И хорошо я помню то предвоенное время, когда храмовая служба запрещена была уже почти повсюду в нашей стране, так что в моём полумиллионном городе не оставалось ни единого действующего храма. Это было через 13 лет после декларации митрополита Сергия, и так приходится признать, что та декларация не была спасением Церкви, но безоговорочной капитуляцией, облегчающей властям „плавное” глухое уничтожение её. Возрождение церковного существования ещё тремя годами позже отнюдь не было выполнением конкордата со стороны власти, но вызывалось бедственным положением последней: силой религиозной волны по стране, особенно от восстановления храмов в оккупированных областях, и необходимостью угодить западному

общественному мнению. На самом же деле обманом были уступки и обещания 1943 года: вот прошло ещё 30 лет — и всё с той же несмирённой атеистической злобой власть гнёт и давит русскую Церковь и лишь в той мере терпит её — *думает*, что в той мере! — как нуждается в ней для политической декорации и вмешательства в дела Церкви международной.

Однако есть свой глубинный непредвидимый ход у многих явлений, тем более у духовных. Введенная Сталиным лишь как фишка в политической игре, Церковь — не как организация, но как духовное тело — стала набирать силу, не разрешённую властями и уже не полностью контролируемую. „Расплохом города берут”, — говорит пословица. Таким расплохом была разгромлена и смята наша Церковь в 20-е годы — от сил, по своей лютой крайности слишком неожиданных тогдашнему благодушному населению. Правда, эта лютость преследований вызвала очищающую вспышку веры и жертвы, какой давно не знала русская Церковь, а может быть и мировая, — но те исповедники были уничтожены сплошь. Стойкое исповедание стоило свободы и жизни — и к разгару 30-х годов уже казалось, что из России навсегда изгнана не только храмовая служба с колоколами, но при последнем удушеньи и затаённая шепчущая молитва. Однако то, что могло удаться с первого наскока, сорвалось со второго: оказалось, что церковная масса уже не даёт разгромить себя так же и во второй раз. Мы, население, в коммунистической атмосфере тоже изрядно закалились и приспособились, о чём вы можете судить по многим общественным явлениям в нашей стране. Напротив, власть дряхлеет от года к году, всё более возлюбив имущество. То, что в 30-х годах казалось духовно-обречённой пустыней, сегодня зеленеет во многих местах и направлениях. Ещё со свежим недавним опытом могу свидетельствовать вам: островками, отдалённо не похожими на советскую повседневность, советскую психологию, теплятся православные храмы в современном Советском Союзе. Жестоко разрежены эти храмы по лику страны, иногда и двести километров надо ехать для церковной требы, на рядовую службу уже не поедешь, просят других за себя подать поминанье и поставить свечку. Но и праздничное переполнение уцелевших

церковей обращивается против гонителей: при нынешнем охолощении веры на Западе — может быть нигде на Земле нет сейчас таких переполненных христианских храмов, как в СССР: негде положить земного поклона, переkreститься тесно, от этого ощущения вера отнюдь не слабеет. Чувствуя плечи друг друга, мы утверждаемся против гонений. Круг верующих ещё много шире, чем кому доступно и кто смеет посещать храмы. В Рязанской области, которую я наблюдал больше других, до 70% младенцев окрещивается, несмотря на все запреты и преследования, а на кладбищах кресты всё больше вытесняют советские столбики со звездой и фотографией. Конечно, это ещё далеко не разгорбленная Церковь: она пронизана доносителями на штатных должностях, ограничена во всех видах гражданских прав, её священники — под произволом атеистических самодуров, реально не существует приход и приходская деятельность, отрезаны пути христианского воспитания отрочества и юности, — но уже молодость сама своими ногами всё гуще приходит в храмы. И здесь не могу не сделать характернейшего сопоставления: 60 и 80 лет назад русская православная Церковь при полной поддержке могущественного государства, сама во всеисилии и красе, была избегаема и подвержена насмешкам именно со стороны молодёжи и интеллигенции. Вспоминаю недавно умершего крупного деятеля советской культуры, который в юности на обязательном богослужении клал на сборные церковные блюда — окурки вместо монеток, вызывая восхищённый смех гимназисток. Сегодня, напротив, интеллигенция и молодёжь в Союзе, даже не разделяя веры, относятся к ней с достойным уважением, все насмешки свои и презрительное своё уклонение перенесли на господствующую коммунистическую идеологию. И сколько пламенных последователей было у воинствующего атеизма в 20-е годы, это я хорошо помню, тех самых, кто бесновался, задувая свечи и рубя топорами иконы, — ныне они рассыпались в прах, как и их Союз Воинствующих Безбожников, самые ярые нашли свою гибель на том же Архипелаге, где и верное священство, другие переменялись, учение их лишилось всякой энергии, а Церковь пережила жестокости, которых, кажется, пережить невозможно, и вот стоит, хоть и далеко до своего естественно-

го объёма, и вот крепится — если не организацией своей, то духом верующих и новообращённых.

Вот такой я вижу сегодняшнюю русскую Церковь в нашей стране и хотел бы предостеречь деятелей Зарубежной Церкви от ошибки дальнего зрения: считать эту многомиллионную нашу Церковь — „падшей”, а ей противопоставлять некую „истинную”, „потайную”, „катакомбную”. Первые 15–20 лет советской власти в разгул как будто побеждающих гонений подобие катакомбной Церкви было, да: в тайных укрытиях моления травимых священников и гонимых верующих. Но течёт обычная жизнь, и большинство людей — не святые, а обычные. И вера и богослужение призваны сопровождать их обычную жизнь, а не требовать всякий раз сверхподвига. И если храм оказывается рядом и свечи его зажжены, — то люди естественно тянутся туда. Я и сам знаком с иными такими женщинами, кто в 30-е годы перепрыгивал батюшек и собирал тайные богослужения на квартирах, — сегодня эти женщины просто ходят в ближайший храм. А если где проявляется почитание молитвенных разорённых мест (у источника, на кладбище, тоже знаю такие под Рязанью) как бы взамен богослужения, — то лишь по закрытости всех окружающих храмов и полному отсутствию пастырей. Заблуждение — выводить из таких случаев существование тайной церковной организации как „всероссийского явления”. Если власти вновь заколотят завтра все храмы до единого, катакомбные моления возникнут вновь, но на это и у власти уже энергии нет. Не надо сегодня образом катакомбной церкви подменять реальный русский православный народ. Не надо, как я замечаю в некоторых ваших публикациях, игнорировать, обходить умозаключением — самовозникший и самокрепнувший в нашей стране православный мир. Задача ваша сегодня гораздо сложнее, многосоставней — но и *радостней!* — чем солидаризоваться только с таинственной, безгрешной, но и бестелесной катакомбой.

Нынешняя Церковь в нашей стране — пленённая, угнетённая, придавленная, но отнюдь не падшая! Она восстала на духовных силах, которыми, как видим, Господь не обделил наш народ. Её воскрешение и стояние я насколько не приписываю, я уже сказал, верности програм-



мы митрополита Сергия Страгородского и его последователей. Не и х помрачительным расчётам укрепить Христа ношением на груди отчеканенного ордена антихриста; или заманиванием беженцев в лагеря родины на смерть; или любой агитпропской клеветой о какой-нибудь „бактериологической войне, ведомой американцами”; не и х малодушной капитуляцией и не и х преступлениями восстановился корпус Христовой Церкви, — но так потекли исторические силы, выражающие Промысел Божий. Грехи покорности и предательства, допущенные иерархами, легли земной и небесной ответственностью на этих водителей, однако не распространяются на церковное туловище, на многочисленное доброискреннее священство, на массу молящихся в храмах — и *никогда* не могут передаться церковному народу, вся история христианства убеждает нас в этом. Если бы грехи иерархов перекладывались на верующих, то не была бы вечна и непобедима Христова Церковь, а всецело зависела бы от случайностей характеров и поведений.

Но — и понять, и посочувствовать требует наша новейшая история. Я поклоняюсь памяти Патриарха Тихона. Какая новизна, неисследованность и тягота предождала все разнообразные и несхожие шаги его в те бурные годы, которым по бурности не было равных за тысячу лет России: и когда он руку подымал с амвона для анафемы большевистским комиссарам; и когда терзался сомнениями в клещах бесстыжей игры Ленина и Троцкого с церковными ценностями: милосердие приводило к разгрому, а стойкость выглядела противохристианской; и когда для одоления наглых „обновленцев” допускал тон полупримирения с атеистической властью; и когда взвешивал меру разрешимых уступок. На плечи его легла тяжесть не только тех необычайных, ещё никем тогда не осознанных лет, но и тогда ж проявившееся бремя грехов предыдущей церковной русской истории. Внезапная смерть Патриарха (с большой вероятностью — чекистское убийство) лишь подтверждает праведность его линии. Таким же смертным подтверждением в тюрьмах ГПУ, на Соловках, в других лагерях и ссылке была отмечена правота тысяч священников, монахов, епископов и патриаршьяго местоблюстителя Петра. И кто преклоняется перед твёрдостью их, тот не

может не оплакать ложную линию угодничества, начатую митрополитом Сергием (однако тоже ещё в обстановке, трудно постигаемой), а его последователями продлённую и даже раскатанную по наклонной вниз. Но и им легко ли было освоить, что не от их подписи зависит неуклонимое возрождение Церкви? что, напротив, *отказа* большевикам во всех уступках, они славней и успешней восставили б её?! Это т е п е р ь мы обучились, да и то не все, что людовраждебной силе, впервые вообще узнанной в XX веке и первыми н а м и, в России, недопустимо духовно подчиняться никогда ни на вершок: всегда — гибель. Под этой властью только твёрдостью мы добываем себе простор, либо когда власть вынуждается обстоятельствами; из доброй милости мы никогда ещё не получили ничего. А последние годы таково в нашей стране расположение сил и слабостей, что Московская патриархия могла бы с а м а, одной лишь непреклонностью своею, быть может с потерей нескольких должностей, — от многих пут и унижений решительно рассвободить нашу Церковь. Я и сегодня не смотрю иначе на предмет моего письма Патриарху Пимену в позапрошлом году. К освобождению от лжи кого ж было призвать *первыми*, если не духовных отцов? Однако пересеча государственную границу, я утерял право такое письмо повторить бы сегодня.

Пересеча границу, а прежде того лишь по смутной наслышке что-то знав о разногласиях зарубежных русских Церквей, — *здесь* по-новому изумляешься глубине нашего православного церковного разрознения, а значит глубине того кризиса, в который русская Церковь впала. Т а м — своё горе, з д е с ь — своё.

Правда, мне тоже трудно себе уяснить пути водительства западных епархий московской юрисдикции: как это? — из сочувствия узникам, вместо того чтобы сбивать с них цепи — надевать такие же и на себя? из сочувствия к рабам склонять и свою выю под ярмо? из сочувствия ко лгушим в плену — поддерживать ту ложь на свободе? Если всё это — из преданности материнской Церкви, если все эти жертвы — для единства с ней, то это — ложно понятое единство, извращённая иллюзия, не вызывающая благодарности у меня как прихожанина Церкви пленённой: если они так едины и сочувственны с нами, то отче-

го ж ни движеньем не обороняют нас от нашего гнёта? отчего ж не выскажут внятно о проискливой низости, лживом коварстве всей государственной церковной политики, всех „комитетов по делам Церквей”?

Но чем оправдать несогласия *свободных* зарубежных русских православных Церквей друг с другом? Я смиренно повторяю, с чего я начал эту речь: что я никакой специалист по церковным вопросам; я никогда не изучал каноники; и не могу сейчас вникнуть с подробностями в полувековую уже историю русских Церквей вне пределов родины. Но главные факты этого разрознения знаю, и, мне кажется, каждая из спорящих Церквей имеет немалые канонические основания, и у каждой можно найти в них огрех (как и у самой Московской патриархии с её пресеченной традицией). Прав канонически *безусловных*, безоговорочных не найдётся ни у кого, — а без того и не могла пережить русская Церковь эпоху таких непредвидимых сотрясений. Расчёты всяких строителей предусматривают действия обычных земных сил, а если раскололась сама земля, то нельзя ни упрекать их, ни сетовать на формулы. Я думаю, в т а к у ю эпоху канонические основания вообще должны были отступить на второй план перед духом каждой Церкви и верностью её исповедания. Но ни в подчинении безбожным силам, ни в сотрудничестве с ними, я думаю, никто здесь не обвинит Церковь, пошедшую от митрополита Евлогия, ни Американскую митрополию. И обе они возносят молитвы о страждущей русской Церкви и угнетённом нашем народе. И вместе с тем ни одну из спорящих трёх Церквей нельзя признать божественно безошибочной во всём объёме её деятельности. (Да кто из наших соотечественников за эти 60 лет, на родине или за рубежом, временами не питал иллюзий? не ошибался? не оступался?) Потому никто не обладает такой безусловностью, чтобы другую Церковь отлучить от Церкви единой.

Однако да не прогневается на меня ваш высокий Собор: и новоприбывшему, и невежественному, и слепцу, и юнцу ясно, что разрознение, дошедшее до запрета взаимного литургического и даже бытового общения священников! до отлучения прихожанина за то, что он помолился нашему Богу в *другой* церкви! до *отказа в причастии умирающему* христианину, если он не в точности „наш”! —

сотрясает уже не только единство нашего православия, общую наследственность от Патриарха Тихона, но и саму христианственность нашу: одному ли молимся мы Христу? Тогда все молящиеся ныне по всей Руси — тем более отлучены и даже прокляты? А если нет, не погибли, — почему ж погибли прихожане Церквей „парижской” и Американской?

Прибредя от бедствий и жертв пленённой Церкви — чем же тогда возрадоваться в Церкви свободной? Какая опасность страшней для русского православия: внешний ли гнёт по захвату или внутренний распад по несогласию? О себе скажу: под первым я никогда не терял бодрости, второй привёл меня здесь в уныние. (И только то, может быть, успокаивает, что успел заметить по здешней пастве: она так же мало знает и так же мало отвечает за расхождение иерархов, как и н а щ а т а м .) Как легко понять самоотверженное стояние Зарубежной Церкви против терзателей нашего народа (отчего так настойчиво они силились вас покорить или извести), — так невозможно понять и принять противостояния православных друг другу. Ведь тогда безнадежно всё будущее русского православия?? — если не соединились в объёме малом, при сходном жизненном опыте, — насколько невозможно будет соединиться в объёме всеобщем, при разительном несходстве пережитого?

Вероятно, подробным изучением можно обнаружить много частных, особенных, даже личных, психологических и случайных мелких причин, которые неудачным нанизыванием углубляли и ожесточали начавшийся в Зарубежье раскол. Но, загораживая всякий иной путь к добыче истины, восстаёт перед нами тяжёлый вопрос как воздвигнутый крест, и нет у нас душевного права увильнуть, обмилнуть, не ответить: да в Зарубежье ли, только ли от ненормального эмигрантского положения проявился этот раскол? А не следствие ли он уже давно ослабленного, внутренне подорванного состояния Русской Православной Церкви? и если ослабленного, то к а к д а в н о ?

Моя жизнь уже много лет посвящена исследованию новейшей русской истории, точнее: отчего совершилась уничтожающая революция, как текла она и остались ли пути к спасению России от этой гангрены? В ходе этой рабо-

ты я обнаружил, что со всех сторон произведены извращения, сплетено немало легенд, приукрашивающих свою сторону. И я был бы непоследователен и без надежды узнать истину, если бы, освещая все искажения кряду, для иных сохранил бы щадящее исключение. Горько сказать, но одно из таких исторических искажений — представлять дореволюционную русскую Церковь как пребывающую в благосовершенстве, к которому и нужно снова подняться, всего лишь.

Нет, истина вынуждает меня сказать, что состояние русской Церкви к началу XX века, вековое униженное положение её священства, пригнетённость от государства и слитие с ним, утеря духовной независимости, а потому утеря авторитета в массе образованного класса, и в массе городских рабочих, и — самое страшное — поколебленность этого авторитета даже в массе крестьянства (сколько пословиц, высмеивающих священство, и как мало — в уваженье к нему!), — это состояние русской Церкви *явилось одной из главных причин необратимости революционных событий*. Если бы русская православная Церковь была бы в начале XX века духовно самостоятельна, здорова и мощна, то она имела бы авторитет и силу *остановить гражданскую войну*, властно поднявшись над воюющими сторонами, а не дав себя причислить приложением к одной из них. И здесь нет никакой фантазии: в истинно-православном царстве не может разразиться такая истребительная война.

Увы, состояние русской православной Церкви к моменту революции совершенно не соответствовало глубине духовных опасностей, оскалившихся на весь наш век и на наш народ — первый в этой череде. Живые церковные силы, ведшие к спасительным реформам и к Собору, даваемые самодовольным государственным аппаратом и вязнущие в дремотном благодушии своих сослужителей, — не успели, настолько зримо не успели, что пушки красногвардейцев били по крышам и куполам заседающего Собора.

В этой краткой речи неуместно говорить подробнее о чертах нашей церковной недостойности перед ликом грозного 1917 года (но может быть, судя о недостойности нынешней Московской патриархии, мы внутренне вспомним,

и кое-что сравним, объясним), да присутствующие здесь знают многое и помимо и больше меня, даже из личного опыта некоторые. Но я осмелюсь остановить внимание собравшихся ещё на другом — дальнем, трёхсотлетнем грехе нашей русской Церкви, я осмеливаюсь полнозвучно повторить это слово — г р е х е, ещё чтоб избежать употребить более тяжкое, — грехе, в котором Церковь наша — и весь православный народ! — *никогда не раскаялись*, а значит, грехе, тяготевшем над нами в 17-м году, тяготеющем поныне и, по пониманию нашей веры, могущим быть причиной кары Божьей над нами, неизбытой причиной постигнувших нас бед.

Я имею в виду, конечно, русскую инквизицию: потеснение и разгром устоявшегося древнего благочестия, угнетение и расправу над 12 миллионами наших братьев, единоверцев и соотечественников, жестокие пытки для них, вырывание языков, клещи, дыбы, огонь и смерть, лишение храмов, изгнание за тысячи вёрст и далеко на чужбину — их, никогда не взбунтовавшихся, никогда не поднявших в ответ оружия, стойких верных древле-православных христиан, их, кого я не только не назову раскольниками, но даже и старообрядцами остерегусь, ибо и мы, остальные, тотчас выставимся тогда всего лишь *новообрядцами*. За одно то, что они не имели душевной поворотливости принять поспешные рекомендации сомнительных заезжих греческих патриархов, за одно то, что они сохранили двуперстие, которым крестилась и вся наша Церковь семь столетий, — мы обрекли их на эти гонения, вполне равные тем, какие отдали нам возмestно атеисты в ленинско-сталинские времена, — и никогда не дрогнули наши сердца раскаянием! И сегодня в Сергиевом Посаде при стечении верующих идёт вечная неумолчная служба над мощами преподобного Сергия Радонежского, — но богослужебные книги, по которым молился святой, мы сожгли на смоляных кострах как дьявольские. И это непоправимое гонение — самоуничтожение русского корня, русского духа, русской целостности продолжалось 250 лет (не 60, как сейчас) — и могло ли оно не отжаться ответным ударом всей России и всем нам? За эти столетия иные императоры склонны были прекратить гонения верных подданных — но высшие иерархи православной Церкви нашёптывали и настаи-

вали: гонения продолжать! 250 лет было отпущено нам для раскаяния, — а мы всего только и нашли в своём сердце: *простить гонимых*, простить и м, как мы уничижали их. Но и это был год, напомним, 1905-й — его цифры без объяснения сами горят как вальтасарова надпись на стене.

(За эти же века с неоглядчивой щедростью теряли мы наших православных и по многочисленным сектам, а за советские десятилетия — даже самую чистую, ревностную, бесстрашную молодёжь, — и думаю, не всегда то была вина их своемыслия, а чаще — вина церковной закоренелости, вялости, равнодушия.)

Вот как глубоко, дальне и горькокоренне — наше церковное разрознение, рассеяние и наша собственная вина в том, что постигло Россию. Вот сколько ещё объединений — шагов, ступеней, нагорий объединения — высится перед нами, чтоб могли мы собраться воистину в Единую Русскую Православную Церковь, к которой, наконец, смиляется Бог. Нашу самую древнюю ветвь я наблюдал в богослужениях и беседах менее года назад, в московских храмах, — и я свидетельствую вам о её поразительной стойкости в вере (и против государственного угнетения — много стойче н а с!), и о таком сохранении русского облика, речи и духа, какого уже и сыскать нельзя нигде больше на территории Советского Союза. И то, что видели мои глаза и слышали уши, никогда не даст мне признать всемолимое объединение русской Церкви законченным, пока мы не объединимся во взаимном прощении и с нашей самой исконной ветвью.

Так много ступеней нас ждёт — в высоту братства и любви, а мы и на самой низшей застигнуты в непонятном раздроблении — не веры, не оттенков веры или хотя бы обряда, но каких-то *юрисдикций* — мерзкое слово, которого не только не слышали мы из уст Христа, но представить нельзя на страницах священных книг.

После того как блистательный, неограниченный, ничем не сдержанный материальный *прогресс* привёл всё человечество в удручающий духовный тупик, лишь немного по-разному выраженный на Западе и на Востоке, я не вижу других здоровых путей для всего живого, для наций, для обществ, для всех людских соединений — и уж, конечно,

тем более для Церквей, по самой их природе, — других путей, нежели *признание своих, а не чужих* грехов и ошибок; покаяния в них; движения и развития путём *ограничения* прежде всего самих себя. Этот выход — универсален, и нет оснований предлагать что-либо другое для Русской Православной Церкви — свободной или пленённой, за рубежом или на родине. Грехи столетий и десятилетий — на всех нас, ни у какого церковного течения, церковной организации нет чистоты от них: все мы есть Россия и все мы сделали её такой, какова она сегодня. В духе известных вам моих убеждений Вы не сомневаетесь, конечно, что я отношусь с полным сочувствием к тому неуступчивому стоянию против атеистических насильников, которое вы избрали единожды и выдержали сегодня. Но загадочным образом всякое *стояние*, чтоб удерживать свои позиции неискажёнными, должно *развиваться* во времени. И чуткое развитие взглядов, оценок, практических решений ваших Соборов, поместных и архиерейских, могло бы вероятно сделать вашу деятельность много эффективнее и помочь насущнее общему возрождению Русской Церкви.

Покажется, что я уклонился от первоначально заданного мне вопроса: как и чем может помочь свободная часть русской православной Церкви — её угнетённой части? На самом деле я посильно отвечаю на него.

Не припомню исключений: основные движения, которые решают будущее страны и народа, происходят всегда в метрополии, а не в диаспорах. (Такую плату платят все, избравшие изгнание: ослабляется их влияние на судьбу своей страны.) Итак, ожидаемое и, конечно, произошедшее освобождение и нашей Церкви и нашего народа тоже совершится — в метрополии, процессами внутренними, божественно-неисповедимыми, как всё сложное, не прогнозируемое самыми дальновидными умами. Но и формы, которые отольются или проступят тотчас после освобождения, тем менее доступны нашему прогнозу. Я очень бы предостерёг отдельных заносчивых мечтателей от такого ожидания, что освобождённый православный мир рухнет оземь и будет просить иерархию Зарубежной Церкви прийти и возглавить себя. Не человеческими весами взвесить, кто кого должен тут оказаться достоин



по силе страданий, по силе раскаяния и по силе веры своей.

Чем же можно *отсюда туда* помочь? Показать пример стойкости и непримиримости? — *отсюда туда*? — неубедительно. Единственно правильный путь — это путь к будущему слиянию всех ветвей русской Церкви. Учение, погубившее нашу страну, всё двигалось идеями последовательного разъединения. Поэтому восставить Россию может только объединение её физических и духовных сил. И соотечественники наши, кто находится за рубежом, но не перестаёт ощущать Россию как свою родину, — не ласковую память прошлого, но реальную родину будущего, для своего потомства, — сегодня здесь ничем лучшим не могли бы послужить России, как сохранить в православии сокровище единства, как слить всё русское зарубежное православие в единую стройную дружную молодую Церковь.

Вот почему я осмелюсь сегодня использовать предоставленное мне слово перед Собором для призыва: всем, кто деятель, а не историк, кто хочет целить и помочь, — твёрдо обратиться в *будущее*, а не в прошлое! Тогда отпадут и поблекнут до ничтожества причины, приведшие к неоправданному расколу русского православия за рубежом, и не будут далее искаться виновники того прошлого разделения. Отпадут расхождения недоразуменные, поверхностные, „юрисдикционные”, не относящиеся к исповеданию веры. И если *структурное* объединение невозможно в короткий срок, как я понимаю, — то одним мановеньем, одним манифестом вот вашего Собора сейчас — возможно откинуть и призвать откинуть взаимную враждебность Церквей, декларировать нестеснённость литургического общения православных священников, ежели их Церкви заведомо не служат безбожию. Я призываю вас подумать о той печальной картине, как привидится рядовому русскому православному на родине, когда откроется ему, что, на полной свободе и никем не преследуемое, православие непростительно раскололось.

Решения вашего Собора, увы, не могут определить хода развития и освобождения русской Церкви в метрополии, но они предопределяют величину и полезность вклада и форму вашего будущего влияния на ту и в ту освобождённую Церковь.

Да само мечтаемое освобождение Церкви из-под дик-

тата безбожия — разве единственная и высшая наша задача? Нынешний (он уже долгий, столетний уже) кризис Церкви значительно глубже и тяжесть стоящих задач весомее. Не больше ли предусмотрительной мудрости и душевного мужества надо изыскать для исправления грехов, несправедливостей и ошибок застарелых, давних, сегодня уже не явных, — но каждая из них и все они вместе легли на лик русского Православия искажающими шрамами. Как восстановить Церковь, которая не пригнетёт никого из чад своих? Восстановить Церковь не как отрасль государственного управления, никакой (и самой лучшей) государственной власти духовно не подчинённую и ни с каким партийным направлением не связанную? Церковь, в которой расцветут лучшие замыслы наших несостоявшихся реформ, направленных лишь к возрождению чистоты и свежести первоначального христианства? Церковь, которая станет на ноги не сама для себя, но всей России поможет найти своеобразный своеобычный выход из духоты и темноты сегодняшнего мира?

Формы, которых мы должны достичь, — не восстановленные, не повторённые дореволюционные. Но такой высоты должны быть они явлены и так напоены сокровищем неувядаемого поиска, чтобы привлечь, увлечь, быть может, и Западный мир, охваченный сегодня духовной неутолённостью. Несравненная горечь русского опыта подаёт и такую надежду.

Повторяю и в окончании: я не мню себя призванным к решению церковных вопросов. Но доступно и каждому мирянину выговорить правду так, как она открывается ему, в надежде, что соборный разум и соборное сознание восполнят всё, недостающее ей.

Прошу у ваших архипастырей и пастырей благословения, у всех у вас — молитвы.

*Александр Солженицын*

Август 1974

Штерненберг, нагорье Цюриха

## САХАРОВ И КРИТИКА „ПИСЬМА ВОЖДЯМ”

Ожидая выхода в свет сборника „Из-под глыб”, я весь 1974 год воздерживался от ответов на изобильную критику моего „Письма вождям”: сам адрес „Письма” не допускал достаточно глубокого обоснования моих предложений, оно более обнаружится теперь в моих статьях Сборника. Критика, пришедшая от московской интеллигенции, больше всего, пожалуй, поражала не сама собою, а — холодным игнорированием другого, *одновременно* опубликованного документа и обращённого *прямо* к советской интеллигенции: „Жить не по лжи”. Следовало или не следовало обращаться к советским правителям, „так” или „не так” было им предложено, откажутся или не откажутся они от идеологии, — это не имело решающего и единственного значения: был предложен второй и более верный путь, с *нашей* стороны: отшатнуться от идеологии *н а м*, перестать *н а м* поддерживать это злобное чучело — и оно рухнет помимо воли „вождей”. Странно: этого призыва, обращённого *прямо к н а м*, многословные московские критики моего „Письма” не заметили. По пословице: где просто, тут ангелов *сó-сто*, а где хитро, там ни одного.

Западная критика удивила другим: *непрочтением* „Письма”. Начиная с поспешных и безответственных газетных заголовков, отзывались так, будто речь шла о каком-то другом документе, где предлагалось не самоограничение, а агрессия.

И не пришлось бы мне вовсе отвечать, если бы среди первых же критиков не оказался А. Д. Сахаров, чьё особенное положение в нашей стране и моё к нему глубокое уважение не дают возможность игнорировать его высказывания. Сегодня, уже имея в виду аргументацию сборника „Из-под глыб”, я считаю своим долгом и правом дополнительно кратко ответить Андрею Дмитриевичу.

Я счастлив отметить, что сегодня мы сходимся с ним несравненно по большему числу вопросов, чем это было 6 лет назад, когда мы познакомились в самые месяцы появления его меморандума. (Я хочу надеяться, что ещё через 6 лет область нашего совпадения удвоится.) Пункты нашего согласия уже отмечались в прессе, и среди главных тут (используя сахаровские формулировки): неудача социализма в России не вытекает из специфической „русской традиции“, но из сути социализма; отказ от „социалистического мессианизма“, от явной и тайной поддержки смут во всём мире; „отделение марксизма от государства“; прекращение опеки над Восточной Европой; отказ от насильственного удержания национальных республик; разоружение в широких пределах; освобождение политзаключённых, терпимость в идеологии; укрепление семьи, воспитания, покрытие „потерь во взаимоотношениях людей, в их душах“.

Но есть и очень важные пункты расхождений, в которых нельзя оставить неясности. Главная из них — роль Идеологии в СССР. Сахаров считает, что марксистская идеология почти не имеет влияния и значения: для правителей она лишь „удобный фасад“, а в основе — только жажда власти, ни внешняя, ни внутренняя политика страны якобы вообще не определяются ею, общество „идеологически индифферентно“, лишь „лицемерная болтовня заменяет присягу на верность“.

И этого лицемерия — мало? Да красным электродом прожгло наши души через все 55 лет: через всю оплевательную „самокритику“ 20-х и 30-х годов, публичные отречения от родителей и друзей, издевательски-надрывную „добровольность займов“ (для нищих колхозников!), ликование народов по поводу того, что они оккупированы (день оккупации — национальный праздник!), ликование населения при известиях об арестах и расстрелах, сверхчеловеческую злодейскую твёрдость у палачей и сегодняшнюю обязательную мерзкую ложь, вот эту принудительную „присягу“ — а ею интеллигенция-образованщина, втайне мечтая о свободе, послушно и поддерживает своё рабство. Всего несколько лет назад даже редакция „Нового мира“, не говоря о множестве „передовых“ НИИ, выразила печатный восторг по поводу оккупации Чехосло-

вакии, то есть надругалась над собственной многолетней линией, — и Идеология не имеет значения? Да завтра произойдёт ещё одно такое событие — и снова образованщина подтвердит своё высшее одобрение. Идеология выкручивает наши души как поломошные тряпки, она растлеивает нас, наших детей, опускает нас ниже животного состояния — и она „не имеет значения”? Есть ли что более отвратительное в Советском Союзе? Если *все не верят* и все подчиняются — это указывает не на слабость Идеологии, но на страшную злую силу её.

И той же властной хваткой она ведёт наших правителей — от дореволюционных ленинских „Уроков Коммуны”, что только массовыми расстрелами должна утвердиться пролетарская власть, от одержимо-ненавистного тайного ленинского письма о разгроме Церкви — и через реальное уничтожение *целых классов* и десятков миллионов разрозненных людей (какие властолюбцы для утверждения какой власти когда нуждались в таком стократном запасе прочности?), через коллективизацию, экономически бессмысленную, но заглотное приношение в идеологическую пасть (недавно хорошо показал Агурский: главной целью коллективизации было — сломить душу и древнюю веру народа), — и до избыточного, не нужного нам разлития азиатского коммунизма всё дальше на юг, до растоптания союзного чешского народа — не по государственным соображениям, а всего только из-за идеологической трещины. И сегодня правители, отравленные ядом этой Идеологии, неотвратимо шутовски твердят по шпаргалкам, хотя б сами не верили в то (пусть понимая только *власть* — но и они рабы Идеологии), и безумно стремятся поджечь весь мир и захватить его, хотя это погубит и сокрушит их самих, хотя покойней было б им сидеть на захваченном, — но так гонит их Идеология! Вся внутренняя ложь и вся внешняя экспансия, и оправдание войн и убийств („прогрессивные” убийства при классово-оправданных обстоятельствах целесообразны!), оправдание страшных войн — всё на этой Идеологии. И на её почти мистическом влиянии — полувековая восхищённая завороченность Запада, его приветствия нашим зверствам: никогда перед кучкой простых властолюбцев так бы не ослеп весь просвещённый мир.

Марксистская Идеология — зловонный корень сегодняшней советской жизни, и только очистясь от него мы можем начать возвращаться к человечеству.

Второе заметное расхождение между Сахаровым и мной: допустимость и реальность какого-нибудь иного пути развития нашей страны, кроме внезапного (и необъяснимо откуда) наступления полной демократии. Теоретические соображения об этом теперь можно найти в моей первой статье (дополнение 1973 года) сборника „Из-под глыб”. Практическое обозрение истории и перспектив демократии в России требует отдельного рассмотрения на историческом материале. Как и во многих местах, мне фальшиво приписано вместо сомнений о внезапном введении демократии в сегодняшнем СССР — полное отвращение к демократии вообще. Я обратил бы внимание читателей снова на М. Агурского, кто в отзыве (Вестник РХД, № 112) на „Письмо вождям” ответственно пишет о величайшей опасности *межнациональных войн*, которые затопят кровью рождение у нас демократии, если оно произойдёт в отсутствие сильной власти. Межнациональные противоречия в итоге советской системы — десятикратно накалённое, чем были в прежней России. Этому вопросу в нашем Сборнике посвящена одна из статей И. Шафаревича. А происхождение тоталитаризма отнюдь не из авторитарных систем, существовавших веками и никогда не дававших тоталитаризма, но — из кризиса демократии, из краха безрелигиозного гуманизма, прослежено ещё в одной статье нашего Сборника.

Наконец, существенное непонимание возникает между нами тогда, когда Сахаров к моему удивлению обвиняет меня в „великорусском национализме”, и даже слово „патриотизм” относит к „арсеналу официозной пропаганды” (как и „православие” „настораживает его” — оттого, что „Сталин допускал прирученное православие” — то есть *угнетал* его по своей программе). Меня, когда я предлагаю никого не угнетать, всех освободить, сосредоточиться на внутреннем лечении народных ран, — назвать националистом? Какое ж слово тогда для завоевателя? Можно было бы искать разгадку во всеобщей путанице терминов: империализм, нетерпимый шовинизм, надменный национализм и скромный патриотизм (любовь-слу-

жение своей нации и стране с откровенным раскаянием в её грехах, под это определение подходит и сам Сахаров). Но кто хорошо знает нынешнюю обстановку в советской общественной среде, тот согласится, что дело — не в путанице терминов, а в исключительной накалённости чувств. Когда в нобелевской лекции я сказал в самом общем виде:

„Нации — это богатство человечества, это — обобщённые личности его, самая малая из них несёт свои особые краски, таит в себе особую грань Божьего замысла”, —

это было воспринято всеобще-одобрительно: всем приятный общий реверанс. Но едва я сделал вывод, что это относится *также* и к русскому народу, что *также и он* имеет право на национальное самосознание, на национальное возрождение после жесточайшей духовной болезни, — это было с яростью объявлено великодержавным национализмом. Такова горячность — не лично Сахарова, но широкого слоя в образованном классе, чьим выразителем он невольно стал. За русскими не предполагается возможности любить свой народ, не ненавидя других. Нам, русским, запрещено заикаться не только о национальном возрождении, но даже — о „национальном самосознании”, даже оно объявляется опасной гидрой.

Теперь, когда вышел Сборник, я могу сослаться на высокую нравственную аргументацию В. Борисова, напоминающего нам о нации-личности в личностной иерархии христианского космоса, о том, что не историей создаются нации, но нации создают историю, на долгой жизни своей, то в свете, то во тьме, ища, как предельно-полно выразить свою личность. И подавление этой личности — величайший грех. (Для меня, как для писателя, тут ещё трепещет судьба языка: если подавлять национальное самосознание, то ведь надо и язык убивать как свидетеля национальной души? Да такое убийство русского языка и происходит уже десятилетиями в СССР.) Другой мой соавтор, М. Агурский, которого никак не обвинишь в пристрастии, указал недавно, что нынешний „национализм” большой нации есть её самозащита от собственной экспансии, которая истощает и приводит к вырождению прежде всего её самою.

Да, сегодня русский порыв к национальному самосознанию — есть оборонительный вопль тонущего народа. Не смотрите на внешние успехи государственной силы: как нация мы, русские, находимся в пучине гибели и ищем — есть ли ещё за что уцепиться и выбраться.

Особенно задело Сахарова и оскорбило единомыслящих с ним читателей мое выражение в „Письме”: „несравненные страдания, перенесенные русским и украинским народами”. Я рад был бы, чтоб это выражение не имело оснований. Однако я хочу напомнить А. Д., что „ужасы Гражданской войны” далеко не „в равной степени” ударили по всем нациям, а именно по русской и украинской главным образом, это в их теле бушевала революция и сознательно-направленный большевистский террор: большинство нынешних республик были в отпавшем состоянии, а остальные малые народы до поры щадились и поддерживались по тактике коммунизма, использовались против главного массива. Под видом уничтожения дворянства, духовенства и купечества уничтожались более всего русские и украинцы. Это их деревни более всего испытывали разорение и террор от продотрядов (большей частью инородных по составу). Это на их территории было подавлено более 100 крупных крестьянских восстаний, в том числе обширные Тамбовское и Сибирское. Это они умирали в великие искусственные большевистские голоды 1921 на Волге и 1931-1932 на Украине. Это в основном их загнали толпою в 10-15 миллионов умирать в тайгу под видом „раскулачивания”. (Как и сейчас нет деревни беднее русской.) А уж русская культура была подавлена прежде и вернее всех: вся старая интеллигенция перестала существовать, эпидемия переименований катилась, как при оккупации, в печати позволено было глумиться и над русским фольклором, и над искусством Палеха, и от ленинской „шовинистической великорусской швали” родилась дальше волна беспрепятственных издевательств: „русопятство” считалось литературно-изысканным термином, Россия печатно объявлялась призраком, трупом, и ликовали поэты:

„Мы расстреляли толстозадую бабу Россию,  
Чтобы по телу её пришёл Коммунизм-мессия”.



(Если нужны библиографические уточнения, я их представлю публично.) И так выжило лет 15 — и никто нигде ни у нас, ни за границей не предположил и не обмолвился, что в Советском Союзе существует какое-либо „национальное угнетение”. И лишь с конца 30-х годов, когда два наибольших народа были уже убиты и по социалистической переменчивой тактике (прекрасно вскрытой теперь И. Шафаревичем) пришло время перенести давление на малые народы, — только с этих пор услышали мы о национальном угнетении в СССР, что тоже совершенно верно.

Я не буду входить во второстепенные наши расхождения с А. Д. Сахаровым: о том, можно ли так верить в „научное и демократическое регулирование экономики”, как верит он, но какое не осуществилось ещё даже в Европейском сообществе; в конвергенцию; в предпочтительную важность эмиграции перед всеми видами других прав остающегося населения; в расцвет России через приток иностранных капиталов (будто они будут искать нашего расцвета, а не своей короткой быстрой выгоды с пренебрежением к нашей природе). Я не буду возвращать ему упреков в утопичности; в нашем беспомощном положении как не попытать порой и утопию?

Но нельзя не удивиться, что А. Д. Сахаров, севши мне отвечать, допустил большую небрежность в истолковании моей точки зрения. Он приписывает моему проекту: „замедление международных научных связей”, „идеологический изоляционизм”, „стремление отгородить нашу страну от торговли... от обмена людьми и идеями”, „общинную организацию производства”, „отдать ресурсы государства и результаты научных исследований... энтузиастам национально-религиозной идеи и создать им высокие доходы...” и т. д. Всякий, кто потрудится ещё раз перечитать моё „Письмо”, убедится, что ничего подобного там нет.

Эта горячность и опрометчивость пера, не свойственная Сахарову, выразила горячность и поспешность того слоя, который без гнева не может слышать слов „русское национальное возрождение”.

В нынешнем Сборнике разъяснено, как мы это возрождение понимаем: пройти свой путь раскаяния, само-

ограничения и внутреннего развития, внести свой вклад в добрые отношения между народами, без которых никакая „прагматическая дипломатия” и никакие ООНовские голосования не спасут человечество от гибели.

18 ноября 1974

## СЛОВО НА НОБЕЛЕВСКОЙ ЦЕРЕМОНИИ

Стокгольм, 10 декабря 1974

Ваше Величество! Ваши королевские Высочества!  
Дамы и господа!

Много лауреатов выступало перед вами в этом зале, но, наверно, ни с кем не досталось Шведской Академии и Нобелевскому Фонду столько хлопот, сколько со мной. Один раз я уже здесь был, хотя и не во плоти; и один раз досточтимый Карл Рагнар Гиров уже направлялся ко мне; и вот, наконец, я приехал не в свою очередь занимать лишний стул. Четырём годам надо было пройти, чтобы дать мне слово на три минуты, а секретарь Академии вынужден обращаться к тому же писателю вот уже с третьей речью.

И потому я должен просить извинения, что так много забот доставил всем вам, и особо благодарить за ту церемонию 1970 года, когда ваш покойный король и вы все тепло приветствовали здесь пустое кресло.

Но согласитесь, что и лауреату это тоже не так просто: четыре года носить в себе трёхминутную речь. Когда я собирался ехать к вам впервые, не хватало никакого объёма в груди, никаких листов бумаги для того, чтобы высказаться на первой свободной трибуне моей жизни. Для писателя подневольной страны первая же трибуна и первая речь есть речь обо всём на свете, о всех болях своей страны, — и при этом простительно забыть цель церемонии, состав собравшихся и влить горечь в стаканы торжества. Но с того года, не поехав сюда, я научился и у себя в стране говорить открыто почти всё, что я думаю. А изгнанием оказавшись на Западе, тем более я приобрёл эту нестеснённую возможность говорить сколько угодно, где угод-

но, чем здесь и не дорожат. И нет мне уже необходимости перегружать это короткое слово, к тому ж и в обстановке, совсем для того не подходящей.

Нахожу однако и особое преимущество в том, чтобы ответить на присуждение Нобелевской премии лишь через несколько лет. Например, за 4 года можно испытать, какую роль уже сыграла эта премия в твоей жизни. В моей — очень большую. Она помогла мне не быть задавленному в жестоких преследованиях. Она помогла моему голосу быть услышанному там, где моих предшественников не слышали и не понимали десятилетиями. Она помогла произвести вовне меня такое, чего б я не осилил без неё.

Со мной Шведская Академия совершила одно из исключений, довольно редких: присудила мне премию в среднем возрасте, а по моей открытой литературной деятельности — даже во младенческом, всего на 8-м году её. Для Академии тут крылся большой риск: ведь тогда была опубликована лишь малая часть написанных мною книг.

А может быть лучшая задача всякой литературной и научной премии именно — содействовать движению на самом пути.

И я приношу Шведской Академии мою сердечную признательность за то, что она своим выбором 1970 года чрезвычайно поддержала мою писательскую работу. Осмелюсь поблагодарить её и от той обширной неказённой России, которой запрещено выражать себя вслух, которую преследуют и за написание книг и даже за чтение их. Академия выслушала много упрёков за это своё решение — будто такая премия служила политическим интересам. Но то выкрикивали хриплые глотки, которые никаких других интересов и не знают.

Мы же с вами знаем, что работа художника не укладывается в убогой политической плоскости, как и вся наша жизнь в ней не лежит и как не держать бы нам в ней наше общественное сознание.

## ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ?..

После того как Первой Мировой войне наследовала Вторая, — у кого не возникало в уме и на устах, над кем не нависало: а не вспыхнет ли ещё и Третья?.. И сколько уступлено, сколько пожертвовано, чтоб отклонить, удалить, избежать её!

Но многие ли заметили, имеют мужество признать, что Третья Мировая война уже пришла, и уже почти прошла, вот кончается в этом году, — и уже проиграна свободным миром катастрофически?

Третья Мировая война началась немедленно за Второй, даже перекрывая её конец, она началась в 1945 году в Ялте под расслабленными перьями и ложными идеями Рузвельта и Черчилля, спешивших начать победу с уступок — Эстонии, Латвии, Литвы, Молдавии, Монголии, миллионов советских граждан, насильственно возвращаемых на смерть и в лагеря, созданием недееспособной Организации Объединённых Наций, отдачей во власть безграничного насилия — Югославии, Албании, Румынии, Болгарии, Польши, Венгрии, Чехословакии, Восточной Германии. Третью Мировую потому не узнали, что она вошла в мир не как прежние — не с посылки громогласных разрывных нот, не с налётов тысяч бомбардировщиков, — она вступила в мир вкрадчивой невидимкой, она ввинтилась в его рыхлое тело под псевдонимами — то демократических преобразований при 100%-ном единодушии народа; то холодной войны; то мирного сосуществования; то — стабилизации положения; то — признания реальностей; то — разрядки; то — торговли (к усилению наступающего противника). В попытке любой ценой избежать Третьей Мировой войны — Запад *именно ёе* и впустил в мир, дал покорить, разорить два десятка стран и совершенно изменить вид Земли.

Когда теперь мы оглядываемся на эти 30 лет, — мы видим их как долгий извилистый спуск — только спуск,

только вниз, только к ослаблению и упадку. Могущественные западные державы, победительницы в двух первых мировых войнах, в этот *мирный* 30-летний период только ослаблялись, только теряли союзников — реальных или возможных, роняли их уважение к себе, только отдавали беспощадному врагу — территории, население, великий многолюдный Китай — своего крупнейшего союзника во Второй Мировой войне, Северную Корею, Кубу, Северный Вьетнам, теперь и Южный, теперь и Камбоджу, вот на грани Лаос, Таиланд, Южная Корея, Израиль, в ту же пропасть уносится Португалия, бессильно ждут своей участи Финляндия, Австрия, не способные защищать себя и справедливо не надеясь на защиту со стороны. Уж не перечислить тут мелких стран Африки или Аравии, ставших марионетками коммунизма, и многих других, даже европейских, спешащих угодливым заискиванием продлить своё существование. И ООН, не только не удавшаяся, но самая дурная демократия Земли, игрушка безответственных сил, стала эстрадой для высмеивания Запада, отразила в себе это крутое падение мощи его.

Итак, если державы-победительницы превратились в держав побеждённых, отдавших в сумме столько стран и столько населения, сколько не отдавалось ни в одной капитуляции, ни в одной войне человеческой истории, — то не метафора сказать: Третья Мировая война — уже была — и закончилась поражением Запада.

Сегодня, когда расстрелом тысяч и тысяч, пленением миллионов и созданием новых необъятных концлагерей трагически кончается вьетнамская, самая видимая и самая долгая битва этой войны, не так легко вспомнить, вообще устаивал ли Запад когда-нибудь где-нибудь за эти 30 лет? Оказывается — да, три давних случая было таких: Греция в 1947, Западный Берлин в 1949 и Южная Корея в 1950. Эти случаи внушали веру и надежду в Запад. Но прочтите все эти три названия сегодня: какое из этих мест имеет реальную силу выстоять дальше против порабощения? Кто защитит их в момент угрозы? какой сенат ратифицирует посылку им оружия и помощи? кто не предпочтёт своё спокойствие их свободе? Существует ли ещё Атлантический пакт, уже почти потерявший 4 страны? Когда отважный Израиль насмерть защищался вкруговую —

Европа капитулировала поодиночке перед угрозой сократить воскресные автомобильные прогулки.

Ещё два-три таких славных десятилетия мирного существования — и понятия „Запад” не останется на Земле.

Третья Мировая война вонзилась в самое податливое место Запада: в то свойство человеческой природы, что при благополучии хочется продолжать его любым самообманом и уступками. От этого и радость подписать всякое новое соглашение (как будто хоть одно выполнялось Советским Союзом дольше, чем оно было ему выгодным). Вот скоро на „конференции 35” страны Западной Европы охотно увековечат рабство своих восточных сестёр — и будут мнить, что укрепили мир.

Я описал положение так, как оно ясно видится любому среднему человеку Востока, от Познани до Кантона. Но ещё много мужества надо западному сердцу, но ещё много напряжения надо западному взгляду, чтобы увидеть и признать это такое ясное: методическое неуклонное победное разлитие насилия и крови из одного центра по всему земному шару вот уже скоро 60 лет. Пройтись по карте и увидеть те следующие страны, которые намечены в жертву.

Конечно, никто не может требовать от Запада защищать Малайю, Индонезию, Тайвань или Филиппины, и даже никто не смеет упрекнуть его за отказ. Но те юноши, которые отказались переносить тяготы и страхи далёкой вьетнамской войны, — быть может, ещё не выйдя из боевого возраста, лягут — ещё они, даже не их сыновья, — лягут за саму Америку, но уже поздно и бесполезно.

Опоздано спрашивать: как избежать Третьей Мировой войны? Надо найти трезвость и мужество остановить Четвёртую. Остановить, а не валиться на колени.

28 апреля 1975

## РЕЧЬ В ВАШИНГТОНЕ

30 июня 1975

перед представителями профсоюзов АФТ — КПП \*

Большинство присутствующих здесь сегодня — люди труда, созидательного труда, и сам я, проработавши в жизни немало лет каменщиком, литейщиком, чернорабочим, и от имени всех тех, кто делил со мною подневольный труд, как эти два бывших заключённых ГУЛАГа, которых сейчас вы видели \*\*... и от тех, кто сегодня работает в нашей стране в угнетённом состоянии... — я могу начать сегодняшнюю речь обращением: Братья! Братья по труду!

Не забывая и многочисленных почётных гостей, присутствующих здесь, добавим: дамы и господа!..

„Пролетарии всех стран — соединяйтесь!“ — этот лозунг кто из вас (*аплодисменты*) ... кто из нас не слышал этого лозунга, который звучит над землёй уже сто двадцать пять лет... И сегодня вы можете найти его на любой советской брошюре и на каждом номере газеты „Правда“. Но никогда руководители коммунистической революции в Советском Союзе не применили этих слов искренне и в полном их смысле. Когда нарастает за десятилетия много лжи, то мы уже забываем ту коренную, основную ложь, которая не на листьях дерева, а у корней его. Сейчас почти невозможно уже вспомнить и поверить... Я недавно специально опубликовал, снова переиздал брошюру тысяча девятьсот восемнадцатого года. Это подробная запись собрания всех представителей петроградских заводов и фабрик, того самого города, который у нас называют колыбелью революции. Повторяю, это был март 1918 года.

---

\* Американская Федерация Труда — Конгресс Производственных Профсоюзов

\*\* Александр Долган и Симас Кудирка



Прошло всего четыре месяца после октябрьской революции — и все представители петроградских фабрик и заводов проклинают коммунистов, которые обманули их во всех обещаниях. И более того — не только оставили в холоде и голоде Петрограда, сами убежав из Петрограда в Москву, но расстреливали из пулемётов рабочие толпы на заводских дворах, которые требовали выбора независимых фабрично-заводских комитетов. Я напоминаю — это был март восемнадцатого года. Сейчас уже редко кто может восстановить в памяти: и колпинский расстрел 1918 года, и подавление петроградских забастовок рабочих в 1921 году... Среди того руководства, среди ЦК, руководившего коммунистической партией в начале революции, все были интеллигенты-иммигранты, приехавшие на уже происходящие в России волнения производить коммунистическую революцию. Один из них был настоящий рабочий — токарь высокого разряда до последнего дня своей жизни... Это был Александр Шляпников. Кто знает сейчас это имя? Именно потому, что он был выразителем истинных рабочих интересов в коммунистическом руководстве... Годы перед революцией, там, в России, он руководил всей коммунистической партией, руководил именно Шляпников, а не Ленин, который был в эмиграции. В двадцать первом году он возглавил рабочую оппозицию, которая доказывала, что коммунистическая верхушка изменила, предала рабочие интересы, попирает пролетариат, угнетает пролетариат и переродилась в бюрократию. Шляпников исчез и канул. Он был арестован потом, позже, а так как он держался стойко — расстрелян в тюрьме, и имя его может быть многим сегодня здесь даже неизвестно. А я напоминаю: перед революцией во главе коммунистической партии России — стоял Шляпников, а не Ленин.

С тех пор рабочий класс никогда уже не мог отстоять своих прав. И в отличие от всех стран Запада наш рабочий класс получает только подачки. Он не может защитить самых простых своих бытовых интересов, и малейшая забастовка, по поводу зарплаты или бытовых условий, рассматривается как контрреволюция. Благодаря закрытости советской системы вы никогда не слышали, вероятно, ни о текстильной забастовке в 1930 году в городе Иванове, ни о рабочих волнениях в 1961 году в городах Алек-

сандрове, Муроме. Ни о крупном рабочем восстании в Новочеркасске в 1962 году, то есть уже в хрущёвские времена, после всех „оттепелей“. Об этой истории будет подробно скоро напечатано в вашей стране, в моей книге „Архипелаг ГУЛАГ“, том третий. Это была история, когда рабочие пошли мирной демонстрацией к горкому партии с портретами Ленина, прося изменить экономические условия. По ним открыли пулемётный и автоматный огонь, и танками разгоняли толпу, и даже своих раненых и убитых никакая семья не смела взять: их всех тайным образом убрали...

Именно присутствующим здесь мне не надо объяснять, что в нашей стране после революции никогда не было и не существует свободных профсоюзов. Вольно руководителям британских тред-юнионов играть в эту недостойную игру: ехать делать визиты воображаемым профсоюзам и... напарываться на встречные визиты. Но Американская Федерация Труда — Конгресс Производственных Профсоюзов никогда не поддавались этим иллюзиям, никогда (*англ.*) ... американское рабочее движение никогда не давало себя ослепить и принять рабство за свободу. И я сегодня от всех наших угнетённых благодарю вас!.. (*англ.*) Когда мудрецы и либеральные мыслители Запада, забывшие значение слова „либерти“, клялись тут на Западе, что в Советском Союзе никаких концентрационных лагерей вообще не существует, — Американская Федерация Труда опубликовала в 1947 году карту, карту наших лагерей. И от всех заключённых того времени я благодарю ваше американское движение! (*англ.*)

Но подобно тому, как мы ощущаем себя с вами союзниками, существует и другой союз... Это союз наших коммунистических вождей и ваших капиталистов (*англ.*) ... Этот союз не новый. Ныне здравствующий и очень прославленный Арманд Хаммер положил начало, сделал первую разведку ещё при Ленине, в самые первые годы революции. Разведка оказалась чрезвычайно успешной, и с тех пор — все эти пятьдесят лет — мы наблюдаем непрерывную, постоянную поддержку со стороны бизнесменов Запада, они помогли советским коммунистическим вождям, их неуклюжей, нелепой экономике, которая не могла бы никогда справиться сама со своими трудностями, непре-

рывно помогали материалами и технологией. Крупнейшие стройки первой пятилетки были созданы исключительно при помощи американской технологии и американских материалов. И сам Сталин признавал, что две трети всего необходимого было получено с Запада. И если сегодня Советский Союз имеет могучие военные и полицейские силы, при стране по современным меркам нищей, — эти силы он имеет для подавления нашего свободного движения в Советском Союзе, — то мы также должны благодарить, но в этот раз должны благодарить западный капитал.

Я напому недавний случай. Некоторые из вас читали в газетах, а другие могли пропустить. Инициативой ваших бизнесменов была устроена в Москве выставка криминологической техники, то есть новейшую, самую новейшую тонкую технику, которая предназначена у вас для ловли преступников, для подслушивания, подсматривания, фотографирования, отслеживания, опознания преступников, они повезли в Москву (*англ.*) ... они повезли в Москву на выставку и поставили, чтобы советские кагебисты могли изучать... Будто бы не понимая, каких преступников, кого будет ловить КГБ. Советское правительство чрезвычайно заинтересовалось этой техникой и решило купить её, и ваши бизнесмены охотно стали продавать. И только когда здесь отдельные трезвые голоса подняли шум, — остановили эту сделку, продажа не состоялась только таким образом. Но надо знать ловкость КГБ: не то что две-три недели надо было стоять этой технике в советских помещениях, под советской охраной, достаточно было двух-трёх ночей, чтобы кагебисты там уже рассмотрели и перекопировали... И если сегодня идёт у нас ловля людей с самой лучшей, с самой совершенной техникой, то я сегодня тоже могу поблагодарить ваших капиталистов!

Это то, что почти непонятно человеческому уму: та сжигающая жажда наживы, которая теряет всякие границы разума, всякие пределы самоограничения, всякую совесть, только бы получить деньги (*англ.*) ... И я должен сказать, что Ленин предсказывал это всё. Ленин, который большую часть жизни прожил на Западе, а не в России, вообще Запад знал лучше, чем Россию, — он всегда писал и

говорил, что западные капиталисты сделают всё, чтобы укрепить экономику СССР. Они будут соревноваться друг с другом, чтобы продать нам дешевле, продать быстрее, чтобы Советы купили именно у этого, а не у того. Он говорил: они всё нам сами принесут, не представляя себе своего будущего. И в тяжёлые минуты, на партийном съезде в Москве, он сказал так: „Товарищи, не паникуйте, когда нам будет очень плохо, мы дадим буржуазии верёвку, и она сама удавит себя.” И тогда Карл Радек, может знаете, был такой находчивый остряк, сказал: „Владимир Ильич, ну откуда же мы наберём столько верёвки, чтобы вся буржуазия удавилась?” И Ленин без затруднения ответил: „А сама буржуазия нам её и продаст...” (апл.)... Десятилетиями — двадцатые, тридцатые, сороковые, пятидесятые годы, вся советская печать писала: „Западный капитализм — тебе конец! Мы тебя уничтожим!” Но капиталисты как не слышали: они не могут понять, они поверить этому не могут. Никита Хрущёв приехал сюда и сказал: „мы вас похороним!” — они не поверили, они приняли это за шутку. Сейчас, конечно, у нас там стали умней, сейчас не говорят — мы вас похороним, сейчас говорят: „разрядка”... (апл.)... Ничто не изменилось в коммунистической идеологии, и цели остались те же, но вместо простодушного Хрущёва, который не умел держать язык за зубами, теперь говорят „разрядка”.

Для того чтобы понять этот вопрос, я разрешу себе сделать маленький исторический обзор — истории подобных отношений, которые назывались в разные периоды то торговлей, то стабилизацией положения, то признанием реальности, то вот разрядкой. Эти отношения имеют историю по крайней мере сорок лет. Я хочу напомнить вам, с какой системой они начались. Вот с какой. Это была система, которая:

- пришла к власти путём вооружённого переворота;
- разогнала Учредительное Собрание;
- капитулировала перед Германией — общим тогда противником;
- ввела бессудную расправу, ЧК, расправу без всякого суда;
- давила рабочие забастовки;
- невыносимо грабила деревню до мужицких восста-

ний, а когда происходили мужицкие восстания — давила их кроваво;

- разгромила Церковь;

- довела до бездны голода двадцать губерний страны.

Это — знаменитый Волжский голод 1921 года. Очень типичный коммунистический приём: добиваться власти, мало считаясь с тем, что падают производительные силы, что не засеваются поля, что стоят заводы, что страна опускается в голод, в нищету, — а когда наступает голод и нищета, то просить гуманистический мир помочь накормить эту страну. Мы сегодня видим так в Северном Вьетнаме, вот уже в Португалии к тому идёт, и так же было в России в 1921 году. Когда трёхлетней гражданской войной, начатой коммунистами (это был лозунг коммунистов — „гражданская война”, это была цель Ленина — гражданская война, читайте Ленина — это была его задача и лозунг), когда разорили Россию гражданской войной, — попросили Америку: „Америка, накорми наших голодных!” — и, действительно, щедрая, великодушная Америка накормила наших голодных. Была создана так называемая АРА — Американская Администрация помощи, её возглавил тогда будущий... теперь уже покойный ваш президент Гувер. И, действительно, много миллионов русских жизней спасла эта ваша организация. Но какую благодарность вы получили? В СССР не только постарались из народной памяти изгладить всё это, почти невозможно теперь в советской печати найти воспоминания, что была такая АРА. Но стали обвинять, что это была хитрая шпионская организация, мол это был хитрый замысел американского империализма, чтобы опутать Россию шпионской сетью.

Я повторяю, продолжаю:

- это была система, которая ввела первые в мире концентрационные лагеря;

- это была система, которая в XX веке первая ввела систему заложников, то есть брать не того, кого преследуют, а брать его семью или просто брать приблизительно кого-нибудь и расстреливать их.

Эта система заложников и преследования семей существует и сегодня, она и сегодня является самым сильным орудием преследования, потому что самые смелые

люди, которые не боятся за себя, могут дрогнуть от угрозы своей семье.

— Это была система, которая первая ввела, до Гитлера, задолго до Гитлера, фальшивые объявления о регистрации, то есть вот такие-то, такие-то должны явиться на регистрацию. Они приходят регистрироваться, а их уводят на уничтожение. У нас тогда не было, по технике, газовых камер, у нас применялись баржи, а баржи набивали по сотне, по тысяче людей и топили их;

— это была система, которая обманула трудящихся во всех своих декретах: декрете о земле, декрете о мире, декрете о заводах, декрете о свободе печати;

-- это была система, которая уничтожила все остальные партии. Я прошу вас понять: она уничтожила не просто партии, не распустила их, но членов уничтожила, всех членов партий уничтожила других, вот так она их уничтожила;

— это была система, которая провела геноцид крестьянства: пятнадцать миллионов крестьян было отослано на уничтожение;

— система, которая ввела крепостное право, так называемый „паспортный режим”;

— это была система, которая в мирное время на Украине искусственно вызвала голод. Шесть миллионов человек умерло от голода на Украине в 32-м-33-м году на самом краю Европы! В Европе умерло, и Европа не заметила, и мир не заметил... шесть миллионов человек!

Я мог бы продолжать это перечисление, однако я должен остановиться. Я останавливаюсь, потому что я дошёл до 1933 года. Это был тот самый год, вот со всем этим итогом, со всем, что я перечислил, когда ваш президент Рузвельт и ваш конгресс сочли эту систему достойной дипломатического признания, дружбы и помощи. Я напому, что великий Вашингтон не согласился на признание французского Конвента из-за его зверств. Я напому, что и в 1933 году в вашей стране раздавались голоса, возражающие против признания Советского Союза. Однако, признание состоялось, и тем было положено начало и дружбе, и, вскоре, военному союзу.

Вспомним, что в 1904 году США, американская прес-

са ликовала японским победам и все желали поражения России за то, что Россия консервативная страна. Напомню, что в 1914 году раздавались упрёки Франции и Англии, как могли они вступить в союз с такой консервативной страной как Россия.

Размеры и направление моей речи сегодня не разрешают мне что-либо ещё говорить о прошлой России. Я только скажу, что информация о дореволюционной России получена Западом из рук или недостаточно компетентных или недостаточно добросовестных. И я только приведу для сравнения ряд цифр. Вот эти цифры. По подсчётам специалистов, по самой точной объективной статистике, в дореволюционной России, за 80 лет до революции, — это были годы революционного движения, покушения на царя, убийства царя, революции, — за эти годы было казнено по 17 человек в год. Знаменитая инквизиция, в расцвет своих казней, в те десятилетия, уничтожала по 10 человек в месяц. Я цитирую книгу, изданную самой ЧК в 1920 году. За 1918 и 1919 год они с гордостью отчитываются о своей революционной работе. Они извиняются, что данные у них не совсем полные, но вот они: в 1918 и 1919 годах ЧК расстреливало без суда больше тысячи человек в месяц! Это писало само ЧК, когда оно ещё не понимало, как это будет выглядеть в истории. А в расцвет сталинского террора в 1937–38 году, если мы разделим число расстрелянных на число месяцев, мы получим более 40 000 расстрелянных в месяц!!! Вот эти цифры: 17 человек в год, больше 1000 в месяц и более 40 000 в месяц! Вот такросло то, что делало трудным для демократического Запада союз с прежней Россией.

И с этой страной, с этим Советским Союзом в 1941 году вся объединённая демократия мира: Англия, Франция, Соединённые Штаты, Канада, Австралия и другие мелкие страны, — вступили в военный союз.

Как это объяснить? Как можно это понять?..

Здесь можно выдвинуть несколько объяснений. Я думаю, первое объяснение можно сделать такое: что, значит, вся соединённая демократия Земли оказалась слабой против одной Германии Гитлера. Если это так, то это страшный знак. Это ужасное предзнаменование для сегодняшнего дня. Если все эти страны вместе не могли справиться с

маленькой Германией Гитлера, что же они будут делать теперь, когда больше половины земного шара залито тоталитаризмом?

Я не хочу признать этого объяснения. Но, может быть, тогда второе объяснение: что это просто была паника, страх государственных деятелей? Они просто не имели веры в себя, они просто не имели силы духа, и в этой растерянности пошли на союз с советским тоталитаризмом? Тоже не лестно для Запада. Или, наконец, третье объяснение: что это был замысел, демократия не хотела защищаться сама, она хотела защититься руками другого тоталитаризма, советского. Я не говорю сейчас о нравственной оценке этого, об этом — позже. Но в плоскости простого расчёта, какая это недалёкость! какой это глубокий самообман! У нас есть такая русская пословица: „Волка на собак в помощь не зови”: если собаки на тебя напали и рвут — бей собак! Бей собак, а волка не зови! (англ.) Потому что когда придут волки, они собак слопают или прогонят, но они съедят и тебя.

Мировая демократия могла разбить один тоталитаризм за другим — и германский, и советский. Вместо этого она укрепила советский тоталитаризм и позволила родиться третьему тоталитаризму — китайскому. И вот это всё развилось в сегодняшнюю мировую ситуацию.

Рузвельт в Тегеране в одном из последних своих тостов так и произнёс: „Я не сомневаюсь, что мы трое (то есть Рузвельт, Черчилль и Сталин), мы ведём свои народы в согласии с их желаниями и с их целями...”. Как это объяснить? — пусть занимаются этим историки. Мы тогда слушали и поражались. Мы думали, что вот мы дойдём до Европы, мы встретимся с американцами и мы им расскажем. Я был в тех войсках, которые прямо шли на Эльбу. Ещё немного и я должен был быть на Эльбе и позвать руку вашим американским солдатам. Меня взяли незадолго до этого в тюрьму. Тогда встреча не состоялась. Вот теперь, с таким большим опозданием, опять той же самой рукой меня бросили сюда. И я пришёл сейчас сюда, вместо той встречи на Эльбе (англ.)... с опозданием в 30 лет... Для меня сегодня здесь — Эльба... чтобы сказать вам сегодня, как друг Америки, сказать то, что мы, как друзья Америки, хотели сказать тогда, но что



и нашим солдатам помешали, впрочем, сказать на Эльбе.

Есть ещё одна пословица русская: недруг поддакивает, а друг спорит. Именно потому, что я друг Америки, именно потому, что дружеские чувства вызывают эту речь (апл.)... я и пришёл сказать вам: друзья мои, я не буду говорить сладких слов. Положение в мире не просто опасное, положение в мире не просто угрожаемое, положение в мире ка-та-стро-фическое (апл.).

Произошло нечто непонятное простому человеческому уму. Во всяком случае мы там, мы там, бессильные, средние советские люди, мы не могли понять год за годом и десятилетие за десятилетием, — что происходит? Как это объяснить? Англия, Франция, Соединённые Штаты — державы-победительницы во Второй мировой войне. Всегда державы-победительницы диктуют мир. Они устанавливают такое существование, которое соответствует их философии, их представлениям о свободе, их представлениям о национальных интересах. Вместо этого, начиная с Ялты, государственные руководители Запада необъяснимым образом подписывали капитуляцию за капитуляцией... Никогда Запад и ваш президент Рузвельт не поставили никаких условий Советскому Союзу в получении помощи... и неограниченно помогали, а затем неограниченно уступали. Уже в Ялте, безо всякой необходимости, были молчаливо признаны оккупация Монголии, Молдавии, Эстонии, Латвии и Литвы. Вслед за тем, почти не было сделано ничего для защиты Восточной Европы, и отдали ещё 7-8 стран Восточной Европы.

Сталин потребовал выдать ему тех советских граждан, которые не хотят возвращаться на родину. И западные страны отдали полтора миллиона человек. Как отдали? Они схватили их силой... английские солдаты убивали русских, которые не хотели идти в плен к Сталину, и силой толкали их к Сталину на уничтожение. Теперь это стало известно, но вот совсем недавно, вот несколько лет назад. Полтора миллиона человек!

Как могла это сделать демократия Запада?.. И вслед за тем, все остальные 30 лет, — эти годы постоянных отступлений и отдачи страны за страной. До того, что теперь уже и в Африке есть советские сателлиты, и почти вся Азия уже захвачена, и вот катится в пропасть Португалия.

За 30 лет тоталитаризму отдано больше, чем когда-либо, когда-либо в мировой истории, в какой-либо войне отдавала страна, потерпевшая поражение.

Войны не было, но она как бы вот произошла. Мы на Востоке долго этого не могли понять. Мы не могли понять хлипкости этого перемирия, заключённого во Вьетнаме. То есть всякий средний советский человек понимал, что это такое хитрое устройство, которое даёт возможность Северному Вьетнаму взять Южный, в тот любой день, когда он захочет. И вдруг это премируется нобелевской премией мира. Трагическая и ироническая премия (апл.). Это очень опасное ощущение, которое может возникнуть при таком тридцатилетнем отступлении.

Уже создаётся такое мироощущение, — „как бы поскорее уступить”, поскорее бы отдать, и как-нибудь наступило бы замирение, как-нибудь наступил бы покой. Так и писали сейчас многие газеты на Западе: скорее бы кончилось кровопролитие во Вьетнаме и наступило бы национальное единение. (У берлинской стены они не вспоминают национальное единение.) А одна из ваших ведущих газет после конца Вьетнама на целую страницу дала заголовок: „Благословенная тишина”. Врагу не пожелал бы я такой благословенной тишины! Врагу не пожелал бы я такого национального единения (апл.). Я провёл 11 лет на Архипелаге, я изучал полжизни этот вопрос. И я могу, глядя издали на эту страшную вьетнамскую трагедию, сказать: миллион человек будет просто уничтожен, а 4-5 миллионов, по масштабам Вьетнама, сядут в концентрационные лагеря и будут восстанавливать Вьетнам. А что происходит в Камбодже, вы уже знаете. Геноцид. Полное уничтожение, но в новой форме. Опять газовых камер не хватает, потому что техника недостаточна. И поэтому просто в несколько часов поднимают столицу, провинившийся столичный город, и выгоняют его — стариков, детей, женщин, без вещей, без еды: иди и умирай!

Это очень опасное мироощущение, когда начинает вкрадываться такое чувство: „Ну, отдайте!” Мы уже сейчас слышим голоса на Западе и в вашей стране: „Отдайте Корею, отдайте Корею и будем жить тихо.” Отдайте Португалию, конечно. Отдайте Японию. Отдайте Израиль. Отдайте Тайвань, Филиппины, Таиланд, Малайзию, отдайте

ещё десять африканских стран, дайте только нам возможность спокойно жить. Дайте возможность нам ездить в наших широких автомобилях по нашим прекрасным автомобильным дорогам. Дайте возможность нам спокойно играть в теннис и гольф. Дайте спокойно нам смешивать коктейли, как мы привыкли. Дайте нам видеть на каждой странице журнала улыбку с распахнутыми зубами и с бокалом. (апл.)

Но вот ещё как повернулось: сейчас на Западе это всё обернулось обвинением против Соединённых Штатов Америки.

Сейчас на Западе раздаётся очень много голосов, которые говорят: „Вот, Америка, — твоя вина!“ Я должен решительно здесь сегодня защитить Америку от этих обвинений! Я должен сказать, что Соединённые Штаты Америки из всех стран Запада — меньше всего виноваты в этом и больше всего сделали для того, чтобы не было так. Америка помогла Европе выиграть Первую и Вторую мировые войны, Америка подняла Европу из двух послевоенных разорений, пятнадцать — двадцать — двадцать пять лет подряд она стояла щитом, защищая Европу, в то время как европейские страны считали пятаки: как бы не оплачивать своей армии, а лучше вовсе её не иметь, как бы не оплачивать вооружения, как бы уйти из НАТО, зная, что всё равно Америка защитит. Эти страны с тысячелетней цивилизацией и культурой — это от них началось, хотя на том материке им там ближе, им там можно лучше разобраться.

Я вот приехал на ваш континент, я вот уже два месяца путешествую по его просторам. Я согласен — здесь это не чувствуется так близко, здесь можно и ошибиться, здесь нужны душевные усилия, чтобы понять остроту мирового положения. Соединённые Штаты Америки давно проявили себя как самая великодушная и самая щедрая страна в мире. Где бы ни произошло наводнение, землетрясение, пожар, стихийное бедствие, болезнь, — кто помогает первый? — Соединённые Штаты. Кто помогает больше всех и бескорыстно? Соединённые Штаты. (апл.) И что мы слышим в ответ? — упрёки, проклятья: „американцы, убирайтесь вон“, жгут американские культурные центры, и представители „третьих стран“ в Организации

Объединённых Наций вскакивают на столы, чтобы голосовать против Америки.

Однако, всё это не снимает тяжести с плеч Америки. Ход истории, хотите вы или не хотите, но ход истории сам привёл вас — сделал вас мировыми руководителями. Вашей стране уже нельзя думать провинциально, вашим политическим деятелям уже нельзя думать только о своём штате, о своей партии, о мелких ситуациях, которые приведут его или не приведут к государственному посту. Вам приходится думать обо всём мире. И когда наступит новый политический мировой кризис, — а я считаю, что вот очень острый закончился, а следующий может наступить в любой момент, — всё равно, главные решения лягут на плечи Америки, на плечи Соединённых Штатов.

И вот я, уже находясь здесь, слышу некоторые объяснения ситуации, я разрешу себе процитировать то, что я слышал здесь.

„Нельзя защищать тех, у кого не хватает воли к обороне.“ Я согласен. Но это сказано по поводу Южного Вьетнама, — так в половине сегодняшней Европы и трёх четвертях сегодняшнего мира воля к обороне ещё меньше, чем была в Южном Вьетнаме.

Нам говорят: „нельзя защищать тех, кто не может обороняться собственными людскими ресурсами“. А против превосходных сил тоталитаризма, когда он набрасывается весь, — и никто не может защититься собственными ресурсами — никто; и например Япония совсем не имеет армии.

Нам говорят: „Нельзя защищать тех, у кого нет полной демократии.“ Вот это самое замечательное, это самая основная мелодия, которую я вижу в ваших газетах и слышу в выступлениях некоторых ваших политических деятелей. А кто в мире когда-нибудь на переднем крае тоталитаризма удержался с полной демократией? Вы — со-единённая демократия мира, не удержались! Америка, Англия, Франция, Канада, Австралия вместе — не удержались! При первой опасности гитлеризма — протянули руку Сталину. Это называется удержаться в демократии? Нет! (апл.) И так ещё говорят (этих выступлений много было подряд): „Если Советский Союз будет использовать разрядку в своих интересах — ну тогда мы...“ А что то-

гда? Советский Союз использовал разрядку в своих интересах, использует и будет использовать! Вот, например, они с Китаем вместе усиленно участвуют в разрядке, а пока взяли три страны. Пока, незаметно, три страны Индокитай взяли. Ну правда, можно ожидать, что в утешение Китай пришлёт пинг-понговскую команду (смех). А Советский Союз прислал лётчиков, которые когда-то перелетали Северный Полюс. И вот на днях полетят вместе с вашими в космос.

Типичный спектакль, я отлично помню тот год — это 1937 год — июнь тридцать седьмого года, когда Чкалов, Байдуков и Беляков героически перелетели Северный Полюс и спустились в штате Вашингтон. Это был тот год и тот месяц, когда Сталин расстреливал больше сорока тысяч человек в месяц!.. Сталин знал, что делал. Он послал лётчиков и вызвал у вас доверчивое ликование: дружба двух стран через Северный Полюс! Герои, другого не скажешь — герои. Но это был спектакль, чтоб отвлечь вас от событий тридцать седьмого года. А, простите, какой сейчас юбилей? Сколько лет прошло? Тридцать восемь. Разве это юбилей? Нет, просто надо закрыть Вьетнам. И вот послали снова лётчиков. Открыли памятник Чкалову в штате Вашингтон. Чкалов герой и достоин памятника. Но для истинной картины надо было позади памятника поставить стену и на ней показать барельеф тех расстрелов, или тех черепов и костей. (апл.)

Ещё так нам говорят (простите, что я много цитат привожу, но их гораздо больше звучит в вашей прессе и по радио): „Мы не можем игнорировать, что Северный Вьетнам и красные кхмеры попрали соглашение. Но мы готовы смотреть в будущее.” То есть, что это значит? Значит, пусть уничтожают людей, но если вот эти насильники, вот эти убийцы, вот эти палачи предложат нам разрядку, мы с удовольствием будем с ними разряжаться. Ну так, как Вилли Брандт сказал как-то: „Я бы и со Сталиным пошёл на разрядку.” То есть в то время, когда Сталин уничтожал по сорок тысяч в месяц, — Брандт охотно бы пошёл с ним на разрядку! Смотреть в будущее! — так смотрели в будущее и в 1933 и в 1941. Но смотрели плохо. Так смотрели в будущее два года назад, когда заключали нелепое, непонятное, негарантированное

перемирие во Вьетнаме. И плохо смотрели. Так торопились с этим перемирием, что пропустили освободить из плена всех собственных американцев. Так торопились скорее подписать этот документ, что там каких-то три тысячи американцев — ну нет, и нет, и без них обойдёмся. Как это делается? Как это может быть? Ну часть из них, действительно, бывает в войне, — без вести пропавшие. Но вожди Северного Вьетнама и сами признают, что часть содержится там у них — содержится. И что же, они отдают ваших соотечественников? Нет, они их не отдают и ставят всё время условия. То они ставили условия: пусть Тхей уйдёт от власти, теперь они ставят условия: пусть Соединённые Штаты восстановят нам Вьетнам. А то, мол, очень трудно нам разобраться — найти этих людей.

Если правительству Северного Вьетнама трудно объяснить вам, что произошло с вашими братьями, с вашими американскими военнопленными, не возвращёнными и посегодняя, то я, на основе опыта Архипелага, могу вам совершенно ясно это объяснить. Есть такой закон на Архипелаге, что те, кому достаётся труднее всего и которые стоят наиболее стойко, самые честные, самые мужественные, самые непреклонные, — они никогда больше не увидят света, их уже никогда нельзя показать, потому что они расскажут такое, что не умещается в голову. Часть ваших военнопленных вернувшихся рассказывали вам, что их пытали. Это значит, что тех, кто остался, пытали больше. Но те не уступили ни на шаг. Это — лучшие ваши люди. Это — ваши первые герои, которые в одиноком поединке устояли. (апл.) И сейчас... сейчас к сожалению они не могут ободриться нашими аплодисментами. Они не могут их услышать в своих одиночных камерах, где могут умереть, а могут сидеть тридцать лет, как сидит Рауль Валленберг — если знаете, шведский дипломат, захваченный Советским Союзом в 1945 году. Вот, тридцать лет сидит, и его не отдают.

А находились у вас при этом истерические деятели, которые говорили: „Я поеду в Северный Вьетнам, стану на колени и на коленях буду умолять отпустить наших военнопленных.“ Это уже не политическое поведение — это мазохизм. (апл.) Для того, чтобы понять хорошо, что значила разрядка все эти сорок лет, дружба, стабилизация

положения, торговля, я должен вам сказать то, чего вы никогда не видите и не слышите. Оттуда, с нашей стороны, сказать, как это выглядело. А выглядело это вот как: только знакомство с американцем, не дай Бог, ты пошёл с ним, сел в кафе или в ресторан, — уже „подозрение в шпионаже“, десять лет. Я рассказываю в „Архипелаге“ случай, который не какой-нибудь арестант мне рассказал, но все члены Верховного Суда СССР, в те короткие дни, когда я был при Хрущёве возвышен, и они мне рассказали этот случай: один советский гражданин был в Соединённых Штатах и возвратясь сказал: „В Соединённых Штатах отличные автомобильные дороги.“ КГБ арестовало его и потребовало десяти лет. А судья сказал: я не возражаю, но всё-таки мало материала, надо бы добавить ещё что-нибудь. Так судьёю этого сослали на Сахалин за то, что он смел спорить, а тому человеку дали десять лет. Вы подумайте, какую ложь он сказал и какое „восхваление“ американского империализма: в Америке хорошие автомобильные дороги! Десять лет.

В 1945-46 году через наши камеры тюремные проходило множество людей, не тех, которые сотрудничали с Гитлером, хотя были такие, не тех, кто в чём-то был виноват, а тех, которые всего-навсего — побывали на Западе и были освобождены из немецкого плена американцами. Вот это считалось криминалом: освобождён американцами. Это значит: он видел хорошую светлую жизнь. Если он приедет, он будет рассказывать. Самое страшное не то, что он сделал во время войны, а что он будет рассказывать. И все такие получали десять лет.

В последний визит Никсона в Москву ваши американские корреспонденты давали такой репортаж на западный лад: репортаж с московских улиц. „Вот я, мол, иду с микрофоном по улице и спрашиваю простых советских людей: скажите, пожалуйста, что вы думаете о встрече Никсон-Брежнев?“ И, удивительно, все до одного отвечали: „великолепно, я очень доволен, я в восторге!“. Что это? Как это понять? Да если я иду по улице, и ко мне подходит американец с микрофоном и спрашивает, то я знаю, что с другого боку идёт кагебист тоже с микрофоном, и он прекрасно запишет, что я скажу. Я скажу — и сейчас буду в тюрьме. И я отвечаю: „да, да, великолепно, я ничего

лучшего не видел”. (англ.) Ну чего же стоят такие корреспонденты, если они просто переносят ваш западный приём, не продумавши, переносят туда?

Вы лендлизом помогали нам многие годы — у нас сделано всё, чтобы забыть его, затереть, по возможности не вспоминать. А сейчас, до того как пришёл я в этот зал, я отчасти и оттягивал свой приезд в Вашингтон, чтобы прежде посмотреть немного простую Америку, побывать в нескольких штатах, просто поговорить с людьми. Мне рассказали, я впервые узнал, что по всем штатам в годы войны Общество советско-американской дружбы собирало помощь советским людям: тёплые вещи, продукты, подарки, — и посылало. А мы не только не видели их, мы не только их не получали — их распределили там где-то в привилегированных кругах, — но нам никто никогда об этом не говорил. Я это узнал сейчас, здесь у вас в штатах, вот в этот месяц.

Всё, что можно сказать ядовитого об Америке, — было сказано ещё в сталинское время, и всё это лежит тяжёлым осадком, и всё это можно пробудить в любой день. В любой день газеты могут выйти с заголовками: „Кровавый американский империализм хочет захватить мир”, и весь этот яд поднимется, и множество людей у нас поверят и будут считать вас агрессорами. Вот так велась разрядка с нашей стороны.

Советская система так закрыта, что её почти невозможно понять отсюда. И ваши самые учёные теоретики пишут научные труды, пытаются объяснить и понять, что происходит там, и вот несколько таких наивных объяснений, которые нам, советским людям, просто смешны. То говорят, советские вожди отказались теперь от своей чело-веконенавистнической идеологии. Нисколько. Нисколько от неё не отказались. То говорят — в Кремле есть „левые” и „правые” и там идёт борьба, и мы должны себя так вести, чтобы не помешать „левым”. Всё это фантазия: левые... правые... Ну есть там какая-то борьба за власть — но в главном они все заодно. Или ещё есть такая теория, что теперь благодаря росту техники растёт технократия в Советском Союзе, растёт инженерия — и инженеры теперь правят хозяйством, и вот скоро они будут определять судьбу, а не партия. Скажу вам — инже-



неры столько же будут определять судьбу, сколько наши генералы — судьбу армии, то есть — ноль. Все будут делать так, как скажет партия.

Вот такая наша система, судите сами. Это система, где сорок лет не было настоящих выборов, но идёт спектакль, комедия. Стало быть система, где нет законодательных органов. Это система, где нет независимой прессы, система, где нет независимых судебных органов, где народ не имеет никакого влияния ни на внешнюю, ни на внутреннюю политику; где подавляется всякая мысль не такая, как государственная. И, кстати, электронное подслушивание — это у нас такая простая вещь, это у нас быт. У вас произошёл один случай электронного подслушивания, и всю страну трясло полтора года. А у нас это быт. Это почти в каждой квартире, в каждом учреждении, мы к этому привыкли — нас это даже не удивляет. (апл.)

Это система, где разоблачённые палачи миллионов, как Молотов и более мелкие, никогда не судимы и теперь на высоких пенсиях в высочайшем благополучии. Это система, где сегодня продолжается спектакль, и каждого иностранца, чтобы ему показать страну, обставляют несколькими подставленными советскими людьми, работающими по сценарию. Это система, где собственная конституция не выполнялась ни одного дня, где все решения зреют в какой-то тайне, в какой-то безответственной кучке, и оттуда ударяют как молния, по нам и по вам. И чего же стоят подписи этих людей? Как же можно, как можно положиться на их подписи в документах разрядки? Вы сейчас можете спросить своих специалистов, они говорят, что вот даже в последние годы Советский Союз сумел создать и превосходящее химическое оружие и ракеты более совершенные, чем в Соединённых Штатах.

Так что же из этого всего? Разрядка — нужна или нет? Не только нужна. Она нужна как воздух. Это единственное спасение Земли, чтобы вместо мировой войны произошла разрядка. Но разрядка истинная, и если её уже испортили плохим словом, которое у нас разрядка, а у вас детант, так может быть надо найти другое слово. Я бы сказал, что даже можно очень мало признаков, глав-

ных признаков назвать для такой истинной разрядки. Я бы сказал, что почти достаточно трёх главных признаков. Первый признак: чтобы разоружиться не только от войны, но и от насилия, чтобы не осталось аппарата не только войны, но и насилия, то есть не только того оружия, которым уничтожают соседей, но и того оружия, которым давят соотечественников. (апл.) Это не разрядка, если мы сегодня здесь с вами можем приятно проводить время, а там стонут люди и погибают, и в психиатрических домах вечерний обход, и третий раз в день колют лекарство, разрушающее мозг и человека. А второй признак разрядки я бы назвал такой: чтоб это было не на улыбках поставлено, не на словесных уступках, чтоб это стояло на камне. Это евангельское слово всем известно: не на песке надо строить — на камне. То есть должны быть гарантии того, что это не оборвётся в одну ночь или в один рассвет. (апл.) А для этого нужно, чтобы там, вторая сторона, которая входит в разрядку, имела над собой контроль: контроль общественности, контроль прессы, контроль свободного парламента. А пока такого контроля нет — нет гарантии. (апл.) А третье простое условие: какая же это разрядка, если вести человеконенавистническую пропаганду — то, что в Советском Союзе гордо называют идеологической войной? Нет уж — дружить так дружить, разрядка так разрядка! Идеологическую войну надо кончить!

Советский Союз и коммунистические страны умеют вести переговоры. Они знают, как это делается. Долго-долго ни в чём не уступать, а потом немножечко уступить. И сразу раздаётся ликование: они уступают, пора подписывать договор! Вот европейские переговоры тридцати пяти стран. Два года мучительно, мучительно вели переговоры, тянули нервы и уступили: некоторые женщины из коммунистических стран теперь могут выходить замуж за иностранцев и некоторым журналистам теперь будет позволено кое-где немножко в СССР поездить. Дают одну тысячную долю естественного права, которое вообще должно быть с самого начала, вне переговоров, — и уже радость, и уже мы на Западе слышим много голосов: они уступают, пора подписывать! За эти два года, пока велись переговоры, во всех странах Восточной Европы давление

усилилось, репрессии усилились даже в Югославии, в Румынии, не говоря уже об остальных. И именно сейчас канцлер Австрии говорит: „надо скорее, пришла пора подписать вот это соглашение”. Что это такое, это соглашение? Предлагаемое соглашение сегодня — это похороны Восточной Европы. Это значит, Западная Европа подписывается окончательно, что она совершенно согласна, что Восточную Европу будут и дальше подавлять, только пожалуйста не трогайте нас. И канцлер Австрии думает, что если засыпят братскую могилу над Восточной Европой, то Австрия на самом краю могилы уцелеет и не сползёт туда же. А мы из всей нашей жизни там вывели, что только есть одно, чем можно устоять против насилия: это твёрдость!

Надо понимать природу коммунизма. Сама идеология коммунизма, всё ленинское воспитание таково, что оно считает дурачком, кто не берёт того, что лежит. Если можно взять — бери, если можно наступать — наступай, а вот если стена — отступи. И коммунистические правители уважают только твёрдость и презируют и смеются над теми, кто им всё время уступает. У вас говорят сейчас, — вот последняя цитата, которую я приведу из высказываний ваших государственных деятелей: „Мощь без попытки к примирению ведёт к мировому конфликту.” Скажу: а мощь с непрерывным угождением — вообще не мощь! (апл.)

А из нашего опыта я вам скажу: только твёрдость даёт возможность устоять против наступления коммунистического тоталитаризма. Мы видим много исторических примеров тому. Вот несколько. Маленькая Финляндия устояла в 1939 году собственными силами. Вы отстояли Берлин в 1948 только твёрдостью — и не было мирового конфликта! Вы отстояли Корею в 1950 — только твёрдостью — и не было мирового конфликта. Вы заставили снять ракеты с Кубы в 1962 — только твёрдостью — и не было мирового конфликта. И покойный Аденауэр вёл переговоры с Хрущёвым твёрдо, и он начал с Хрущёвым настоящую разрядку. Хрущёв начал уступать и, если бы его не сняли, в ту зиму он собирался ехать в Германию и продолжать истинную разрядку.

Я напомню вам и слабость такого человека, чья фа-

милія редко сочетается со слабостью. Слабость Ленина. Ленин, придя к власти, панически отдавал Германии всё, что только та хотела. Просто — что хотела. Германия взяла, сколько хотела, сказала — Армению отдать Турции, — пожалуйста. Почти не известно, но Ленин просил, ходатайствовал перед кайзеровским правительством, чтобы кайзеровское правительство Германии уговорило правительство Украины и разрешило коммунистам как-то границу провести от Украины. Не было разговора — захватывать Украину, но только как-нибудь, чтобы границу-то свою провести.

Мы, мы, инакомыслящие в СССР, мы не имеем ни танков, ни оружия, ни организации — мы ничего не имеем, руки наши пусты. У нас есть только сердце и то, что мы выдержали за полвека в этой системе. И когда мы нашли в себе стойкость стать и стоять, то мы и устояли. И если я сегодня здесь (англ.)... Мы устояли только твёрдостью духа. И если я сегодня здесь стою перед вами, то не по милости коммунизма, не по доброте коммунизма, не благодаря разрядке, но благодаря своей твёрдости и вашей твёрдой поддержке. (англ.) Они знали, что я не уступлю ни на палец, ни на волос, и где взять нечего — отступились. Это не дается легко. В наших условиях это воспиталось от тяжести жизни. Это и в каждом бы из вас воспиталось, если бы вы попали в такую тяжёлую жизнь. Я не хочу здесь называть сегодня много имён, но вот Буковский, Владимир Буковский, чьё имя уже почти забыли (англ.)... Я почему не хочу называть много имён?.. — потому что сколько ни назови, больше остаётся, и когда решаем вопрос с двумя-тремя, мы как бы забываем и предаём остальных. Надо помнить цифры. У нас десятки тысяч политзаключённых и, по подсчёту английских специалистов, семь тысяч человек в принудительном психиатрическом лечении. Так вот Владимир Буковский: Буковскому предложили — ладно, освобождайся, убирайся на Запад и замолчи. И этот мальчик, молодой человек, который при смерти, сказал: нет, я так не поеду. Я писал о тех, кого вы посадили в психиатрические дома, освободите их, тогда и я поеду на Запад. Вот та сила, та стойкость, которая стоит против камня и против танков! И нам с вами в оценке

всего, о чём я сегодня здесь говорил, можно было бы и не вести разговоров в этой вот плоскости деловых расчётов, то есть — почему та или иная страна поступала так? и как эти расчёты велись? Нам можно было подняться на нравственную высоту и сказать: в 1933 и в 1941 году — ваше руководство и весь Запад не принципиально, беспринципно пошли на сделку с тоталитаризмом. Это даром не проходит. Это когда-нибудь отзовется. Вот оно 30 лет отзывалось и ещё отзовется, и ещё страшнее отзовется! Нельзя мыслить только в низкой плоскости политического расчёта. Надо думать и о том, что благородно, что честно, а не только, что выгодно. Изворотливые западные юристы сейчас ввели такой термин „юридического реализма“. Этим юридическим реализмом они хотят заслонить нравственные оценки. Мол, надо признать реальность, надо понять, что если установились какие-то законы в тех странах насилия, эти законы тоже надо признать и уважать. Среди юристов сейчас широко распространено такое понятие, что право — выше нравственности. Право — это такое отточенное, а нравственность — это, мол, что-то неопределённое. Нет, как раз наоборот! Нравственность — выше права! (англ.) ... А право — это наша попытка человеческая как-то записать в законах часть этой нравственной сферы, которая над нами, выше нас. Мы пытаемся понять эту нравственность, свести её на землю и представить в виде законов. Иногда это удаётся лучше, иногда удаётся хуже, иногда получается карикатура на нравственность, но нравственность всегда выше права. И этой точки зрения нельзя покинуть. Надо душой и сердцем это признать. В сегодняшней жизни, в двадцатом веке стало почти смешно говорить „добро“ и „зло“. Это стали почти какие-то старомодные понятия. А это очень реальные понятия, понятия высшей сферы над нами — добро и зло... (англ.) И вместо того, чтобы вести низкие, мелкие и недалёкие политические расчёты и игры, надо отдать себе отчёт: вот концентрируется Мировое Зло, огромной ненависти и силы. Оно растекается по земле, и надо стать против него, а не спешить подавать ему, подавать ему всё, что оно хочет съесть... (англ.) Сегодня в мире происходят два важнейших процесса. Один процесс — тот, о котором я сказал, — вот он идёт уже более тридцати лет.

Это процесс близоруких уступок. Это процесс отдавать, отдавать, отдавать, и может быть когда-нибудь волк насытится. А второй процесс, который я считаю ключевым, — и я предсказываю, что он принесёт нам всем будущее... — это процесс тот, что под чугунной корой коммунизма, в Советском Союзе уже лет двадцать, а в других коммунистических странах меньше, — идёт освобождение человеческого духа, вырастают новые поколения, непоколебимые в борьбе со злом, которые не идут на беспринципные компромиссы, которые предпочитают потерять всё: заработок, всякие условия существования, саму жизнь, только не пожертвовать совестью, только не войти в сделку со злом. (апл.) Так вот — этот процесс зашёл так далеко, что в сегодняшнем Советском Союзе марксизм упал так низко, он скатился к анекдоту, он скатился в человеческое презрение. У нас уже просто никто мало-мальски серьёзный, и даже студенты и школьники, уже серьёзно, без улыбки, без насмешки о марксизме не говорят. Но весь этот процесс нашего освобождения, который, конечно, вызовет и общественные перемены, — этот процесс медленнее, чем тот, который... чем первый, чем процесс уступок. Нам там, когда мы наблюдаем за этими уступками, нам страшно. Зачем же так быстро, зачем так стремительно, зачем уступают по несколько стран в один год?.. Я начал с того, что вы — союзники нашего освободительного движения в коммунистических странах. И я призываю вас: давайте вместе думать и стараться, как нам урегулировать соотношение этих двух процессов. Всякий раз, когда вы помогаете нашим преследуемым, вы не только проявляете великодушие и благородство, вы защищаете не только их, но и самих себя, но и своё будущее... (апл.) Но давайте попробуем, сколько можно, — остановим безумный, бессмысленный и безнравственный процесс бесконечных уступок агрессору... этих ловких юридических изворотов, когда каждый раз находится аргумент: почему ещё одну, ещё одну, и ещё одну страну надо отдать, отдать и отдать. Почему надо снова и снова подавать коммунистическому тоталитаризму технику — сложную, тонкую, то, что нужно ему для вооружения, для подавления своих граждан. Если мы сумеем за-

держат, хотя бы не остановить, но задержать этот процесс уступок и дать возможность продолжаться процессу освобождения в коммунистических странах, то эти два процесса, в конце концов, дадут нам наше будущее (апл.) ... „Внутренних дел” не осталось на нашей тесной планете... Коммунистические вожди говорят вам: не вмешивайтесь в наши внутренние дела, дайте нам дышать спокойно... А я говорю вам: пожалуйста, побольше вмешивайтесь в наши внутренние дела... Мы просим вас — вмешивайтесь! (апл.) И так понимая свою задачу, я тоже сегодня, может быть, вмешался в ваши внутренние дела, или как-то коснулся их, простите (апл.)... Вот я уже много поездил по Америке. Это добавилось к моим прежним представлениям о ней, как я слушал о ней по всем радио, по рассказам людей, бывалых людей. Америка вызывает у меня, у моих друзей, у наших единомышленников т а м, у всех простых советских людей, — не у высокопоставленных, — вызывает соединённое чувство восхищения и сострадания. Восхищения — тем, что вы даже сами не знаете, сколько ещё у вас будущего и сколько сил. Вы страна — будущего. Вы страна молодая. Страна не использованных ещё даже возможностей. Страна великих просторов географических. Простора души. Щедрости. Великодушия. Но с этими качествами: силы, щедрости и великодушия, — в человеке, в каждом, а вот и в целой стране, соединяется обычно — доверчивость. И ваша доверчивость уже сослужила, уже несколько раз сослужила вам плохую службу... И я, и я хотел бы призвать, чтобы Америка проверяла эту свою доверчивость, и не дала возможность тем мудрецам, которые, играя в достижение будто бы ещё более тонкой справедливости, ещё более юридических тонкостей равенства и каких-то оговорок, чтоб они — одни по искажённости кругозора, другие по близорукости, а кто по корысти, — чтобы под этим ложным видом борьбы за мир и за общественную справедливость, не повели бы вас, не завели бы вас на ложную дорогу. Ибо они толкают ослабить, разоружить вашу прекрасную страну перед такой опасностью, перед такой грозной силой, какой не знала вся мировая история, не только ваша, американская, но вся мировая история. И я призываю вас:

трудова́я проста́я Америка, — представленная сегодня здесь своим профсоюзным движением, — не дайте себя ослабить, не дайте завести себя в неверную сторону. Будем стараться замедлить процесс уступок и помочь процессу освобождения!.. *(аплодисменты)*



## РЕЧЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ

9 июля 1975

перед представителями профсоюзов АФТ — КПП

Так всё-таки: возможно или невозможно передать опыт от тех, кто страдал, к тем, кому ещё предстоит страдать? Так всё-таки: способна или неспособна одна часть человечества научиться на горьком опыте другой? Возможно или невозможно кого-нибудь предупредить об опасности?

Сколько было послано Западу свидетельств, за 60 лет сколько волн эмиграции, сколько миллионов людей! Они — все здесь, вы их встречаете, вы их отличаете, если не по душевной их потерянности, не по скорби их, не по тоске, вы их отличаете по акценту, по внешнему виду, они не сговаривались, они из разных стран принесли вам один и тот же опыт и говорят о нём, предупреждают о том, что уже есть, что было. Но стоят гордые небоскрёбы, упёртые в небо, и говорят: у нас этого не будет, к нам это не придёт, у нас это невозможно.

Будет. Возможно. По пословице: „отведаешь сам, поверишь и нам”.

Но неужели надо ждать того момента, когда нож подступит к горлу? Неужели нельзя заранее трезво оценить ту мировую опасность, которая хочет проглотить весь мир? Я — уже был проглочен. Я уже побывал в брюхе дракона, в красном горячем брюхе дракона. Он меня не переварил и отрыгнул (*аплодисменты*)... И я пришёл к вам свидетелем того, как там, в брюхе.

Это удивительный феномен, что коммунизм сам о себе 125 лет открыто чёрным по белому пишет, и даже раньше он писал более откровенно, и в Коммунистическом манифесте, который все знают по названию и почти никто не даёт себе труда читать, — там даже более страшные вещи некоторые написаны, чем те, что осуществ-

влены. Вот поразительно. Весь мир грамотный, все умеют читать, и всё-таки как будто не хотят понять. Человечество ведёт себя так, как будто оно не поняло, что такое коммунизм, не хочет понять, не способно понять.

Я думаю, здесь дело не только в маскировке коммунистов последние десятилетия, последние годы. Здесь дело в том, что суть коммунизма — совершенно за пределами человеческого понимания. По-настоящему нельзя верить, чтобы люди так задумали — и так делают. Вот именно потому, что она за пределами понимания, вероятно поэтому так трудно коммунизм и понимается.

В моём прошлом выступлении в Вашингтоне я много говорил о государственной советской системе, как она создавалась и какая она есть. Но, может быть, гораздо важнее сказать о той идеологии, которая вдохновила эту систему, создала её и ведёт. Гораздо важнее понять суть этой идеологии и, самое главное, её преемственность, что она вовсе не изменилась за 125 лет. А какая родилась — такая и есть.

Ну, что марксизм — не наука, у нас в Советском Союзе среди интеллигентных людей ясно. Даже неудобно сказать, что марксизм есть наука. Уж не говоря о науках точного цикла — физико-математических, естественных, — даже социологические науки сегодняшнего века, они, если предсказывают какое-нибудь событие, то говорят, где его можно ожидать, в какие сроки, в каких формах, как событие может протекать. Коммунизм никогда не давал таких предсказаний. Никогда не говорилось: где, когда и что именно. Это всегда была декламация. Декламация о том, как мировой пролетариат свергнет мировую буржуазию и тотчас же наступит самое счастливое светлое общество, где, впрочем, обрывалась фантазия и Маркса, и Энгельса, и Ленина. Ни один из них дальше не описывал, что там будет за общество. А просто: самое светлое, самое счастливое. Всё — для человека!

Лень перечислять все неудавшиеся предсказания марксизма. Ну, несколько из них: что положение рабочего класса при том строе, который существует сейчас на Западе, будет ухудшаться, ухудшаться, ухудшаться, дойдёт до полной нищеты и невыносимости. У нас бы там в стране так накормить, одеть рабочий класс, так снаб-

дить его всем и дать ему столько досуга! Или знаменитое предсказание о том, что коммунистические перевороты все начнутся с передовых стран: Англия, Франция, Америка, Германия — вот здесь начнётся коммунизм. Ну, всё наоборот, вы видите: всё наоборот. Или предсказание о том, что социалистические государства и существовать не будут: как только капитализм будет повержен, так сразу государство будет отмирать. Вы видите сегодня: где ещё есть такие сильные государства, как в так называемых социалистических, коммунистических странах? Или утверждение о том, что войны присущи только капитализму. Только потому, мол, происходят войны, что капитализм. А как только наступит коммунизм, так все войны прекратятся. Мы уже достаточно видели это: в Будапеште, в Праге, на советско-китайской границе, при оккупации Прибалтики, при ударе Польше в спину. Мы достаточно видели это и ещё, наверное, достаточно увидим.

Коммунизм есть такая грубая попытка объяснить общество и человека, как если бы хирург взял топор мясника для своей тонкой операции. Всё, что есть тончайшего в психологии человека и в устройстве общества — ещё более сложного организма, — всё это сводится к грубому экономическому процессу. Всё это создание „человек” сводится к материи. Характерно, что коммунизм настолько лишён аргументов, что против своих оппонентов, вот в наших странах, в коммунистических, ему совершенно нечего противопоставить. Аргументов нет — а поэтому палка, тюрьма, концентрационный лагерь, психиатрический насильственный дом.

Марксизм был всегда против свободы. Вот я процитирую несколько слов отцов коммунизма — Маркса и Энгельса — из... я даю цитаты по первому советскому изданию 1929-30 года. Маркс и Энгельс: „Реформы — признак слабости”, — том 23, стр. 339. „Демократия — страшнее монархии и аристократии”, — том 2, стр. 369. „Политическая свобода — есть ложная свобода. Хуже, чем самое худшее рабство”, — том 2, стр. 394. Маркс и Энгельс в своей переписке неоднократно говорят, что после прихода к власти несомненно нужен террор. Неоднократно они пишут: „придётся повторить 1793 год. После

прихода к власти нас станут считать чудовищами, на что нам, конечно, наплевать”, — том 25, стр. 187.

Коммунизм никогда не скрывал, что он отрицает всякие абсолютные понятия нравственности. Он смеётся над понятиями добра и зла как категорий несомненных. Коммунизм считает нравственность относительной, классовой. В зависимости от обстоятельств, от политической обстановки любой акт, в том числе и убийство, и убийство сотен тысяч людей, может быть плохо, а может быть — хорошо. Это — в зависимости от классовой идеологии. А кто определяет классовую идеологию? Весь класс не может собраться, чтобы сказать, хорошо это или плохо. Кучка людей определяет, что хорошо, что плохо. Но я должен сказать, что вот в этом направлении коммунизм успел больше всего. Он успел заразить весь мир этим представлением об относительности добра и зла. Сейчас этим захвачены далеко не только коммунисты. Сейчас считается в передовом обществе неудобным, неудобным употреблять серьёзно слова „добро” и „зло”. Коммунизм сумел внушить нам всем, что это понятия старомодные и смешные. Но если у нас отнять понятия добра и зла, — что останется у нас? У нас останутся только жизненные комбинации. Мы опустимся в животный мир.

И теория, и практика коммунизма совершенно античеловечна поэтому. Существует такое слово, которое сейчас очень широко употребляется: „антикоммунизм”. Это очень дурно, без вкуса составленное слово. Слово составлено так, будто бы коммунизм — есть нечто извечное, основное, основополагающее. Поэтому он является системой отсчёта. И по отношению к коммунизму определяется — антикоммунизм, антикоммунисты. Почему я говорю, что это слово плохо сконструировано, почему его составили люди, не понимающие этимологии языка: потому что исконным понятием, вечным понятием является — человечность. А коммунизм есть — античеловечность. Кто говорит „антикоммунизм”, тот говорит: анти-античеловечность. Дурная конструкция. Так и надо говорить: то, что против коммунизма, — вот то и есть человечность! (апл.) Не признавать, отвергать эту человеконенавистническую коммунистическую идеологию — вот это и есть простая человечность! Это не партийность, это — про-

тест нашей души против тех, кто говорят нам: забудьте понятия добра и зла.

И удивительно, кроме всех книг своих, сколько наглядных пособий предложил коммунизм современному человечеству. Прогрели танки по Будапешту. Ничего. Прогрели танки по Чехословакии. Ничего. Кому бы другому не простили, коммунизму — можно простить. По какому-то будто нарочитому замыслу, как будто Бог хотел наказать, отнимая ум, коммунизм воздвиг берлинскую стену. Ведь чудовищный символ! — показать, что такое коммунизм. 14 лет расстреливают там не только тех, кто хочет уйти из счастливого общества коммунизма. Недавно был случай, какой-то иностранный мальчик с западной стороны упал в речку, в Шпрее. И его хотели спасти. Восточно-германские пограничники открыли огонь. Не спасайте. И потонул... мальчик, совсем со стороны.

Убедила кого-нибудь берлинская стена? Опять нет. Опять её игнорируют. Да, она стоит, но к нам она не придёт. У нас стены такой не будет. И те танки, которые были в Будапеште и Праге, и те к нам не придут. На всех границах коммунистического мира, во всяком случае на европейских, поставлены электронные убиватели. Уже не люди, — приборы для убивания всякого. И это нам не грозит, мы этого не боимся... Изобрели в коммунистических странах принудительное психиатрическое лечение. Ничего. Мы живём спокойно. Там три раза в день... вот сейчас, идут дневным обходом и колют вещества, разрушающие мозг. Ничего. Мы живём спокойно.

Есть у вас такая Анжела Дэвис. Я не знаю, известна ли она у вас в стране. Но в нашей стране буквально целый год мы ничего не слышали, кроме Анжелы Дэвис. Во всём мире существует одна Анжела Дэвис, и она страдает. Нам прожужжали все уши этой Анжелой Дэвис. Маленьким детям в школах велели подписывать петиции в защиту Анжелы Дэвис. Мальчикам, девочкам по 8, 9, 10 лет. Ну, освободили Анжелу Дэвис. Хотя она и тут не очень тяжело сидела, но она приехала на поправку на советские курорты. И некоторые советские диссиденты, а больше не советские, а группа чехословацких диссидентов обратилась к ней: товарищ Анжела Дэвис, вы посидели в тюрь-

ме, вы знаете, как обидно сидеть, когда вы считаете себя невиновной. У вас сейчас такой авторитет, помогите нашим чехословацким узникам, защитите тех, кого в Чехословакии преследуют. Анжела Дэвис ответила: так им и надо! пусть сидят! Вот лицо коммуниста, вот сердце коммуниста. (англ.)

Я особенно хочу сейчас напомнить, что коммунизм развивается как стержень, он развивается единым стержнем, вовсе не меняясь, как принято о нём теперь говорить. Ленин. Если Ленин развивал марксизм, а он развивал его, то, во-первых, в сторону идеологической непримиримости. Читая Ленина, вы поражаетесь, сколько злобы и ненависти при малейшем расхождении, когда на волос расходятся взгляды. И потом развивал Ленин марксизм в сторону его человеконенавистничества. Перед октябрьской революцией в России написал Ленин такую книгу „Уроки парижской коммуны“. Он анализировал, почему коммуна в Париже в 1871 году потерпела поражение. И вот был главный вывод Ленина: коммуна слишком мало расстреливала. Коммуна слишком мало уничтожала. Надо было уничтожать целые классовые группы. Придя к власти, Ленин это показал.

Затем придумали такое слово „сталинизм“. И оно очень пошло. И сейчас даже на Западе часто говорят: только бы Советский Союз не вернулся к сталинизму. Но никакого сталинизма никогда не было. Это выдумка хрущёвской группы для того, чтобы свалить на Сталина все коренные особенности, все коренные вины коммунизма. И она очень эффектно удалась. А между тем всё самое главное успел сделать Ленин до Сталина. Это он обманул крестьян с землёй, это он обманул рабочих с самоуправлением, это он сделал профсоюзы органом угнетения, это он создал ЧК, это он создал концентрационные лагеря, это он послал войска подавить все национальные окраины и собрать империю.

Всего-навсего-то Сталин сделал по своей недоверчивости вот что: там, где достаточно было для общего страха посадить двух человек, он сажал сто. А следующее руководство вернулось к прежней тактике. Там, где достаточно посадить двух человек, там и сажают двух человек, а не сто. Вся вина Сталина была перед своей собственной

партий. Что он собственной коммунистической партии не доверял. И за это одно придумали сталинизм. И Сталин никуда не ушёл от той же линии. И когда рисовали у нас барельеф: Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин, а дальше можно пристроить Мао Цзе-дуна, Ким Ир Сена, Хо Ши Мина — это всё стержень, это всё единая линия.

Сейчас ещё принята на Западе и такая теория: вот в Китае очень такой... очищенный коммунизм, пуританский коммунизм, не переродившийся. А в Китае просто задержалась та фаза казарменного коммунизма, которая установлена была Лениным в России, но продержалась только до 1921 года. Ленин установил её не потому, что этого требовали военные обстоятельства. Он установил её потому, что так они мыслили, так они представляли будущее общество. Но когда под давлением экономики надо было отступить, ввели так называемый НЭП. И отступили. А у китайцев эта фаза задержалась дольше. Китай характеризуется сейчас всеми теми чертами массового принудительного труда, который не оплачивается сколько-нибудь сравнительно со своей стоимостью. Работой и в праздники, насильственными коммунами, и вталкиванием, вдолблением лозунгов и догм, которые упраздняют человеческое существо. Человек перестаёт быть индивидуальностью.

Самое страшное в мировой системе коммунизма — это её соединённость, это её сплочённость. Недавно Энрико Берлингюэр сказал так, совсем вот недавно: над Коминтерном закатилось солнце. О, нет! Оно не закатилось. Его энергия сгустилась в электричество и ушла в подземные провода. Солнце Коминтерна течёт электрическим током высокого напряжения всюду под землёй. И когда недавно был такой инцидент — возмущались западные коммунисты ложью, будто бы подсунули какую-то инструкцию им из Москвы, будто бы Португалия действует по московской инструкции, ну и, конечно, в Москве отрицали. А потом нашли, что всё это самое открыто напечатано в журнале „Проблемы мира и социализма”. Эта самая инструкция Пономарёва. Видимые отличия коммунистических партий мира мнимые. Они все едины в одном: ваш строй должен быть уничтожен!

Что удивляться, что это плохо понимает мир? Если социалисты, наиболее близкие к коммунистам, — и они

не понимают, и они не могут поверить в природу коммунизма до конца. Недавно вождь шведских социалистов Пальме сказал так: „единственно, как может коммунизм выжить, — это стать на демократические позиции”. Единственно, как может выжить волк, — это перестать есть мясо и стать ягнёнком (смех). А ведь Пальме — совсем рядом. Швеция близко к Советскому Союзу. Я думаю, и он, и Миттеран, и итальянские социалисты ещё доживут до положения Суареша. Но и положение Суареша сегодня ещё не самое плохое. Самое страшное ждёт Суареша ещё впереди. Истинно, что их всех ждёт, могли бы рассказать только русские социалисты — меньшевики и эсеры. Но они никогда не расскажут. Они все в земле, они убиты. Читайте „Архипелаг ГУЛАГ”...

Конечно, в нынешней обстановке коммунисты вынуждены применять разные виды маскировки. То мы слышим „Народный фронт”, то мы слышим так называемый „диалог с христианством”. Коммунисты будут вести диалог с христианством! У нас в Советском Союзе диалог был простой — из пулемётов, из револьверов. Сегодня в Португалии на безоружных католиков коммунисты пришли с камнями и побили их камнями. Сегодня. Это — „диалог”... И когда французские и итальянские коммунисты говорят, что они будут вести диалог, то дайте им только силу, мы увидим этот диалог. Я в этом году путешествовал по Италии в апреле. Я был поражён: на вратах храма серп и молот. На дверях священника оскорбительная надпись. Хулиганские коммунистические надписи вообще пестрят на стенах итальянских городов. Это сейчас, пока они ещё не пришли к власти, это сейчас... Их руководители, когда они были в Москве, Пальмиро Тольятти, подписывали Сталину, соглашались со всеми казнями. Дайте им придти к власти в Италии — мы увидим этот диалог!

Все коммунистические партии, когда они получают полную власть, становятся совершенно беспощадны. Но на тех стадиях, когда власти нет, им надо применять маскировку.

Нам, русским, с русским опытом, трагически смотреть на то, что происходит в Португалии. Нам говорили всегда: ну, это у вас, у русских, это вы не могли вашу



демократию удержать, 8 месяцев, и у вас её задушили, это на востоке Европы. Но Португалия на крайнем западе Европы. Уже западнее Португалии — дальше некуда. И что мы видим? Мы видим как будто бы карикатуру, чуть-чуть изменённые русские события. Для нас это звучит повторением. Мы узнаём, мы можем подставить. Вместо Суареша мы можем подставить наших социалистов. У нас тоже говорили, большевики шли к власти под лозунгом: „Вся власть Учредительному собранию!” Но получили на выборах 25 процентов. И разогнали его. Здесь коммунисты получили 12 процентов. Так они сделали парламент бездейственным. Какая ирония: говорят, социалисты — победители на выборах. Суареш — лидер победителей. И его лишили собственной газеты. Подумайте, — лидера, лидера победившей партии лишили собственной газеты! А что избрали ассамблею, она будет заседать — не имеет никакого значения. И обо всём этом западная пресса серьёзно пишет: первые свободные выборы в Португалии. О, Боже мой, упаси от таких свободных выборов. (апл.) Отдельные случаи коварства, отдельные случаи хитрости, конечно, в разных обстоятельствах меняются. Но мы узнаём этот характер, мы узнаём коммунистический характер в таком эпизоде, когда военные руководители, якобы не коммунисты, решили рассудить этот случай с газетой „Республика”: хорошо, приходите завтра в 12 часов дня, мы откроем вам двери, и вы тут разбейтесь. Но они открыли в 10, и почему-то знали только коммунисты. А социалисты не знали. Коммунисты пришли, сожгли всё, что надо уничтожить, а потом пришли социалисты. „Ах, это была ошибка! Ошибка, случайно, не сверили часы...”

Вот из таких-то приёмов, их тысячи, соткана вся история нашей революции. И будет много ещё таких случаев в португальской. Или такой пример: нынешние военные руководители Португалии для того, чтобы не потерять помощи Запада, они же уже разорили Португалию, есть-то уже нечего, помощь нужна, заявляют: да, у нас останется многопартийная система. И несчастный Суареш поставлен в положение — лидер победителей поставлен в положение, что он должен демонстрировать, что рад этому заявлению о многопартийной системе. Но в тот же день из

того же рта объявляется, что начинается немедленное построение бесклассового общества. А кто хоть сколько-нибудь из марксизма когда-нибудь видел самый малый кусочек, тот знает, что бесклассовое общество — значит, партий не будет. То есть в один и тот же день сказано: система многопартийная, все партии удушим. И второе не слышно, а первое слышно. И все повторяют: система будет многопартийная... Вот это приёмы коммунистов.

Португалия уже сегодня практически выпала из НАТО. Боюсь быть худым пророком: этих событий не остановить. Португалию можно считать уже очень скоро реальным членом Варшавского пакта. Но невозможно без боли смотреть на это трагическое и ироническое повторение коммунистических приёмов. На двух концах Европы с расстоянием в 60 лет так же точно в несколько месяцев удушается демократия, которая только-только-только хотела стать на ноги.

Частный вопрос о войне тоже отлично освещён в марксистской, коммунистической литературе. Вот как смотрит коммунизм на войну. Я цитирую Ленина: „Мы не можем стоять за лозунг мира, ибо считаем его архипутанным, тормозящим революционную борьбу” (письмо к Коллонтай, июль 1915). „Отрицать войну вообще — это не по-марксистски. Объективно — кому на руку лозунг мира? Во всяком случае, не революционному пролетариату” (письмо Шляпникову, ноябрь 1914). „Бесполезно выставлять добренькую программу благочестивых пожеланий о мире, если не выставлять в то же время и на первом месте проповедь нелегальной организации и гражданской войны.” Вот как смотрит коммунизм на войну. Война нужна. Война — это средство достичь цели.

Но к несчастью для коммунизма в 1945 году эта прямая линия упёрлась в вашу атомную бомбу. В американскую атомную бомбу. И тогда коммунисты переменили тактику. Тогда они стали внезапно сторонниками мира во что бы то ни стало. Стали собираться конгрессы мира. Петиции мира писаться. И Западный мир поддался этому обману. А цель и идеология осталась та же: уничтожить ваш строй! Уничтожить то, как на Западе идёт жизнь.

Но при вашем атомном перевесе нельзя было себе этого разрешить. И тут произошла подмена понятий. Под-

менили, сказали так: „не война” — это мир. То есть миру противопоставили войну. А это ошибка. Тезису противопоставили только часть антитезиса. Когда нельзя вести открытой войны, то можно потихоньку душить. Можно применять терроризм, партизанскую борьбу, насилие, тюрьмы, концлагеря. Скажите, это что — мир?

Полная противоположность миру — это насилие. И те, кто хотят в мире мира, должны не только войну убрать из мира, но убрать и насилие. А если нет открытой войны, но идёт насилие, — это не мир.

Пока в Советском Союзе, в Китае, в других коммунистических странах нет предела насилию, а теперь присоединяется к этому массиву, кажется, и Индия, кажется, миссис Ганди не зря ездила в Москву, она хорошо переняла их методы. Можно рассчитывать, что она ещё 400 миллионов добавит к тому массиву, 400 миллионов человек. Пока нет границ насилию, ничто не сдерживает насилие на таком огромном массиве, больше половины человечества, — как можете вы считать себя в безопасности? Америка с Европой вместе — ещё не остров в океане, нет, так я ещё не скажу. Но Америка с Европой уже меньшинство. И процесс этот продолжается всё время. Пока в тех коммунистических странах общественность не контролирует своих правительств и не может иметь суждения, да даже не может знать ничего, даже знать ничего не может, что правительства задумали, — до тех пор у западного мира и у всеобщего мира нет никакой гарантии.

Говорит пословица: схватишься, как с горы пока-тишься.

Понятно, вы любите свободу. Но в нашем тесном мире приходится платить за свободу пошлину. Нельзя любить свободу только для себя и спокойно соглашаться с тем, что пусть в большинстве человечества, на большей части земли царит насилие и душит людей.

Их идеология: уничтожить ваш строй. Это цель их 125 лет. Она никогда не менялась. Лишь немножко менялись методы. И когда ведётся разрядка, мирное сосуществование и торговля, они настаивают: а идеологическая война должна продолжаться! А что такое идеологическая война? Это сноп ненависти, это повторение клятвы: западный мир должен быть уничтожен. Как когда-то в римском

сенате знаменитый оратор кончал каждую речь свою фразой: „А между прочим Карфаген должен быть уничтожен”, — так и сейчас при каждом действии, торговле или разрядке, пресса коммунизма, закрытые инструктажи, тысячи лекторов повторяют: а капитализм должен быть уничтожен!

Можно понять, это человеческое чувство, я всегда говорю: живя в благополучии, трудно поверить, что надо уже сейчас, в благополучии, применять какие-то меры предосторожности. Что в благополучии уже надо остерегаться.

Да если начать перечислять список нарушенных Советским Союзом договоров, то это составит ещё один доклад. Я понимаю, когда ваши государственные деятели подписывают с Советским Союзом или с Китаем какой-нибудь договор, вам хочется верить, что этот договор будет выполнен. Но ведь и поляки в 1921 году в Риге, когда подписывали договор с коммунистами, им тоже хотелось верить, хотелось верить, что это будет так. Но их ударили в спину. Но ведь Эстония, Латвия и Литва, когда они подписывали договоры о дружбе с Советским Союзом, им тоже хотелось верить, что это будет так. Но их всех проглотили.

Те самые люди, которые подписывают с вами договоры, те самые, не другие, отдают распоряжения о психиатрических домах и о тюрьмах. И почему же они должны быть разные? Из любви ли к вам? Как это объяснить? Почему они тех, кто у них под рукою, дают, а по отношению к вам будут благородно честными? Пока что защитники разрядки этого не объяснили.

Вам хочется верить, и вы уменьшаете свою армию. Вы уменьшаете исследовательские работы. Целый был такой институт по изучению Советского Союза. Хоть один-то институт был. Вы ничего не знаете о Советском Союзе. Там темнота. Вот эти прожекторы туда не бьют. (апл.) И ничего не зная, вы упразднили последний, единственный институт, который хоть что-то мог изучить. Жалко денег стало. А Советский Союз, наоборот, изучает вас. Вы все открыты через прессу, через парламент. И ещё он изучает вас. И увеличивает штаты своих представителей здесь. И они следят за вашими учреждениями, они аккуратно по-

сещают заседания, если можно, даже комиссии вашего Конгресса, они всё это изучают.

Конечно, всякие мирные соглашения очень привлекательны для тех, кто их подписывает. Они укрепляют престиж у избирателей. Но будет время, имена этих государственных деятелей смоеет история. Никто их уже не вспомнит. А западные народы будут расплачиваться за эти доверчивые соглашения. (апл.)

И если бы только оказывалось, что разрядка нужна вот сегодня, сейчас. Нет, находятся теоретики, которые очень далеко видят. Директор русского института колумбийского университета Шульман на заседании сенатской комиссии по иностранным делам осветил блестящую дальнюю перспективу, он сказал: „разрядка имеет дальний план. В дальнем плане будет совместное сотрудничество Соединённых Штатов Америки и Советского Союза в установлении мирового порядка”. Да какой же новый порядок в сотрудничестве с ненасытным тоталитаризмом думает установить этот профессор? (апл.) Это не ваш будет порядок.

Но главный аргумент сторонников разрядки известен, это всё необходимо делать для того, чтобы избежать ядерной войны. Я думаю, что после всего, что произошло за эти годы, я могу успокоить их и вас: а ядерной войны, ядерной войны — и не будет. Зачем? Зачем ядерная война, если вот уже целые 30 лет от Западного мира отламывают столько, сколько надо. Страну за страной, страну за страной. Процесс идёт. Если говорить только об этом 1975 году, ну вот, 4 страны уже отломили. Четыре. Три страны Индокитай и Индию. И так процесс идёт. И чрезвычайно быстро. Этот темп надо оценить. Но, допустим, наступит момент, когда, наконец, Западный мир поймёт и скажет: нет, ни шагу дальше! Что произойдёт в этом случае?

Я хочу обратить ваше внимание. У вас есть такие теоретики, которые говорят: остановите ядерное вооружение США. Мы, мол, уже имеем сейчас, Америка сегодня имеет ядерного вооружения столько, достаточно, чтобы уничтожить половину мира противоположного. Зачем нам больше? Пусть судят ядерные специалисты. Но почему-то ядерные специалисты Советского Союза, почему-то руко-

водители Советского Союза думают иначе. Спросите ваших специалистов. Я уже не говорю о превосходстве в танках, в самолётах в 4, 5, 7 раз. Но вот за сегодняшними переговорами СОЛТ, за сегодняшним разоружением ваш оппонент всё время обманывает вас. То использует радар на контроле, который по соглашению нельзя было использовать. То нарушает договор об ограничении размеров ракет. То нарушает условия их разрушительной силы. То нарушает условия о разделяющихся головках. „Не доглянешь оком, заплатишь боком”. (англ.) Было время, когда Советский Союз не шёл ни в какое сравнение с вами по атомному вооружению. Потом сравнялся, сравнялся. Потом, сейчас уже все признают, что начинает превосходить. Ну, может быть, сейчас коэффициент больше единицы. А потом будет два к одному. А потом три к одному. А потом пять к одному. Я не специалист в этой области, и вы не специалисты. Но, наверное, это не зря. Но я думаю, что если бы хватало того вооружения, не гнали бы дальше. Я думаю, что есть там какой-то резон. Что при таком превосходстве в ядерном оружии можно будет ваше оружие остановить! И в одно несчастное утро открыто объявят: внимание, мы отправляем войска в Европу. А если вы пошевелинётесь, мы вас уничтожим. И окажется, что это соотношение: три к одному или пять к одному — сработает. И вы не шевельнётесь. И у вас найдутся теоретики, которые сейчас же скажут: о, только бы наступила благословенная тишина!..

Это всё напоминает такую ситуацию, что сидит за шахматной партией игрок, который чрезвычайно высокого мнения о себе и невысокого мнения о противнике. Он считает, что он конечно превосходит противника, что он такой тонкий, такой расчётливый, ну, конечно, он обыграет. Он сидит, рассчитывает свои комбинации, вот двумя конями он делает четыре вилки. Он ждёт не дождётся следующих ходов, он ёрзает на стуле от радости. Он не допускает, что противник умней его. Он не видит, что у него летят пешки. И ладья его под ударом. Ему всё кажется: ага, так-так-так-так, мы Москву, Пекин, Пхеньян, Ханой, мы их перессорим. Да смешно! Кто их перессорит? А пока что: в Западном Берлине вас переиг-

рали. В Португалии исключительно тонко переиграли. На Ближнем Востоке переигрывают. Не надо быть такого низкого мнения о своём противнике.

Но даже если бы этот шахматист мог бы выиграть партию на доске, он забывает, он забывает, увлечённый доской, поднять глаза и посмотреть, что у его противника глаза убийцы. И если у противника партия не удастся, у него за спиной дубина, и он раскроит и голову этому шахматисту, и эту партию. (англ.) Этот расчётливый шахматист забывает поднять глаза, посмотреть и на барометр. Барометр упал. Он не видит, что уже нет света из окна, что идут тучи и надвигается ураган. Вот это значит слишком поверить в свои способности на шахматной доске.

А подходит действительно... Кроме той тяжёлой политической ситуации, которая сегодня на земле, мы с вами присутствуем, на нас надвигается ещё новая ситуация. Это — кризис неведомого рода, это нечто другое, это совсем не политическое. Приближается крупный поворот всей мировой истории, всей цивилизации. Это уже замечено многими в разных местах, по своим специальностям. Это поворот, я бы не нашёлся ни с чем его больше сравнить, как с поворотом от Средних Веков к Новому Времени. Это целый поворот цивилизации. Это такой поворот, когда устоявшиеся понятия вдруг становятся не резкими, теряют точные контуры. Это такой поворот, когда часто употребляемые, привычные наши, обычные слова теряют смысл, становятся пустышками. Это такой поворот, когда методы, безотказные много столетий, — не берут, перестают действовать. Это такой поворот, когда иерархия ценностей, которой мы поклоняемся, что мы считаем самым для себя дорогим и что менее, из-за чего колотится наша жизнь и наше сердце, — эта иерархия начинает качаться и может рухнуть.

И вот эти два кризиса, политический кризис сегодняшнего мира и придвигающийся кризис духовный, они сходятся во времени. И, очевидно, ещё нашему поколению предстоит войти в них. На руководство вашей страны, которая откроет третье столетие вашего существования, может быть, ляжет тяжесть, которой не было ещё во всей американской истории. Вашим руководителям этого уже близкого времени понадобится глубокая ин-

туиция, духовное предвидение, высокие качества ума и души. Пошли вам Бог, чтобы в те минуты вас возглавили такие же великие характеры, как те, которые создали вашу страну. (англ.)

За последнее время, путешествуя по некоторым вашим штатам, я, конечно, ощутил, что эти два города, в которых я выступаю, Вашингтон и Нью-Йорк, далеко-далеко не выражают вашей страны, всего разнообразия и всех возможностей её. Так же точно как старый Санкт-Петербург не выражал России. Как Москва не выражает сегодняшнего Советского Союза, как Париж не раз злоупотреблял, что выражает всю Францию.

Я испытал глубокое впечатление, прикоснувшись к тем местам, откуда текли и текут ваши истоки. Ещё раз задумаешься: люди, создавшие ваше государство, никогда не упускали из руки нравственного компаса. Они не смеялись над абсолютностью понятий „добро” и „зло”. И свою практическую политику они сверяли с этим нравственным компасом. И вот удивительно: политика, рассчитанная по нравственному компасу, оказывается самой дальновидной и самой спасительной. Хотя в ближайшем коротком кругозоре кажется: да зачем эта нравственность? Вот надо сейчас, тут смотреть, как вот тут близко сейчас покомбинировать.

Руководители, создавшие вашу страну, никогда не говорили: пусть рядом царит рабство, ладно, а мы вступим с ним в разрядку, лишь бы оно не распространилось на нас.

Я достаточно попутешествовал по разным штатам вашей страны, в разных концах её, чтобы сказать, что я убедился в здравости, крепости, широте провинциальной Америки. Я уверен, что эти здоровые, щедрые, неисчерпаемые силы помогут вам возвысить весь стиль вашего государственного руководства.

Да, когда путешествуешь по вашей стране, видишь вашу свободную и независимую жизнь, действительно, все эти мировые опасности, о которых я сегодня говорил, кажутся нереальными. Действительно, вот я знаю, я пришёл, говорю. Но здесь на ваших просторах и я начинаю понимать это беззаботное чувство. Правда, как-то нереально. На этом континенте трудно поверить во всё то, что



происходит на земле. Но, господа! Беспечной жизни уже не будет ни у вашей страны, ни у нашей страны. У наших двух стран очень нелёгкая судьба. И лучше к этому готовиться заранее. (апл.)

Я понимаю, я ощутил: вы устали. Вы устали, но ведь вам ещё не достались подлинные страшные испытания XX века, которые перекатились над старым континентом. Вы устали, но не так, как устали мы, 60 лет лежим, придавленные к земле. Вы устали, но не устали коммунисты, которые имеют целью уничтожить вашу систему! Нисколько не устали. (апл.)

Я понимаю, сейчас самый неудачный момент приехать в эту страну и выступать вот с такими речами, как я. Но если бы был удачный момент, удобный, в моих выступлениях не было бы и нужды. (апл.) Вот именно потому, что момент самый неудачный, именно поэтому я пришёл рассказать вам об опыте отсюда. Если бы наш опыт Востока сам к вам влился, мне не нужно было бы принимать эту несвойственную мне и нелюбимую мною роль оратора. Я писатель, я бы сидел и писал свои книги.

Но концентрируется мировое зло, ненавистное к человечеству. И оно полно решимости уничтожить ваш строй. Надо ли ждать, что оно ударит ломом в вашу границу и что американская молодёжь должна будет умирать на границах вашего континента?

После моего первого выступления, как всегда в прессе бывают, были поверхностные, в суть не вникающие комментарии. И один из них был такой: будто бы я приехал призывать Соединённые Штаты освобождать нас от коммунизма. Кто хоть сколько-нибудь следил за тем, что я писал и что говорил много лет в Советском Союзе, а потом уже на Западе, тот знает: я всегда говорил противоположное. Я призывал моих соотечественников, тех, у кого в трудные моменты дрогнуло сердце, и они смотрели с мольбой на Запад, я призывал: не ждите помощи! И не просите помощи! Это нечестно. Мы должны стать сами на свои ноги. У Запада довольно своих забот без нас. Поддерживают нас — спасибо сердечное. Но просить, но призывать — никогда.

Я сказал прошлый раз: в мире идут два процесса. Один процесс — духовного освобождения СССР и других

коммунистических стран. Второй процесс — подача помощи с Запада коммунистическим правительствам. Уступок, разрядки, отдачи целых стран. И я только сказал: помните, мы там сами должны подняться, но, защищая нас, вы защищаете своё будущее.

Мы, там, по рождению рабы. Мы родились рабами. Вот я не молод, а я родился уже в рабстве. А все, кто моложе меня, тем более. Мы рабы, но мы тянемся к свободе. А вы, вы свободны по рождению. Но если вы свободны по рождению, зачем вы подставляете шею рабству? Зачем вы помогаете нашим рабовладельцам? (апл.) Я единственно о чём просил в моей прошлой речи и прошу сейчас: когда нас живьём закапывают в землю (я сравнивал предстоящее европейское соглашение с братской могилой Восточной Европы) ... А вы знаете, это очень неприятное ощущение: когда земля забивается тебе в рот, а ты ещё жив... Когда нас живьём закапывают в землю, пожалуйста, не подавайте лопаты могильщикам! Пожалуйста, не посылайте им современных землеройных машин! (апл.)

По совпадению, в тот самый день, когда я произносил речь в Вашингтоне, к вашим сенаторам в московском Кремле обратился Сулов. И он сказал: собственно, значение торговли больше политическое, чем экономическое. Обойдёмся мы и без вашей торговли. — Ложь! Всё существование наших рабовладельцев от начала и до конца стоит на западной экономической помощи. (апл.) Я говорил в прошлый раз: начиная от первых деталей, которыми восстанавливались заводы наши в 20-е годы, начиная отстроек Магнитостроя, Днепростроя, автомобильных заводов, тракторных в первые пятилетки, и в послевоенные годы и сейчас, и всё, что требуется им от вас сейчас, это всё совершенно необходимо. Не политически, — экономически необходимо советской системе. Советская экономика обладает чрезвычайно малым коэффициентом полезного действия. Чрезвычайно слабой эффективностью. И то, что у вас делается малым числом людей, малым числом машин, — у нас собирает огромные толпы и большие массы материалов. Поэтому советская экономика не может справиться со всем сразу. И война, и космос, связанный с войной, и тяжёлая промышлен-

ность, и лёгкая промышленность, и накормить своё население и одеть, — так вот, силы всей советской экономики сосредотачиваются на войне, где вы не будете помогать. А всё, чего не хватает, что можно пристроить туда или что нужно для того, чтобы накормить народ, или сделать остальную промышленность, — всё берётся от вас. Так вы косвенно помогаете военной подготовке и полицейской крепости Советского Союза. (апл.)

Чтобы представить себе, как нелепа советская экономика, маленький пример. Скажите, что это за страна, великая держава мира, которая: имеет огромный военный потенциал, завоёвывает космос, — а что она может продать? Всю тяжёлую технику, сложную, тонкую технику — покупает. Так тогда это сельскохозяйственная страна? Ничего подобного, зерно тоже покупает. Что же мы можем продавать? Что это за экономика? То, что создано у нас социализмом? Нет! То, что Бог от начала положил в русские недра, вот это всё мы транжирим и продаём. То, что от Бога. А когда кончится, — нечего будет и продавать.

Но торговля на этом не остановится. Председатель Американской Федерации Труда — Конгресса Производственных Профсоюзов мистер Джордж Мини справедливо сказал недавно: это — не займы, которые мы даём, которые вы, Соединённые Штаты, даёте Советскому Союзу, а это экономическая помощь. Она даётся на таких процентах, на которых американский рабочий не может взять ссуду на постройку дома. Это — прямая помощь.

Но если б это было всё. Я в прошлой речи говорил и сейчас хочу напомнить, надо на каждую вещь смотреть ещё с той стороны, от нас. Наша страна берёт вашу помощь, а в школах учат, а в газетах пишут, а в лекциях говорят: смотрите, западный мир загнивает! Смотрите, экономика западного мира кончается, сбываются великие предсказания Маркса, Энгельса и Ленина: капитализм погиб! Он уже совершенно погиб! А наша социалистическая экономика, мол, расцветает, она доказала наконец торжество коммунизма. И вот я думаю, господа, особенно те, кто имеет социалистическое мировоззрение: дайте же наконец социалистической экономике доказать своё превосходство! Дайте ей доказать, что она передовая, что она всемогущая, что она вас побила, что она вас перегнала.

Не вмешивайтесь в неё. Перестаньте ей давать займы и продавать. *(апл.)* Если она такая всемогущая, ну вот она встанет сама, постоит 10-15 лет на своих собственных ногах, а мы посмотрим. И я скажу вам, что будет. Так пошутили, а дальше без шутки. А без шутки будет то, что когда на все стороны нельзя будет управиться экономике, она должна будет уменьшить свою военную подготовку, она должна будет бросить бесполезный космос и должна будет кормить народ и одевать его. И должна будет смягчить свою систему.

Таким образом, всего-навсего, к чему я призываю, это: раз она такая процветающая экономика, раз она такая гордая, а ваша такая пропащая, загнившая, так перестаньте той помогать. Ну где же, когда же калека помогал богатырю? *(смех и аплодисменты)*

И ещё одно искажение промелькнуло в вашей прессе по поводу моего предыдущего выступления. Сказали: ну вот, приехал к нам ещё один оратор холодной войны. Приехал к нам ещё один призывать возобновить холодную войну. Нет, плохо поняли. Холодная война, война ненависти, она и сегодня идёт, только со стороны коммунизма. Что такое холодная война? — ругательная война. Вас и так ругают. С вами торгуют, подписывают договоры, — и ругают, и проклинают. И в тех источниках, которые вы можете читать, а ещё больше в тех, которые вы не читаете и не слышите, там, в глубине Советского Союза, против вас холодную войну не прекращали никогда ни на одну минуту. Вас иначе не называют, как американские империалисты. Я говорю: в один день достаточно всем газетам напечатать, что вы хотите подавить мир, — и нашим людям даже негде взять другой информации. Но призываю ли я вас к холодной войне? Ни в коем случае, Боже упаси, зачем? Всего-навсего, только: дайте возможность этой экономике развиваться. Не закапывайте нас в землю, а экономика пусть развивается, а мы посмотрим.

Но способна ли свободная, разнообразная западная система принять такую линию? Способна ли она вся едино согласиться: и правда, перестанем соревноваться, перестанем угождать, перестанем отталкивать друг друга локтями — мне, мне, мол, пожалуйста, концессию, мне вот там дайте... Очень может быть, что и не согласится. И если та-

кого единства не будет найдено, если в безумном соревновании фирм будут всё так же гнать займы и тонкую технику, и подавать землеройные машины для наших могильщиков, боюсь, что окажется прав Ленин, который сказал: сама буржуазия продаст нам верёвку, а мы ей дадим повеситься.

С древних времён торговля начиналась с того, что два встретившихся человека, пришедших из леса или по морю, по реке, показывали, что у них нет палки, нет камней, что они не вооружены. И в знак этого они показывали открытую ладонь. И так создавалось — рукопожатие. И сегодня то, что называется „детант”, — это есть ослабление туго натянутой верёвки. (Какое зловещее совпадение — опять верёвки...) Ведь „детант” это ослабление. А я бы сказал — нужна открытая ладонь. Нужны такие отношения между Советским Союзом и Соединёнными Штатами, чтобы не было обмана в вооружении, чтобы не было концентрационных лагерей, чтобы не было психиатрических домов для здоровых. Чтобы не сжимались горла женщин от слёз. Чтобы прекратилась эта вечная идеологическая война, которую против вас ведут. Чтобы такое выступление, как моё сегодня, не носило бы никакого характера исключительности. А запросто, приезжали бы к вам люди из Советского Союза, из Китая, из других коммунистических стран, не подготовленные КГБ, не одобренные ЦК партии, а просто приезжали люди от себя, и могли бы вам рассказывать, что, правда, у нас творится.

И вот это и была бы, как я называю, „открытая ладонь”. (*аплодисменты*)

## РЕЧЬ НА ПРИЁМЕ В СЕНАТЕ США

Вашингтон, 15 июля 1975

Многоуважаемые господа!

Здесь, в здании Сената Соединённых Штатов Америки, я не могу не начать с того, что нисколько не забыл ту высокую и даже исключительную честь, которую оказал мне Сенат, проявив двукратные усилия присвоить мне звание „почётного гражданина Соединённых Штатов”. Я понял эти усилия так, что вы имели в виду не исключительно меня как личность, но — бесправное множество моей страны и даже других коммунистических стран, то множество, которое никогда не имело и не имеет возможности высказать своё мнение ни в прессе, ни в парламентах, ни на международных конференциях.

Принося вам благодарность за решения, принятые Сенатом США относительно меня, я тем более ощущаю ту ответственность, почти непосильную для плеч отдельного физического человека, ответственность такого представительства. Но так как я никогда не забывал страданий, поисков и порывов того безмолвного множества и не имел другой цели в жизни, как выразить именно их, — это даёт мне силу и для нынешних выступлений в США и для сегодняшнего выступления здесь. В виде публицистическом у нас, в коммунистических странах, выступают пока немногие, но сплошь миллионы понимают мерзость системы, испытывают отвращение к ней, а кто успевает — „голосует ногами”, просто убегая от этого массового насилия и уничтожения.

Сегодня здесь я вижу не только членов Сената, но и группу членов Палаты Представителей. Итак я впервые выступаю перед участниками законодательного процесса вашей страны, влияние которого за последние годы рас-

пространилось на ход далеко не только американской истории.

Наш с вами жизненный опыт почти совершенно и во всём противоположен. От изобилия пережитого в XX столетии русский опыт стал горьким образом слишком богат и даже обращён к вам как бы из Будущего. Тем более необходимо нам с настойчивостью и полной открытостью выражать друг другу свой опыт. Одна из самых страшных опасностей сегодняшнего мира в том и состоит, что судьбы мира как никогда связаны в единый клубок, так что события или ошибки в одной части мира тотчас отражаются на судьбе другой, — а между тем обмен информацией и суждениями между массами населения перегорожен железными заставами с одной стороны, а с другой стороны — искажается удалённостью, слабой осведомлённостью, узостью кругозора или преднамеренностью теорий наблюдателей и истолкователей.

Несколькими своими выступлениями в вашей стране я пытался прорвать эту стену бедственного незнания или беспечной надменности. Я пытался передать вашим соотечественникам скованное дыхание жителей Восточной Европы именно в эти недели, когда дружным согласием дипломатических лопат будут засыпаны и утрамбованы в братской могиле ещё дышащие груди. Я пытался объяснить американцам, что именно в нежном расцвете детанта — ещё уменьшена, ещё снижена в 1973 году голодная норма питания в тюрьмах и лагерях СССР, и именно в последние месяцы, когда всё большее количество западных ораторов указывает на благотельные последствия „разрядки“, — в Советском Союзе утверждено ещё новое важное усовершенствование наказательной системы: сохраняя бессмертное первенство в изобретении концлагерей принудительного труда, тюрьмоведы Советского Союза сегодня установили и новый вид одиночного тюремного заключения: принудительный труд в тюремных камерах — холодных, голодных, без свежего воздуха, без достаточного света и по непосильным нормам выработки, а за их невыполнение — карцер.

Увы, такова человеческая природа, что никакие чужие страдания не омрачают нашего временного блаженства и не могут быть нами ощущены, пока они не выпа-

дут и на нашу долю. Я не уверен, сумел ли я своими выступлениями донести это дыхание грозной реальности до благоденствующего американского общества. Но я сделал, что был обязан и что мог. Тем горше, если справедливость моих предупреждений будет оценена лишь через несколько лет.

Недавно ваша страна пережила длительное вьетнамское испытание, утомившее и разделившее ваше общество. Я уверенно говорю вам: это испытание было самым лёгким из той цепи испытаний, которые в близкое время ожидают вашу страну.

Соединённые Штаты Америки, хотя бы они того или не хотят, поднялись на хребет мировой истории и несут на себе тяжесть руководства если не всем миром, то ещё доброй половиной его. Соединённые Штаты не имели до того тысячелетней подготовки, и за двести лет, пожалуй, не было времени окончательно спаяться национальному самосознанию, — а груз обязанностей и задач наваливается, не спросясь.

Потому и вы, члены Сената и члены Палаты Представителей, каждый из вас — не рядовой член рядового парламента, но вы взнесены на особую высоту в современном мире. Я хотел бы передать вам, как мы там, подданные коммунистических стран, воспринимаем ваши слова, действия, проекты и осуществлённые резолюции, разносимые мировым радио, — иногда с горячим одобрением, иногда с ужасом и отчаянием, — но никогда не имеем возможности крикнуть об этом вслух. Может быть некоторые из вас, сами для себя, ещё чувствуют себя всего лишь представителями своего штата или своей партии, — но мы оттуда, издали, не видим этих различий, мы воспринимаем вас не как демократов и не как республиканцев, не как представителей Восточного побережья, или Тихоокеанского, или Среднего Запада, — мы воспринимаем вас как деятелей, от каждого из которых в близком будущем зависит трагический или спасительный ход мировой истории.

В том наступающем сочетании мирового политического кризиса и данного поворота человечества, утомлённого и засорённого ложной иерархией ценностей, — на вас или на ваших последователей в Капитолии выпадут, уже



сегодня ложатся задачи непомерно огромные, несравненно более крупные, чем короткие расчёты дипломатии, межпартийной борьбы или противоборения между Президентом и Конгрессом: И выбора нет, как только: возвыситься в рост с задачами века.

Очень скоро, слишком скоро вашему государству понадобятся не только незаурядные, но — великие люди. Найдите их в своих душах. Найдите их в своих сердцах. Найдите их — в глубинах своего Отечества!

## ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ РАДИО

Лондон, 26 февраля 1976

Радиостанция Би-Би-Си гостеприимно предложила мне высказаться: как я, иностранец, изгнанник, вижу сегодняшний Запад и, в частности, вашу страну. Посторонний взгляд может нести нечто свежее. Я хочу надеяться, что вам будет не очень скучно выслушать меня. Разумеется, я недостаточно знаю внутреннюю вашу историю, но за внешней, как и многие русские, всегда следил внимательно. Я буду говорить откровенно, не пытаюсь понравиться вам или польстить. Поверьте, я рад был бы наполнить эту беседу восклицаниями восхищения. Четверть века назад в каторжных лагерях Казахстана, готовясь к нашим безнадёжным мятежам против коммунистических танков, мы видели Запад солнцем свободы, твердыней духа, сокровищицей разума.

Как раз в тот год ваш министр Моррисон удачной тактикой заставил газету „Правду” бесцензурно напечатать целую страницу его высказываний. Боже мой, с какой жадностью мы, каторжане с обритыми головами, в оборванных грязных телогрейках, стуча тяжёлыми лагерными топалами, ринулись к витрине, где вывешивалась центральная большевистская газета: вот сейчас и в наше подземное царство ворвётся алмазно-светлый и алмазно-твёрдый луч истины и надежды. Небывалый за 40 лет прорыв через бульдожью хватку советской цензуры! что за правду он сейчас им влепит! как он нас поддержит! Но мы читали, читали эту беспомощную водянистую статью — и оседали вместе с ней: то была легкомысленная речь человека, не имеющего понятия о свирепой структуре, о безжалостных целях коммунистического мира. (Потому-то „Правда” и расщедрилась её напечатать.) Нам, испытавшим 40 лет ада, английский министр не нашёлся сказать ни одного спасительного слова.

Шли годы и шли десятилетия. Несмотря на железный занавес, сведения о событиях и мнениях Западного мира проникали и проникали к нам, особенно через русские передачи Би-Би-Си, даже и в периоды жестоких глушений. И чем дальше, тем больше состояние вашего мира вызывало у нас недоумение.

Есть много загадок и противоречий в человеческой натуре, их сложность и вызывает к жизни искусство, то есть поиск не линейных формулировок, не плоских решений, не однозначных объяснений. Среди таких загадок: почему люди, придавленные к самому дну рабства, находят в себе силу подниматься и освобождаться — сперва духом, потом и телом? А люди, беспрепятственно режущие на вершинах свободы, вдруг теряют вкус её, волю её защищать и в роковой потерянности начинают почти жаждать рабства? Или: почему общества, кого полвеками одурманивают принудительной ложью, находят в себе сердечное и душевное зрение увидеть истинную расстановку предметов и смысл событий? А общества, кому открыты все виды информации, вдруг впадают в летаргическое массовое ослепление, в добровольный самообман?

Таким открыли мы за многие годы соотношение духовных процессов, идущих на Востоке и на Западе, — увы, ваш процесс вдесятеро и вдесятеро быстрее, чем наш, и это почти лишает человечество надежды избежать глобальной катастрофы. Годами мы не хотели этому верить, мы надеялись, что Запад видится нам таким от недостаточности приходящих сведений. Несколько лет назад в нобелевской лекции я говорил об этом уже с большим опасением. И всё же, пока сам не попал на Запад и не осмотрелся здесь два года, я не мог бы представить, до какой крайней степени Запад *желает* быть слепым к мировой ситуации, до какой крайней степени Запад уже обратился в мир потерянной воли, цепенеющий перед опасностью и более всего угнетённый необходимостью защищать свою свободу.

Есть известная немецкая пословица: *Mut verloren — alles verloren*, потеряно мужество — потеряно всё. Есть другая, древняя латинская, где верным признаком гибели считается потеря разума перед тем. Но что должно

произойти с обществом, где скрещиваются, одновременно проявляются обе эти потери — и мужества, и разума? Таким нашёл я современный Запад.

Конечно, и этому процессу есть незагадочное объяснение, и не внешнее, как модно в наш век: считать самого человека безупречным, а всё сваливать на дурное устройство общества. Объяснение — самое человеческое: с тех пор как провозглашено и усвоено, что и а д человеком нет высшей силы, но человек — венец вселенной и мера всех вещей, — потребности, желания (и слабости) человека естественно понялись как высшие императивы вселенной. И, значит, только то в мире хорошо и следует делать, что ублажает наши чувства. Это мировоззрение родилось именно в Европе несколько веков назад, тогда его материалистические крайности объяснялись предыдущими крайностями католичества. Но в беспрепятственном полноводном течении нескольких веков оно заполнило весь Западный мир, уверенно вело его на колониальные завоевания, на захват африканских и азиатских рабов, — всё это в приличном соседстве с наружным христианством и расцветом собственных свобод. И к началу XX века это мировоззрение, казалось, стояло в зените цивилизации и разума. И ваша страна, Англия, всегда бывшая ядром или даже жемчужиной Западного мира, выражала ту цивилизацию особенно сильным ярким блеском — и в хорошем, и в дурном.

И в 1914 году, открывая зловещий XX век, над этой цивилизацией грянула гроза, размеров и дальности которой никто не мог тогда охватить. Четыре года Европа невиданно уничтожала сама себя, а в 1917 на её краю обнажилась и зазияла трещина — впад в бездну. Эта трещина тоже имела незагадочное происхождение: она была самым последовательным проявлением учений, веками блуждавших по Европе с немалым успехом. Но было в этой трещине и нечто космическое: по её ещё не вымеренной, не воображённой глубине; по её непредставимой способности расширяться и поглощать.

За 40 лет до того Достоевский предсказывал, что социализм обойдётся России в 100 миллионов жертв. Цифра казалась невероятной. Я очень рекомендую английской печати сделать для английского читателя доступным трёх-

страничный бесстрастный подсчёт русского профессора статистики Ивана Курганова. Он напечатан на Западе 12 лет назад, но, как всегда в социальной области, только то принимается нами в познание, что не противоречит нашим эмоциям. Из этого подсчёта мы узнаём, что Достоевский если ошибся, то в *меньшую* сторону: социализм обошёлся нынешнему Советскому Союзу с 1917 по 1959 — в 110 миллионов человек!

Когда происходит геологическая катастрофа — не сразу опрокидываются континенты в океан. Сперва в каком-то месте должна пролечь эта зловещая начинательная трещина. По многим причинам сложилось так, что эта первая мировая трещина легла по нашему русскому телу, могла бы — и в другом месте. России, которую принято было считать отсталой, довелось совершить социальный скачок в целое столетие, обгоняя опыт всех стран мира. С нечеловеческой плотностью мы пережили на себе нечеловеческий опыт, о котором Западный мир, вот и ваша Англия, до сих пор не имеют, а точнее: боятся иметь подлинное представление. И со странным ощущением мы, люди из Советского Союза, смотрим на нынешний Запад: как будто не соседи по планете, не современники, мы смотрим — из вашего будущего, или — на наше прошлое, 70-летней давности, которое вдруг повторяется. Всё то же, всё то же видим мы: всеобщее поклонение взрослому обществу мнениям своих детей; лихорадочное увлечение многой молодёжи ничтожно-мелкими идеями; боязливость профессоров оказаться не в модном течении века; безответственность журналистов за метаемые слова; всеобщая симпатия к революционерам крайним; немота людей, имеющих веские возражения; пассивная обречённость большинства; слабость правительств и паралич защитных реакций общества; духовная растерянность, переходящая в политическую катастрофу. Следующие события — впереди, но уже близко, и мы по горькой *на-мнати* можем без труда „предсказывать” их вам.

С тех пор, как в 1917 началась эта мировая катастрофа, — до конца логически развилось и проявилось то несравненное прагматическое мировоззрение, избегающее нравственных решений, на котором воспитана сегодняшняя Европа: коль скоро не существует никаких высших

духовных сил над нами, а я, Человек с большой буквы — венец вселенной, то если кому неизбежно погибнуть сегодня, пусть погибают всякие другие, а не самый ценный я и мои близкие. На территории бывшей России уже бушевал Апокалипсис, — Западная Европа спешила вырваться из этой проклятой войны, всё забыть поскорей, возобновить благоденствие, моды и новые танцы. Ллойд Джордж так и сказал: забудьте о России! Мы должны заботиться о благосостоянии нашего общества.

В 1914, когда нужна была помощь для западных демократий, Россией не побрезговали. Но в 1919, тем самым русским генералам, кто три года выручал Марну, Сомму и Верден, в напряжении всех русских сил и выше русского разума, — тем самым генералам западные союзники отказали и в военной помощи и в союзе. Уже довольно русских солдат было погребено даже и в земле Франции, а с других русских солдат, приплывших в Константинополь, высчитывали стоимость пайка, конфискуя в уплату солдатское бельё, и толкали их вернуться на расправу к большевикам или ехать полурабами на кофейные плантации Бразилии.

Неблаговидностям обычно находятся благовидные или даже блистательные оправдания. В 1919 не говорилось открыто: „да какое нам дело до ваших страданий?“, но говорилось: мы не имеем права поддерживать власти даже союзной страны против желания их народа. (Когда в 1945 пришлось миллионы советских людей против их воли предавать на Архипелаг ГУЛАГ, аргумент удобно обернули: мы не имеем права поддержать желание этих миллионов и не выполнить обязательств перед властями союзной страны. Каждый раз избиралась форма, удобнейшая для эгоизма.)

Но нашлось оправдание и выше: происходящие в России события были несомненным продолжением всего XVIII и XIX веков Европы, всеобщего перехода от либерализма к социализму. Итак по инерции идей надо было восхищаться ими. И вот вся *прогрессивная*, вся влиятельная общественность Европы (и в Англии — ярче всего) — восхищалась „невиданным передовым экспериментом в СССР“, когда нас уже душили раковые метастазы Архипелага, и зимой в тайгу отправляли умирать миллионы

самых трудолюбивых крестьян. Не так далеко от вас, на Украине и Кубани, пухли от голоду в мирные годы, корчились и умирали 6 миллионов крестьян, с детьми и стариками, — и ни одна западная газета не пожелала печатать тех фотографий и сообщений, а ваш остроумец Бернард Шоу опровергал: „В России — голод? Никогда я не обедал столь сытно и вкусно, как переехав советскую границу.” Ваши правители, парламентарии, ораторы, публицисты, писатели, властители ваших дум умудрялись десятилетиями *не замечать* 15-миллионного ГУЛАГа! До 30 книг о ГУЛАГе напечатаны в Европе прежде моей — и почти ни одна не замечена.

Где-то есть рубеж, господа, где инерция „идейности”, „зари новой жизни” переходит в сознательное рассчитанное — лицемерие. Ибо так — удобнее жить.

За последнее столетие, если не дольше, ваш конфликт с Гитлером был тем исключительным выдающимся случаем, когда Англия отбросила философию прагматизма: „что выгодно”, признавать во главе стран любую группу бандитов или труппу марионеток, лишь бы они фактически контролировали территорию, — как это проявляется и декларируется по сегодняшний день. В случае с Гитлером Англия полной душой приняла позицию нравственную — и это подвигло её на одно из самых героических сопротивлений её истории.

Позиция нравственная, даже в политической жизни, всегда сохраняет нам дух, а иногда, как видим, и само наше физическое существование. Нравственная позиция вдруг оказывается дальновиднее всяких прагматических расчётов.

Ваша война против Гитлера однако не имела характера в аристотелевском смысле трагического: ваши жертвы, страдания и смерти оправдывались, не противоречили целям войны: вы защищали и защитили именно то, что хотели защитить. А для народов СССР война была трагической: мы попали в такое положение, что были вынуждены всеми силами и несравненно большими жертвами, защищая родную землю, тем самым укрепить ненавистное для себя: власть своих палачей, свою угнетённость, свою гибель (и, как видно уже сегодня, — вашу завтрашнюю гибель). И когда миллионы советских дерзнули бе-

жать от угнетателей или даже начать народное от них освобождение, — наши свободолюбивые западные союзники, и среди них не последние — вы, англичане, вероломно обезоруживали, связывали этих людей и передавали коммунистам на уничтожение (в уральские лагеря, на добычу урана, на атомную бомбу против вас же!). При этом не гнушались избивать английскими прикладами 70-летних стариков, индивидуально тех самых союзников Англии по Первой мировой войне — теперь поспешно выдаваемых на убийство. Только с английских островов было насильственно выдано — 100 000 советских граждан, на континенте — не один миллион. Но самое яркое: ваша свободная, независимая, неподкупная пресса, ваши знаменитые Таймс, Гардиан, Нью Стейтсмен и все остальные — добровольно участвовали в скрывании этого злодеяния, и молчали бы посегодня, если бы американский профессор Эпштейн не начал бестактного расследования, как демократии умеют действовать фашистскими методами. Заговор английской прессы достиг успеха: наверно многие современные англичане даже не знают об этом злодеянии конца Второй мировой войны. Но оно — было, и больно врезалось в русскую память.

Мы помогли спасти свободу Западной Европы — дважды. И за это — дважды вы покинули нас в рабстве.

Понятно, вам опять хотелось: поскорей вырваться из проклятой войны, скорей отдыхать и благоденствовать. И высокая философия прагматизма продиктовала вам ещё многое за эту цену *не заметить*: и ссылку целых народов в Сибирь. И Катынь, и Варшаву, ту самую страну, из-за которой и вся мировая война началась. И не вспомнить Эстонию, Латвию, Литву. И одну за другой отдать в рабство ещё шесть своих европейских сестёр и дать разрубить седьмую. В Нюрнбергском трибунале локоть к локтю дружески заседать с судьями, такими же убийцами, как подсудимые, — и это не противоречило британской юриспруденции. Возникал новый тиранический режим как угодно далеко на Земле — в Китае, в Лаосе, — Британия была первая, кто спешила его признать, расталкивая конкурентов.

Для всего этого нужна была большая нравственная выдержка, — но она не покинула ваше общество. Надо



было всё время повторять заклинание — „заря новой жизни“, — и вы шептали его, и вы кричали его. А когда уж очень тошно становилось на душе и хотелось перед всем миром наверстать в смелости, самим себе вернуть самоуважение, — ваша страна проявляла и несравненную смелость: то против Исландии, то против Испании, которые не могут вам ответить. Танковые колонны в Восточном Берлине, в Будапеште и в Праге декларировали „народное волеизъявление“, — но в виде протеста не отзывался оттуда английский посол. Неизвестное число узников убивали и убивают секретно в Восточной Азии — и не отзывались английские послы. Каждый день в Советском Союзе шприцами психиатров убивают людей только за то, что они непослушно думают или верят в Бога, — и не отзывается английский посол. Но казнили в Мадриде пятерых террористов, реальных убийц, — и с грохотом на всю планету был отозван английский посол, и какой же ураган бесстрашного гнева вырвался с Британских островов! Протестовать надо уметь: очень, очень гневно! — но там, где это не противоречит потоку века и не опасно для авторитета протестующих... Хотя б на минуту, подчиняясь британскому скепсису, который не мог же вас покинуть вовсе, — вы бы перенеслись в положение раздавленной Восточной Европы и оттуда нашими глазами оценили бы своё неприличие!.. Убили испанского премьер-министра — всей культурной Европе это понравилось. Убивали испанских полицейских, даже парикмахеров, — и европейские страны ликовали (будто их собственные полицейские застрахованы от централизованного Интернационала Террора). Никакой семье, едущей на аэродром, не гарантировано, что она не будет расстреляна из автомата „борцом“ за чьё-либо „освобождение“. Никакому прохожему не гарантировано, что он цел пройдёт по улице. Но хором общественного мнения гарантируется террористам: сохранение жизни, реклама и приличные условия содержания, пока его не выручат другие террористы. Общество на защите террористов! — это и было в России перед её крушением, мы тоже прошли через это гибельное.

А трещина геологическая — всё расширяется. Длится по планете. Переходит на другие континенты. В неё грохнула самая многочисленная страна мира. И ещё деся-

ток стран. И никем не защищённые племена — курдов, северных абиссинцев, сомалийцев или ангольцев, не перечислить, — великие традиции британской свободы не продрогнули от таких мелочей. Убаюкивающе рисуется вам посегодняя, что именно ваших превосходных островов эта трещина никогда не расколёт и не взорвёт. А между тем — пропасть уже под вами. На глазах всего мира беспрепятственно захватываются по несколько стран в год как плацдармы для следующей мировой войны. Захватываются и непутовы пространства — англичанам ли объяснять, что это значит и для какой цели будет использовано? И что сегодня вся Европа? — картонные декорации, между которыми торгуются, как меньше тратить на оборону, чтобы больше осталось на состоятельную жизнь. Континент с несравненной многовековой подготовкой вести человечество — добровольно разорнил свою силу, своё влияние на ход мировых событий, не только физическое, даже умственное. Динамичные решения, ведущие движения стали вызревать за пределами Европы. Что за странность, с каких пор великая Европа нуждается в посторонней защите? То она была так избыточна сильна, что воевала внутри себя, уничтожала саму себя и захватывала колонии. То, не проиграв ни одной крупной войны, вдруг стала беспомощно слаба.

Как ни скрыто бывает для человеческого глаза, неожиданно для практического разума, — но иногда срывается прямая реальная связь между злом, которое мы давно причинили другим, и злом, которое вдруг ударяет по нам. Люди более прагматические могут объяснить эту связь как цепь естественных причин и следствий. Люди, более склонные к религиозному видению, различат здесь связь между грехом и наказанием. Это можно увидеть в истории каждой страны. За то, что деды и отцы стремились заложить уши от стонов мира и закрыть глаза на бездны его, — за то пришлось расплатиться нынешнему поколению.

Ваши органы печати, знаменитые своими традициями, публикуют немало анализов и комментариев, вызывающих стыд мелкостью мысли, недалёковидностью взора. Что сказать, если ваша ведущая либеральная газета вот недавно сравнила нынешний внутренний процесс русского

духовного возрождения... с безнадёжной попыткой свиней летать. Здесь — презрение шире, чем только к возможностям моего народа. Здесь — брезгливое презрение вообще ко всяким порывам духовного возрождения, ко всему, что не вытекает прямо из экономики, а строится на критериях нравственных. Бесславный конец 400-летнего материализма.

Такому падению современной мысли ещё очень способствовал туманный призрак социализма. Он помогал мнимо насытить жажду справедливости, успокоить совесть, что сила, накатывающая расплющить вас, есть благо, спасение, — и от этого особенно расцвело общественное лицемерие, и Европа могла не заметить уничтожения миллионов людей на самом своём краю.

Даже не существует признанного единого чёткого определения социализма, лишь расплывчато-радужное представление о чём-то хорошем и благородном, так что два социалиста, разговаривая между собой, вполне могут говорить совсем о разном. И любой африканский диктатор нового типа непротиворечиво объявляет себя социалистом.

Но социализм избегает логики, потому что он — эмоциональный порыв, приземлённая религия, и никто не нуждается хотя бы по разу внимательно прочесть и вникнуть во всех предыдущих пророков. О тех книгах судят понаслышке, выводы принимаются готовыми. Социализм отстаивается со страстной иррациональностью, не подвержен анализу, неуязвим для критики. У него (особенно же у марксизма) есть такой изящный приём: всякая серьёзная критика объявляется „за рамками возможной дискуссии”. Как „основу для дискуссии” требуется предварительно 95% социалистического учения признать — и тогда о 5% допускается спорить.

Ещё один миф тут — что социализм есть некая новейшая современная формация, выход из гибнущего капитализма. А между тем он существовал на земле задолго и задолго до всякого капитализма. Мой друг академик Игорь Шафаревич в своём обширном исследовании социализма показывает, что социалистические системы, те, к которым нас призывают сейчас как к манящему будущему, — составили даже самую длительную часть

предыдущей истории человечества — на Древнем Востоке, в Китае, а потом повторены кровавыми опытами времён Реформации. Что социалистические учения возникли гораздо позже того, но тоже тянутся дольше двух тысяч лет. И происхождение их — не рывок прогрессивной мысли, как считается сейчас, но — *реакция*: реакция Платона на афинскую демократию, реакция гностиков на христианство, реакция: от динамичного мира индивидуальностей вернуться к безликим коснеющим системам древности. И прослеживая затем взрывную череду социалистических учений и утопий в Европе — Мора, Кампанеллу, Уинстенли, Морелли, Дешана, Бабефа, Фурье, Маркса и десятки других, мы не можем не содрогнуться от открытого провозглашения ими черт этого страшного общества. Было бы уместно призвать всех добросовестных социалистов непредвзято хладнокровно прочесть с десяток главных трудов главных пророков европейского социализма и дать отчёт самим себе: действительно ли это есть тот общественный идеал, за который им не жалко отдавать бессчётные чужие жизни и будет не жалко отдать свою?

Социализм начинает с уравниения как будто только материального (но все виды социализма согласны, что для этого необходимо принуждение), — однако логика движения к „идеальному” равенству непременно заставляет применять насилие и дальше: уравнивать сами исходные личности, слишком разбросанные в диапазонах образования, способностей, мыслей, чувств. Английская формула „мой дом — моя крепость” также стоит помехой на пути социализма. И ещё создана заманчивая формула — „социалистическая демократия”, бессмысленная как „ледяной кипятилок”: именно демократию-то дракон и ползёт проглотить — демократию всё более ослабленную и всё более стиснутую на двух неполных материках, когда по всей планете наливаются силою тирании. Я напому, что принудительный труд анонсирован у *всех* пророков социализма, и в „Коммунистическом Манифесте” тоже, так что не следует в Архипелаге ГУЛАГе видеть азиатское извращение высокой идеи — но неизбежный закон.

Социализм гипнотизирует современное общество и

лишает его зрения: увидеть смертельную себе опасность. Самое опасное, что вы потеряли чувство опасности, вы даже не видите, откуда она к вам стремительно катит, вы придумываете её в других местах планеты и туда шлёте стрелы своего тощего колчана. Самое опасное, что вы потеряли волю — защищаться.

И Великобритания — ядро Западного мира, как мы уже согласились, — едва ли не глубже всех испытала на себе эту общую деградацию мощи и воли. Уже лет 20 голос Англии не слышен на нашей планете, в нём нет характера, нет новизны, и в сегодняшнем мире позиция Англии значит меньше, чем Румынии, или даже... Уганды. Всеизвестная ясность английского практического ума как будто отказала. Современное английское общество и в реальном политическом мире и в мире идей живёт самообманными иллюзиями. Строятся хрупкие конструкции, чтоб истолковать самим себе, что опасности нет, что грозный ход её и есть установление прочного мира.

Мы, угнетённые русские и угнетённые восточно-европейцы, с болью смотрим на катастрофическое ослабление Европы. Мы протягиваем вам опыт наших страданий, мы хотели бы, чтоб вы переняли его, не платя ту непомерную цену смертями и рабством, как заплатили мы. Но ваше общество отталкивается от предупреждающих наших голосов. И, наверное, надо признать сокрушённо, что опыт — вообще непередаваем, всё и всем надо пережить самим...

Да не только Англия и не только Западный мир, но и Восточный, все мы, скованные единым роком, одним железным поясом, каждый по-своему, подошли к последнему краю великой исторической катастрофы, — такого потопа, который проглатывает цивилизации и меняет эпохи. Особая сложность сегодняшней мировой ситуации в том, что на часах Истории совпало сразу несколько стрелок, и нам всем предстоит пройти через кризис не только социальный, не только политический, не только военный, — но устоять на ногах и в великом эпохальном повороте, подобном повороту от Средних Веков к Возрождению. Как когда-то человечество разглядело ошибочный нетерпимый уклон позднего Средневековья и отшатну-

лось от него — так пришло нам время разглядеть и губительный уклон позднего Просвещения. Нас глубоко затянуло в рабское служение приятным удобным материальным вещам, вещам, вещам и продуктам. Удастся ли нам встряхнуться от этого бремени и расправить вдунутый в нас от рождения Дух, только и отличающий нас от животного мира?..

## СЛОВО НА ПРИЁМЕ В ГУВЕРОВСКОМ ИНСТИТУТЕ

Стэнфорд, 24 мая 1976

Господа, от момента первого посещения и знакомства я испытываю тёплое, скажу даже — нежное чувство к этой Гуверской башне над ласковыми зелёными и дворцовыми просторами Стэнфордского университета, с быстрым шорохом деловитых студенческих велосипедов, — всякая юность может позавидовать здешней обстановке обучения. Тёплое чувство к мелодичному башенному перезвону, что-то навевающему из хода вечности. И, конечно, ко всем вам — сотрудникам и исследователям этого хранилища, так счастливо возникшего на несчастье русской истории и собравшего немало из того, что в СССР подлежало либо обязательному сожжению, либо сокрытию навек от всяких глаз людских.

Трагические обстоятельства советской истории вообще создали довольно необычайную ситуацию для изучения русской истории, и, может быть, сегодня здесь наиболее уместно это пояснить. Гуверовского института не минует ни один серьёзный западный исследователь истории России и истории СССР. Таких учёных, особенно в Соединённых Штатах, теперь немало. Этому надо радоваться. Но вместе с тем нельзя избежать и тревоги, что общая ненормальность исходных условий, общий сдвиг геологических пластов вносят, не по вине самих исследователей, — общую, как говорят математики — *систематическую ошибку*, которая сдвигает и искажает все результаты исследований.

Ненормальность, во-первых, в том, что изучаемая страна — ваша современница, она реально, бурно живёт, — а между тем ведёт себя как немая археологическая древность: хребет её истории перебит, память провалена, речь отнялась, сама о себе она лишена возможности писать правду, рассказывать истинно как есть, сама себя от-

крыть. Итак, посторонние учёные, изучающие эту страну, попадают в положение как бы археологов: им не достаёт звеньев, материалов, связи, а больше всего — самого духа той ли прежней исчезнувшей России, или сегодняшнего умело замкнутого СССР, — воздуха страны, без которого нельзя воссоздать истории даже и тогда, когда объективные материалы будто и собраны. Недохватка этой корневой связи с почвой особенно сказывается, конечно, на иностранных исследователях.

А в другом отношении — это не равнодушная примитивная античность и даже не просто одна из 120 современных вам стран, так чтобы посвятить ей один из 120 институтов и академически изучать, — нет! эта страна решительно определяет ход современной мировой истории, сильнее всего влияет и на ход американской, так что и работа каждого американского учёного о Советском Союзе приобретает высокую температуру: от её верности или ошибочности, от её глубокого понимания или поверхностного скольжения может роковым образом зависеть, пойти завтра к лучшему или к худшему ваша собственная американская история.

Но, в-третьих, сложнее того: эта страна по внешности совсем не молчит, а непрерывно, активно, очень обильно, весьма атакующе подаёт о себе как будто информацию, на самом же деле — запрограммированную ложь.

И ещё в-четвёртых: положение осложняется тем, что эта советская ложная информация эмоционально подхватывается увлечённой социалистической средой Запада, оттого для историка создаётся как бы сбивающий боковой ураган, который порошит глаза, уклоняет само тело исследователя и поворачивает голову его в более покойное, удобное, но и ложное положение: он вынужден смотреть не туда, где лежат черепки истины, а куда повернул его ветер эпохи.

Да добросовестному западному исследователю — как можно вообразить, представить, поверить, например, что в главной Большой Энциклопедии этой страны *ни одной строки* нельзя а priori считать истиной, но в каждой предусмотрительно подозревать или ложь, или сокрытие, или лукаво-извращающую формулировку?.. Я уже не говорю о таких трагикомических случаях, как с одним из ваших



коллег, чью работу о Тамбовском, 1920-21 годов, восстании крестьян против большевиков мне показывали здесь, в Гуверовском институте. Хорошо знакомый с этой темой, я мог оценить, как тщательно и настойчиво этот американский учёный, будучи в Советском Союзе, разыскал все доступные материалы и даже — почти недоступные. Но около главного из них в его списке библиографии я нашёл примечание: „К сожалению, все выписки из этого источника у меня были украдены из гостиницы в Москве, так что я не сумел их использовать в моей работе.” Вот это уже не вызвало моего удивления: простофили из библиотеки проморгали, выдали иностранцу непопозволенное, — но КГБ вовремя проследило и исправило ошибку!.. (За самую возможность таких поездок — хоть как-то ближе прикоснуться к материалу — иные учёные платят ещё и оглячивостью, сдержанностью формулировок, чтобы не рассердить хозяев страны, но, как и всякая сделка за счёт истины, она не оправдывает себя.)

Вот о чём не догадывалась дореволюционная русская администрация: что надо информировать мировое общественное мнение о жизни внутри России. По медленному течению тогдашней истории, по изолированности стран — даже и в голову не могло придти, что от этого скоро будет зависеть будущее своего народа и многих других. Зато революционные и фрондирующие политические эмигранты из России — ощутили это здесь, на Западе, и не жалели своего эмигрантского досуга на подобную деятельность, вложили в неё всю эмоциональную горечь, нетерпеливость и необъективность временных неудачников ниспровержения и переворота. Они и создали на Западе искажённую, непропорциональную, предвзятую картину нескольких русских столетий, отчасти по своей страсти, отчасти потому, что многие из тех эмигрантов были молодые люди искусственного партийного формирования, они совсем не имели возможности да и не хотели знать и почувствовать глубины тысячелетней народной жизни. И так для Запада картина России — как раз в момент её самого обнадёживающего экономического и социального развития перед Первой мировой войной — была составлена отрицателями России, ненавистниками её жизненного уклада и её духовных ценностей, и в таком виде инер-

ционно утвердилась посегодня. Вот — пятое тяжёлое осложнение, тот изначальный сдвиг целого пласта, который для западных исследователей переносит все начальные точки отсчёта, все возможности правильного сопоставления прежней России и нынешнего Советского Союза. Протянуты были легенды, целая цепь мифов, приправлены даже безответственными цифрами — касательно экономики или социальной эффективности, характера революционного движения или масштаба репрессий (некоторых таких искажений я касаюсь в разных местах „Архипелага ГУЛАГа“). И так искажение русской исторической ретроспективы, непонимание России Западом выстроилось в устойчивое тенденциозное обобщение — об „извечном русском рабстве“, чуть ли не в крови, об „азиатской традиции“, — и это обобщение опасно заблуждает сегодняшних исследователей, мешая им понять социалистическую природу и суть происходящего в СССР. В том обобщении искусственно упущены вековые периоды, широкие пространства и многие формы яркой общественной самостоятельности нашего народа — Киевская Русь, суздальское православие, напряжённая религиозная жизнь в лесном океане, века кипучего новгородского и псковского народоправства, стихийная народная инициатива и устояние в начале XVII века, рассудительные Земские Соборы, вольное крестьянство обширного Севера, вольное казачество на десятке южных и сибирских рек, поразительное по самостоятельности старообрядчество, наконец крестьянская община, которую даже и в XIX веке пристальный английский наблюдатель (Маккензи Уоллес) признал в её функционировании равной английскому парламентаризму. И всё это искусственно заслонили двумя веками крепостничества в центральных областях и петербургской бюрократией. При составлении такой ложной тенденции в пренебрежении остался и глубокий фольклор — гениальное и наиболее верное свидетельство народа о себе, он заслонён памфлетами не весьма одарённых разоблачителей, посредственно владевших и самим русским языком. Да даже вот события, близкие американской памяти, — поддержка Россией североамериканского правительства в вашу гражданскую войну, тёплая русско-американская дружба в царствование Александ-

ра II, чьи великие реформы оборваны безумными террористами, — всё это забыто и вычеркнуто, как не было никогда.

В этой обстановке удивляться ли, что один из ваших учёных, долголетний руководитель одного из „русских центров“, выпускает псевдоакадемическую книгу о старой России, полную ошибок, натяжек, а может быть и преднамеренных искажений. Удивляться ли, что в подобной обстановке всякий американский молодой историк или писатель, или журналист, приступая к русской теме, непременно, с самого начала, автоматически поддаётся постулату: СССР — естественное продолжение старой России?

А на самом деле: переход от дооктябрьской России к СССР есть не продолжение, но *смертельный излом хребта*, который едва не окончился полной национальной гибелью. Советское развитие — не продолжение русского, но извращение его, совершенно в новом неестественном направлении, враждебном своему народу (как и всем соседним, как и всем остальным на Земле). Термины „русский“ и „советский“, „Россия“ и „СССР“ — не только не взаимозаменяемы, не равнозначны, не однолинейны, но — непримиримо противоположны, полностью исключают друг друга, и путать их, употреблять не к месту — грубая ошибка, научное неряшество. А между тем: как легкомысленно эта подмена распространена в сегодняшнем западном словоупотреблении! и — как губительно для западного же перспективного понимания!

Тут сбивает, забивает глаза песком тот настойчивый резкий ветер эпохи, социалистический ветер, не позволяющий учёному ровно держать глаза в сторону истины — для того оказывается нужным ещё и бесстрашие! Весь западный мир сегодня испытывает порыв к социализму, и целыми десятилетиями было так заманчиво: уже найти свой идеал осуществлённым на Земле! Когда же оказалось, что советская система сильно-сильно-сильно отличается от самого неприятельного идеала, — тут и пригодилось фальшивое отождествление терминов „советский“ и „русский“: все преступления, пороки и провалы *советского* социализма ложно отнесли за счёт *русской*

„рабской традиции”, выхватывая как из пожара своего бумажного ангела социализма: у русских он конечно не мог удался, но у нас, на Западе, будет совсем другой — чистенький, белоснежный.

Передо мной сегодня — научная аудитория, и поэтому я смею рекомендовать вам не упустить работы двух русских — не историков, нет, потому что чистые историки у нас либо уничтожены, либо понуждены ко лжи, — но учёных из точного крыла науки: всемирно известного математика Игоря Шафаревича и незаурядного физика профессора Юрия Орлова, которого советская власть безжалостно преследует уже 20 лет — с 1956 года, года „оттепели” после XX съезда, когда он осмелился высказать в Академии Наук естественный вывод из хрущёвского доклада: что этой партии и этому правительству следует подать в отставку. Шафаревич в своём обширном исследовании социализма на множестве исторических фактов показывает, что социалистические системы совсем не новы, что они всегда и всюду в истории принимали безжалостный тоталитарный характер, и даже все западные — именно *западные* — теоретики и пророки социализма именно эти жестокие принципы с гордостью и обещали. Юрий Орлов приёмами и языком, заимствованными из физики, убедительно объясняет всем нам (его работа сейчас пришла на Запад из Самиздата), что даже теоретически рассуждая, *никакой другой формы, кроме тоталитарной*, не может принять последовательный социализм, как не могут не сцепляться присоединённые шестерёнки, не может не вращаться разогнанное колесо. Орлов показывает, что даже самые мягкие способы введения социализма, если только они будут последовательны и неуклонны, — ни к чему другому не могут привести, кроме тоталитаризма, то есть к полному подавлению индивидуальности и человеческой души.

Я думаю, я назвал те главные опасности и помехи, которые мешают западным историкам продуктивно, с пользой для своей страны, для моей страны и для всего хода истории, своевременно обнажить похищенные у нас и сокрытые пласты русской истории последнего столетия.

В этой работе неоценимо содействие вашего Гуверов-

ского хранилища и сотрудников вашего института. Я понимаю, что вы храните и заняты не одной русской историей, но я повторю: русская и советская история для Соединённых Штатов — не просто история одной из 120 зарубежных стран. От того, поймёт ли её Американский континент адекватно и не опоздав по времени, — очень-очень скоро будет зависеть судьба и вашей огромной прекрасной страны.

## СЛОВО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПРЕМИИ „ФОНДА СВОБОДЫ”

Стэнфорд, 1 июня 1976

Многоуважаемые господа,  
руководители и представители „Фонда Свободы”!

Я живо тронут вашим решением присудить мне вашу премию. Принимаю её с благодарностью и с сознанием долга перед тем высоким человеческим понятием, которое звучит, содержится, заключено в названии вашей организации, в символе, соединившем нас сегодня здесь. Этого символа естественно и коснуться в моём ответном слове.

В такой ситуации, как сегодня, легче всего поддаться декламации о мрачных пропастях тоталитаризма и восхвалению светлых твердынь западной свободы. Гораздо трудней, но и плодотворней, посмотреть критически на самих себя. Если область свободных общественных систем на Земле всё сужается и огромные континенты, недавно как будто получавшие свободу, утягиваются в область тираний, то в этом виноват не только тоталитаризм, для которого проглатывать свободу есть функция естественного роста, но, очевидно, и сами свободные системы, что-то утерьявшие в своей внутренней силе и устойчивости.

Наши с вами представления о многих событиях и явлениях опираются на несходный жизненный опыт, поэтому могут заметно разниться, однако именно этот угол между лучами зрения и может помочь нам объёмнее воспринять предмет. Я осмелюсь обратить ваше внимание на некоторые аспекты свободы, о которых не модно говорить, но от этого они не перестают быть, значит и влиять.

Понятие свободы нельзя верно охватить без оценки жизненных задач нашего земного существования. Я сторонник того взгляда, что жизненная цель каждого из нас — не бескрайнее наслаждение материальными благами, но: покинуть Землю лучшим, чем пришёл на неё, чем это бы-

ло определено нашими наследственными задатками, то есть за время нашей жизни пройти некий путь духовного усовершенствования. (Сумма таких процессов только и может назваться духовным прогрессом человечества.) Если так, то внешняя свобода оказывается не самодовлеющей целью людей и обществ, а лишь пособным средством нашего неискажённого развития; только *возможностью* для нас — прожить не животным, а человеческим существом; только *условием*, чтобы человек лучше выполнил своё земное назначение. И свобода — не единственное такое условие. Никак не меньше внешней свободы нуждается человек — в незагрязнённом просторе для души, в возможностях душевного сосредоточения.

Увы, современная цивилизованная свобода именно этого простора не хочет оставить нам. Увы, именно за последние десятилетия само наше представление о свободе снизилось и измельчилось по сравнению с предыдущими веками, оно свелось почти исключительно к свободе от наружного давления, к свободе от государственного насилия. К свободе, понятой всего лишь на юридическом уровне — и не выше.

Свобода! — принудительно засорять коммерческим мусором почтовые ящики, глаза, уши, мозги людей, телевизионные передачи, так чтоб ни одну нельзя было посмотреть со связным смыслом. Свобода! — навязывать информацию, не считаясь с правом человека не получать её, с правом человека на душевный покой. Свобода! — плевать в глаза и души прохожих и проезжих рекламой. Свобода! — издателей и кинопродюсеров отравлять молодое поколение растлительной мерзостью. Свобода! — подростков 14-18 лет упиваться досугом и наслаждениями вместо усиленных занятий и духовного роста. Свобода! — взрослых молодых людей искать безделья и жить за счёт общества. Свобода! — забастовщиков, доведенная до свободы лишать всех остальных граждан нормальной жизни, работы, передвижения, воды и еды. Свобода! — оправдательных речей, когда сам адвокат знает о виновности подсудимого. Свобода! — так вознести юридическое право страхования, чтобы даже милосердие могло быть сведено к вымогательству. Свобода! — случайных пошлых перьев безответственно скользить по поверхности любого вопро-

са, спеша сформировать общественное мнение. Свобода! — сбора сплетен, когда журналист для своих интересов не пожалеет ни отца родного, ни родного Отечества. Свобода! — разглашать оборонные секреты своей страны для личных политических целей. Свобода! — бизнесмена на любую коммерческую сделку, сколько б людей она ни обратила в несчастье или предала бы собственную страну. Свобода! — политических деятелей легкомысленно осуществлять то, что нравится избирателю сегодня, а не то, что дальновидно предохраняет его от зла и опасности. Свобода! — для террористов уходить от наказания, жалость к ним как смертный приговор всему остальному обществу. Свобода! — целых государств иждивенчески вымогать помощь со стороны, а не трудиться построить свою экономику. Свобода! — как безразличие к попираемой дальней чужой свободе. Свобода! — даже не защищать и собственную свободу, пусть рискует жизнью кто-нибудь другой.

Все эти свободы юридически часто безупречны, но нравственно — все порочны. На их примере мы видим, что совокупность всех прав свободы — далеко ещё не есть Свобода человека и общества, это только возможность, она обращается по-разному. Всё это — невысокий тип свободы. Не та свобода, которая возвышает человеческий род. Но — истерическая свобода, которая достоверно может его погубить.

Подлинно человеческая свобода — есть от Бога нам данная свобода *внутренняя*, свобода определения своих поступков, но и духовная ответственность за них. И истинно понимает свободу не тот, кто спешит корыстно использовать свои юридические права, а тот, кто имеет совесть ограничить самого себя и при юридической правоте. Не тот, кто спешит выиграть благоприятный судебный процесс, но кто имеет благородство отказаться от него, — напротив: публично открыть свои промахи или проступки. То, что называлось стародавним и теперь уже странным словом — *честь*.

Я думаю, не будет излишней скромностью признать, что в некоторых славных странах Западного мира в XX веке свобода под видом „развития” деградировала от своих первоначальных высоких форм. Что ни в одной стране на



Земле сегодня нет той высшей формы свободы одухотворённых человеческих существ, которая состоит не в лавировке между статьями законов, но в добровольном самоограничении и в полном сознании ответственности — как эти свободы задуманы были нашими предками.

Однако, я глубоко верю в неповреждённость, здоровье корней великодушной мощной американской нации, с требовательной честностью её молодёжи и недремлющим нравственным чувством. Я своими глазами видел американскую провинцию — и именно поэтому с твёрдой надеждой сегодня высказываю здесь это всё.

## РЕЧЬ В ГАРВАРДЕ

на ассамблее выпускников университета

8 июня 1978

*Я рад возможности приветствовать 327-й выпуск старейшего Гарвардского университета и сердечно поздравляю всех выпускников!*

*Девиз вашего университета — „Veritas”. И некоторые из вас уже знают, а другие узнают на протяжении жизни, что Истина мгновенно ускользает, как только ослабится напряжённость нашего взора, — и при этом оставляет нас в иллюзии, что мы продолжаем ей следовать. От этого вспыхивают многие разногласия. И еще: истина редко бывает сладкой, а почти всегда горькой. Этой горечи не избежать и в сегодняшней речи, — но я приношу её не как противник, но как друг.*

*Три года назад в Соединённых Штатах мне тоже пришлось говорить такое, от чего отталкивались, не хотели принять, — а сейчас согласились многие.*

Раскол сегодняшнего мира доступен даже поспешному взгляду. Любой наш современник легко различает две мировые силы, каждая из которых уже способна нацело уничтожить другую. Но понимание раскола часто и ограничивается этим политическим представлением: иллюзией, что опасность может быть устранена удачными дипломатическими переговорами или равновесием вооружённых сил. На самом деле мир расколот и глубже, и отчуждённей, и большим числом трещин, чем это видно первому взгляду, — и этот многообразный глубокий раскол грозит всем нам разнообразной же гибелью. По той древней истине, что не может стоять царство — вот, наша Земля, — разделившееся в себе.

Есть понятие „третий мир” и, значит, уже три мира. Но их несомненно больше, мы не доглядываем издали. Всякая древняя устоявшаяся самостоятельная культура, да ещё широкая по земной поверхности, уже составляет самостоятельный мир, полный загадок и неожиданностей для западного мышления. Таковы по меньшему счёту Китай, Индия, Мусульманский мир и Африка, если два последние можно с приближением рассматривать собранно. Такова была тысячу лет Россия, — хотя западное мышление с систематической ошибкой отказывало ей в самостоятельности и потому никогда не понимало, как не понимает и сегодня в её коммунистическом плену. И если Япония в последние десятилетия всё более стала „дальним Западом”, всё тесней примкнула к Западу (судить не берусь), то, например, Израиль я бы не отнёс к западному миру хотя бы по тому решающему обстоятельству, что его государственный строй принципиально связан с религией.

Как ещё сравнительно недавно маленький новоевропейский мирок легко захватывал колонии во всём мире, не только не предвидя серьёзного сопротивления, но обычно презирая какие-либо возможные ценности в мироощущении тех народов! Успех казался ошеломляющим, не знал географических границ. Западное общество развёртывалось как торжество человеческой независимости и могущества. И вдруг в XX веке так ясно обнаружилось, что оно хрупко и обрывчато. И теперь мы видим, каким коротким, шатким оказалось это завоевание (очевидно свидетельствуя и о пороках того западного мирознания, которое на эти завоевания вело). Сейчас соотношение с бывшим колониальным миром обратилось в свою противоположность, и западный мир нередко переходит к крайностям угодливости, — однако трудно прогнозировать, как ещё велик будет счёт этих бывших колониальных стран к Западу, и хватит ли ему откупиться, отдав не только последние колониальные земли, но даже всё своё состояние.

\*\*\*\*\*

Всё же длящееся ослепление превосходства поддерживает представление, что всем обширным областям на нашей планете следует развиваться и доразвиться до нынешних западных систем, теоретически наивысших, практически наиболее привлекательных; что все те миры только временно удерживаются — злыми правителями, или тяжёлыми расстройствами, или варварством и непониманием — от того, чтоб устремиться по пути западной многопартийной демократии и перенять западный образ жизни. И страны оцениваются по тому, насколько они успели продвинуться этим путём. Но такое представление выросло, напротив, на западном непонимании сущности остальных миров, на том, что все они ошибочно измеряются западным измерительным прибором. Картина развития планеты мало похожа на это.

Тоска расколотого мира вызвала к жизни и теорию конвергенции — между ведущим Западом и Советским Союзом — ласкательную теорию, пренебрегающую, что эти миры друг во друга несколько не развиваются, и даже непревратимы друг во друга без насилия. А кроме того конвергенция неизбежно включает в себя принятие также и пороков противоположной стороны, что вряд ли кого устраивает.

Если бы сегодняшнюю речь я произносил в своей стране, я, в этой общей схеме раскола мира, сосредоточился бы на бедствиях Востока. Но поскольку я уже четыре года вынужденно нахожусь здесь и аудитория передо мною западная, — думаю, будет содержательней сосредоточиться на некоторых чертах современного Запада, как я их вижу.

\*\*\*\*\*

Падение мужества — может быть самое разительное, что видно в сегодняшнем Западе постороннему взгляду. Западный мир потерял общественное мужество и весь в целом и даже отдельно по каждой стране, каждому прави-

тельству, каждой партии, и уж конечно — в Организации Объединённых Наций. Этот упадок мужества особенно сказывается в прослойках правящей и интеллектуально-ведущей, отчего и создаётся ощущение, что мужество потеряло целиком всё общество. Конечно, сохраняется множество индивидуально-мужественных людей, но не им доводится направлять жизнь общества. Политические и интеллектуальные функционеры выявляют этот упадок, безволие, потерянность в своих действиях, выступлениях и ещё более — в услужливых теоретических обоснованиях, почему такой образ действий, кладущий трусость и заискивание в основу государственной политики, — прагматичен, разумен и оправдан на любой интеллектуальной и даже нравственной высоте. Этот упадок мужества, местами доходящий как бы до полного отсутствия мужеского начала, ещё особо-иронически оттеняется при внезапных взрывах храбрости и непримиримости этих самых функционеров — против слабых правительств, или никем не поддержанных слабых стран, осуждённых течений, заведомо не могущих дать отпор. Но коснеет язык и парализуются руки против правительств могущественных, сил угрожающих, против агрессоров и против Интернационала Террора.

Напоминать ли, что падение мужества издревле считалось первым признаком конца?

\*\*\*\*\*

Когда создавались современные западные государства, то провозглашался принцип: правительство должно служить человеку, а человек живёт на земле для того, чтоб иметь свободу и стремиться к счастью (смотри, например, американскую декларацию независимости). И вот, наконец, в последние десятилетия технический и социальный прогрессы дали осуществить ожидаемое: государство всеобщего благосостояния. Каждый гражданин получил желанную свободу и такое количество и качество физических благ, которые по теории должны были бы обеспечить его счастье — в том сниженном понимании, как в эти же десятилетия создалось. (Упущена лишь пси-

хологическая подробность: постоянное желание иметь ещё больше и лучше и напряжённая борьба за это запечатлеваются на многих западных лицах озабоченностью и даже угнетением, хотя выражения эти принято тщательно скрывать. Это активное напряжённое соревнование захватывает все мысли человека и вовсе не открывает свободного духовного развития.) Обеспечена независимость человека от многих видов государственного давления, обеспечен большинству комфорт, которого не могли представить отцы и деды, появилась возможность воспитывать в этих идеалах и молодёжь, звать и готовить её к физическому процветанию, счастью, владению вещами, деньгами, досугом, почти к неограниченной свободе наслаждений, — и кто же бы теперь, зачем, почему должен был бы ото всего этого оторваться и рисковать драгоценной своей жизнью в защите блага общего и особенно в том туманном случае, когда безопасность собственного народа надо защищать в далёкой пока стране?

Даже биология знает, что привычка к высоко-благополучной жизни не является преимуществом для живого существа. Сегодня и в жизни западного общества благополучие стало приоткрывать свою губящую маску.

\*\*\*\*\*

Соответственно своим целям западное общество избрало и наиболее удобную для себя форму существования, которую я назвал бы юридической. Границы прав и правоты человека (очень широкие) определяются системой законов. В этом юридическом стоянии, движении и лавировании западные люди приобрели большой навык и стойкость. (Впрочем, законы так сложны, что простой человек беспомощен действовать в них без специалиста.) Любой конфликт решается юридически — и это есть высшая форма решения. Если человек прав юридически, — ничего выше не требуется. После этого никто не может указать ему на неполную правоту и склонять к самоограничению, к отказу от своих прав, просить о какой-либо жертве, бескорыстном риске — это выглядело бы просто нелепо. Добровольного самоограничения почти не встре-

тишь: все стремятся к экспансии, доколе уже хрустят юридические рамки. (Юридически безупречны нефтяные компании, покупая изобретение нового вида энергии, чтобы ему не действовать. Юридически безупречны отравители продуктов, удолжая их сохранность: публике остаётся свобода их не покупать.)

Всю жизнь проведя под коммунизмом, я скажу: ужасно то общество, в котором вовсе нет беспристрастных юридических весов. Но общество, в котором нет других весов, кроме юридических, тоже мало достойно человека. (*аплодисменты*) Общество, ставшее на почву закона, но не выше, — слабо использует высоту человеческих возможностей. Право слишком холодно и формально, чтобы влиять на общество благотельно. Когда вся жизнь пронизана отношениями юридическими, — создаётся атмосфера душевной посредственности, омертвляющая лучшие взлёты человека. (*апл.*)

Перед испытаниями же грозящего века удержаться одними юридическими подпорками будет просто невозможно.

\*\*\*\*\*

В сегодняшнем западном обществе открылось неравновесие между свободой для добрых дел и свободой для дел худых. И государственный деятель, который хочет для своей страны провести крупное созидательное дело, вынужден двигаться осмотрительными, даже робкими шагами, он всё время облеплен тысячами поспешливых (и безответственных) критиков, его всё время одёргивает пресса и парламент. Ему нужно доказать высокую безупречность и оправданность каждого шага. По сути, человек выдающийся, великий, с необычными неожиданными мерами, проявиться вообще не может — ему в самом начале подставят десять подножек. Так под видом демократического ограничения торжествует посредственность.

Подрыв административной власти повсюду доступен и свободен, и все власти западных стран резко ослабли. Защита прав личности доведена до той крайности, что уже становится беззащитным само общество (*апл.*) ... от иных

личностей, — и на Западе приспела пора отстаивать уже не столько права людей, сколько их обязанности. (англ.)

Напротив, свобода разрушительная, свобода безответственная получила самые широкие просторы. Общество оказалось слабо защищено от бездн человеческого падения, например, от злоупотребления свободой для морального насилия над юношеством, вроде фильмов с порнографией, преступностью или бесовщиной (англ.): все они попали в область свободы и теоретически уравниваются свободой юношества их не воспринимать. Так юридическая жизнь оказалась неспособна защитить себя от разъедающего зла.

Что же говорить о тёмных просторах прямой преступности? Широта юридических рамок (особенно американских) поощряет не только свободу личности, но и некоторые преступления её, даёт преступнику возможность остаться безнаказанным или получить незаслуженное снисхождение — при поддержке тысячи общественных защитников. Если где власти берутся строго искоренять терроризм, то общественность тут же обвиняет их, что они нарушили гражданские права бандитов. (англ.) Немало подобных примеров.

Весь этот переклон свободы в сторону зла создавался постепенно, но первичная основа ему, очевидно, была положена гуманистическим человеколюбивым представлением, что человек, хозяин этого мира, не несёт в себе внутреннего зла, все пороки жизни происходят лишь от неверных социальных систем, которые и должны быть исправлены. Странно, вот на Западе достигнуты наилучшие социальные условия, — а преступность несомненно велика и значительно больше, чем в нищем и беззаконном советском обществе. (Под именем уголовных у нас там сидит в лагерях огромное множество людей, но подавляющее их большинство — не преступники, а те, кто против беззаконного государства отстаивали себя неюридическими способами.)

\*\*\*\*\*

Широчайшей свободой естественно пользуется и пресса (я употребляю дальше это слово, включая всю media). Но — как?



Опять: лишь бы не перешагнуть юридические рамки, но безо всякой подлинной нравственной ответственности за искажение, за смещение пропорций. Какая у журналиста и газеты ответственность перед читающей публикой или перед историей? Если они неверной информацией или неверными заключениями повели общественное мнение по неверному пути, даже способствовали государственным ошибкам, — известны ли случаи публичного потом раскаяния этого журналиста или этой газеты? Нет, это подорвало бы продажу. На подобном случае может потерять государство, но журналист всегда выходит сух. Скорее всего он будет теперь с новым апломбом писать противоположное прежнему.

Необходимость дать мгновенную авторитетную информацию заставляет заполнять пустоты догадками, собирая слухи и предположения, которые потом никогда не опровергнутся, но осядут в памяти масс. Сколько поспешных, опрометчивых, незрелых, заблудительных суждений высказывается ежедневно, заморочивает мозги читателей — и так застывает! (англ.) Пресса имеет возможность и симулировать общественное мнение и воспитать его извращённо. То создаётся геростратова слава террористам, то раскрываются даже оборонные тайны своей страны, то беззастенчиво вмешиваются в личную жизнь известных лиц под лозунгом: „все имеют право всё знать”. (англ.) (Ложный лозунг ложного века: много выше утерянное право людей не знать, не забивать своей божественной души — сплетнями, суесловием, праздною чепухой. (англ.) Люди истинного труда и содержательной жизни совсем не нуждаются в этом избыточном отягощающем потоке информации.)

Поверхностность и поспешность — психическая болезнь XX века, более всего и выражена в прессе. Прессе противопоказано войти в глубину проблемы, это не в природе её, она лишь выхватывает сенсационные формулировки.

И при всех этих качествах пресса стала первой силой западных государств, превосходя силу исполнительной власти, законодательной и судебной. А между тем: по какому избирательному закону она избрана и перед кем отчитывается? Если на коммунистическом Востоке журна-

лист откровенно назначается как государственный чиновник, то кто выбирал западных журналистов в их состояние власти? на какой срок и с какими полномочиями?

И ещё одна неожиданность для человека, пришедшего с тоталитарного Востока, с его строгой унификацией прессы: у западной прессы в целом тоже обнаруживается общее направление симпатий (ветер века), общепризнанные допустимые границы суждений, а может быть и общекорпоративные интересы, и всё это вместе действует не соревновательно, а унифицированно. Безудержная свобода существует для самой прессы, но не для читателей (*англ.*): достаточно выпукло и звучно газеты передают только те мнения, которые не слишком противоречат их собственным и этому общему направлению.

\*\*\*\*\*

Безо всякой цензуры на Западе осуществляется придирчивый отбор мыслей модных от мыслей немодных — и последние, хотя никем не запрещены, не имеют реального пути ни в периодической прессе, ни через книги, ни с университетских кафедр (*англ.*) Дух ваших исследователей свободен юридически — но обставлен идолами сегодняшней моды. Не прямым насилием, как на Востоке, но этим отбором моды, необходимостью угождать массовым стандартам устраняются от вклада в общественную жизнь наиболее самостоятельно думающие личности, появляются опасные черты стадности, закрывающей эффективное развитие. В Америке мне приходилось получать письма замечательно умных людей, какого-нибудь профессора дальнего провинциального колледжа, который много способствовал бы освежению и спасению своей страны, — но страна не может его услышать: его не подхватит *media*. Так создаются сильные массовые предубеждения, слепота, опасная в наш динамичный век. Например, иллюзорное понимание современного мирового положения — такой окаменелый панцырь вокруг голов, что через него уже не проникает ничей человеческий голос из 17 стран Восточной Европы и Восточной Азии, — а только проломит его неизбежный лом событий.

Я перечислил несколько черт западной жизни, которые поражают человека, пришедшего в этот мир понову. Размеры и задачи этой речи не позволяют продолжить обзор: как эти особенности западного общества отражаются на таких важных сторонах национального существования, как образование начальное, образование высшее гуманитарное и искусство.

\*\*\*\*\*

Почти все признают, что Запад указывает всему миру выгодный экономический путь развития, последнее время сбиваемый, правда, хаотической инфляцией. Но и многие живущие на Западе недовольны своим обществом, презирают его или упрекают, что оно уже не соответствует уровню, к которому созрело человечество. И многих это заставляет колебнуться в сторону ложного и опасного течения социализма.

Я надеюсь, никто из присутствующих не заподозрит, что я провёл эту частную критику западной системы для того, чтобы выдвинуть взамен идею социализма. (апл.) Нет, с опытом страны осуществлённого социализма я во всяком случае не предложу социалистическую альтернативу. Что социализм всякий вообще и во всех оттенках ведёт ко всеобщему уничтожению духовной сущности человека и нивелированию человечества в смерть, — глубоким историческим анализом показал математик академик Шафаревич в своей блестяще аргументированной книге „Социализм“; скоро два года, как она опубликована во Франции, — но ещё никто не нашёлся, ответить на неё. В близком времени она будет опубликована и в Америке.

\*\*\*\*\*

Но если меня спросят, напротив: хочу ли я предложить своей стране в качестве образца сегодняшний Запад, как он есть, я должен буду откровенно ответить: нет, ваше общество я не мог бы рекомендовать как идеал для

преобразования нашего. Для того богатого душевного развития, которое уже выстрадано нашей страной в этом веке, — западная система в её нынешнем, духовно-истощённом виде не представляется заманчивой. Даже перечисленные особенности вашей жизни приводят в крайнее огорчение.

Несомненный факт: расслабление человеческих характеров на Западе и укрепление их на Востоке. За шесть десятилетий наш народ, за три десятилетия — народы Восточной Европы прошли душевную школу, намного опережающую западный опыт. Сложно и смертно давящая жизнь выработала характеры более сильные, более глубокие и интересные, чем благополучная регламентированная жизнь Запада. Поэтому для нашего общества обращение в ваше означало бы в чём повышение, а в чём и понижение, — и в очень дорогом. Да, невозможно оставаться обществу в такой бездне беззакония, как у нас, но и ничтожно ему оставаться на такой бездушной юридической гладкости, как у вас. Душа человека, страдавшаяся под десятилетиями насилия, тянется к чему-то более высокому, более тёплому, более чистому, чем может предложить нам сегодняшнее западное массовое существование, как визитной карточкой предпосылаемое отвратным напором реклам, одурением телевидения и непереносимой музыкой. (англ.)

И это всё видно глазам многих наблюдателей, из всех миров нашей планеты. Западный образ существования всё менее имеет перспективу стать ведущим образцом.

Бывают симптоматичные предупреждения, которые посылает история угрожаемому или гибнущему обществу: например, падение искусств или отсутствие великих государственных деятелей. Иногда предупреждения бывают и совсем ощутимыми, вполне прямыми: центр вашей демократии и культуры на несколько часов остаётся без электричества — всего-то, — и сразу целые толпы американских граждан бросаются грабить и насиловать. Такова толщина плёнки! Такова непрочность общественного строя и отсутствие внутреннего здоровья в нём.

Не когда-то наступит, а уже идёт — физическая, духовная, космическая! — борьба за нашу планету. В своё решающее наступление уже идёт и давит мировое

Зло, — а ваши экраны и печатные издания наполнены обязательными улыбками и поднятыми бокалами. В радость — чему?

\*\*\*\*\*

Ваши весьма видные деятели, как Джордж Кеннан, говорят: вступая в область большой политики, мы уже не можем пользоваться моральными указателями. Вот так, смешением добра и зла, правоты и неправоты, лучше всего и подготавливается почва для абсолютного торжества абсолютного Зла в мире. Против мировой, хорошо продуманной стратегии коммунизма Западу только и могут помочь нравственные указатели, — а других нет (*англ.*)... а соображения любой конъюнктуры всегда рухнут перед стратегией. Юридическое мышление с какого-то уровня проблем каменит: оно не даёт видеть ни размера, ни смысла событий.

Несмотря на множественность информации — или отчасти именно благодаря ей, — западный мир весьма слабо ориентируется в происходящей действительности. Таковы, например, были анекдотические предсказания некоторых американских экспертов, что Советский Союз найдёт себе в Анголе свой Вьетнам, или что наглые африканские экспедиции Кубы лучше всего умерятся уходом за ней Соединённых Штатов. (*англ.*) Таковы ж и советы Кеннана своей стране — приступить к одностороннему разоружению. О, знали бы вы, как хохочут над вашими политическими мудрецами самые молоденькие референты Старой Площади! \* (*англ.*) А уж Фидель Кастро откровенно считает Соединённые Штаты ничтожеством, если, находясь тут рядом, осмеливается бросать свои войска на дальние авантюры.

Но самый жестокий промах произошёл с непониманием вьетнамской войны. Одни искренне хотели, чтоб только скорей прекратилась всякая война, другие мнили, что

---

\* Старая Площадь — резиденция ЦК КПСС, истинное название того места, которое на Западе условно называют Кремлём.

надо дать простор национальному или коммунистическому самоопределению Вьетнама (или, как особенно наглядно видно сегодня, — Камбоджи). А на самом деле участники американского антивоенного движения оказались соучастниками предательства дальневосточных народов — того геноцида и страданий, которые сегодня там сотрясают 30 миллионов человек. Но эти стоны — слышат ли теперь принципиальные пацифисты? (апл.) ... сознают ли сегодня свою ответственность? или предпочитают не слышать? У американского образованного общества сдали нервы, — а в результате угроза сильно приблизилась к самим Соединённым Штатам. Но это не сознаётся. Ваш недалёковидный политик, подписавший поспешную вьетнамскую капитуляцию, дал Америке вытянуться как будто в беззаботную передышку, — но вот уже усотёрённый Вьетнам вырастает перед вами. Маленький Вьетнам был послан вам предупреждением и поводом мобилизовать своё мужество. Но если полновесная Америка потерпела полноценное поражение даже от маленькой коммунистической полу-страны, — то на какое устояние Запад может рассчитывать в будущем?

Мне пришлось уже говорить, что в XX веке западная демократия самостоятельно не выиграла ни одной большой войны: каждый раз она загораживалась сильным сухопутным союзником, не придираясь к его мировоззрению. Так во Второй мировой войне против Гитлера, вместо того чтобы выиграть войну собственными силами, которых было конечно достаточно, — вырастили себе горшего и сильнее врага, ибо никогда Гитлер не имел ни столько ресурсов, ни столько людей, ни пробивных идей, ни столько своих сторонников в западном мире, пятую колонну, как Советский Союз. А ныне на Западе уже раздаются голоса: как бы ещё в одном мировом конфликте заслониться против силы — чужою силой, загородиться теперь — Китаем. Однако никому в мире не пожелаю такого исхода: не говоря, что это — опять роковой союз со Злом, это дало бы Америке лишь некоторую оттяжку, но затем, когда миллиардный Китай обернулся бы с американским оружием, — сама Америка была бы отдана нынешнему камбоджийскому геноциду.

\*\*\*\*\*

Но и никакое величайшее вооружение не поможет Западу, пока он не преодолеет потерянности своей воли. При такой душевной расслабленности самое это вооружение становится отягощением капитулянту. Для обороны нужна и готовность умереть, а её мало в обществе, воспитанном на культе земного благополучия. (англ.) И тогда остаются только уступки, оттяжки и предательства. В позорном Белграде свободные западные дипломаты в слабости уступили тот рубеж, на котором подгнётные члены хельсинкской группы отдают свои жизни.

Западное мышление стало консервативным: только бы сохранялось мировое положение, как оно есть, только бы ничто не менялось. Расслабляющая мечта о статус-кво — признак общества, закончившего своё развитие. Но надо быть слепым, чтобы не видеть, как перестали принадлежать Западу океаны и всё стягивается под ним территория земной суши. Две так называемых мировых — а совсем ещё не мировых — войны состояли в том, что маленький прогрессивный Запад внутри себя уничтожал сам себя и тем подготовил свой конец. Следующая война — не обязательно атомная, я в неё не верю, — может похоронить западную цивилизацию окончательно.

И перед лицом этой опасности — как же, с такими историческими ценностями за спиной, с таким уровнем достигнутой свободы и как будто преданности ей, — настолько потерять волю к защите?!

\*\*\*\*\*

Как сложилось нынешнее невыгодное соотношение? От своего триумфального шествия — каким образом западный мир впал в такую немощь? Были в его развитии губительные переломы, потери взятого курса? Да как будто нет. Запад только прогрессировал и прогрессировал в объявленном направлении, об руку с блистательным техническим Прогрессом. И вдруг оказался в нынешней слабости.

И тогда остаётся искать ошибку в самом корне, в основе мышления Нового Времени. Я имею в виду то господствующее на Западе миросознание, которое родилось в Возрождение, а в политические формы отлилось с эпохи Просвещения, легло в основу всех государственных и общественных наук и может быть названо рационалистическим гуманизмом либо гуманистической автономностью — провозглашённой и проводимой автономностью человека от всякой высшей над ним силы. Либо, иначе, антропоцентризмом — представлением о человеке как о центре существующего.

Сам по себе поворот Возрождения был, очевидно, исторически неизбежен: Средние века исчерпали себя, стали невыносимы деспотическим подавлением физической природы человека в пользу духовной. Но и мы отринулись из Духа в Материю — несоразмерно, непомерно. Гуманистическое сознание, заявившее себя нашим руководителем, не признало в человеке внутреннего зла, не признало за человеком иных задач выше земного счастья и положило в основу современной западной цивилизации опасный уклон преклонения перед человеком и его материальными потребностями. За пределами физического благополучия и накопления материальных благ все другие, более тонкие и высокие, особенности и потребности человека остались вне внимания государственных устройств и социальных систем, как если бы человек не имел более высокого смысла жизни. Так и оставлены были сквозняки для зла, которые сегодня и продувают свободно. Сама по себе обнажённая свобода никак не решает всех проблем человеческого существования, а во множестве ставит новые.

Но всё же в ранних демократиях — также и в американской при её рождении, все права признавались за личностью лишь как за Божьим творением, то есть свобода вручалась личности условно, в предположении её постоянной религиозной ответственности, — таково было наследие предыдущего тысячелетия. Ещё 200 лет назад в Америке — да даже и 50 лет назад, казалось невозможным, чтобы человек получил необузданную свободу — просто так, для своих страстей. Однако с тех пор во всех западных странах это ограничение выветрилось, произошло оконча-



тельное освобождение от морального наследства христианских веков с их большими запасами то милости, то жертвы, и государственные системы принимали всё более законченный материалистический вид. Запад наконец отстоял права человека и даже с избытком, — но совсем поблекло сознание ответственности человека перед Богом и обществом. В самые последние десятилетия этот юридический эгоизм западного мироощущения окончательно достигнут — и мир оказался в жестоком духовном кризисе и политическом тупике. И все технические достижения прославленного Прогресса, вместе и с Космосом, не искупили той моральной нищеты, в которую впал XX век, и которую нельзя было предположить, глядя даже из XIX-го.

\*\*\*\*\*

Чем более гуманизм в своём развитии материализовался, тем больше давал он оснований спекулировать собою — социализму, а затем и коммунизму. Так что Карл Маркс мог выразиться (1844): „коммунизм есть натурализованный гуманизм”.

И это оказалось не совсем лишено смысла: в основаниях выветренного гуманизма и всякого социализма можно разглядеть общие камни: бескрайний материализм; свободу от религии и религиозной ответственности (при коммунизме доводимую до антирелигиозной диктатуры); сосредоточенность на социальном построении и наукообразность в этом (Просвещение XVIII века и марксизм). Не случайно всё словесные клятвы коммунизма — вокруг человека с большой буквы и его земного счастья. Как будто уродливое сопоставление — общие черты в мирознании и строе жизни нынешнего Запада и нынешнего Востока! — но такова логика развития материализма.

Причём, в этом соотношении родства закон таков, что всегда оказывается сильнее, привлекательней и победоносней то течение материализма, которое левей и, значит, последовательней. И гуманизм, вполне утеравший христианское наследие, не способен выстоять в этом соревновании. Так, в течение минувших веков и особенно последних де-

сятелетий, когда процесс обострился, в мировом соотношении сил: либерализм неизбежно теснился радикализмом, тот был вынужден уступать социализму, а социализм не уставал против коммунизма. Именно потому коммунистический строй мог так устоять и укрепиться на Востоке, что его рьяно поддерживали (ощущая с ним родство!) буквально массы западной интеллигенции, не замечали его злодейств, а уж когда нельзя было не заметить, — оправдывали их. Так и сегодня: у нас на Востоке коммунизм идеологически потерял всё, он упал уже до ноля, и ниже ноля, западная же интеллигенция в значительной степени чувствительна к нему, сохраняет симпатию, — и это-то делает для Запада такой безмерно трудной задачу устояния против Востока.

\*\*\*\*\*

Я не разбираю случая всемирной военной катастрофы и тех изменений общества, которые она бы вызвала. Но пока мы ежедневно пробуждаемся под спокойным солнцем, мы обязаны вести и ежедневную жизнь. А есть катастрофа, которая наступила уже изрядно: это — катастрофа гуманистического автономного безрелигиозного сознания.

Мерою всех вещей на Земле оно поставило человека — несовершенного человека, никогда не свободного от самолюбия, корыстолюбия, зависти, тщеславия и десятков других пороков. И вот, ошибки, не оцененные в начале пути, теперь мстят за себя. Путь, пройденный от Возрождения, обогатил нас опытом, но мы утратили то Целое, Высшее, когда-то полагавшее предел нашим страстям и безответственности. Слишком много надежд мы отдали политико-социальным преобразованиям, — а оказалось, что у нас отбирают самое драгоценное, что у нас есть: нашу внутреннюю жизнь. На Востоке её вытаптывает партийный базар, на Западе коммерческий. (апл.) Вот каков кризис: не то даже страшно, что мир расколот, но что у главных расколотых частей его — сходная болезнь.

Если бы, как декларировал гуманизм, человек был рождён только для счастья, — он не был бы рождён и для

смерти. Но оттого, что он телесно обречён смерти, его земная задача, очевидно, духовней: не захлёб повседневностью, не наилучшие способы добывания благ, а потом весёлого проживания их, но несение постоянного и трудного долга, так что весь жизненный путь становится опытом главным образом нравственного возвышения (апл.): покинуть жизнь существом более высоким, чем начинал её. Неизбежно пересмотреть шкалу распространённых человеческих ценностей и изумиться неправильности её сегодня. Невозможно, чтоб оценка деятельности президента сводилась бы к тому, какова твоя заработная плата и неограничен ли в продаже бензин. (апл.) Только добровольное воспитание в самих себе светлого самоограничения возвышает людей над материальным потоком мира.

Держаться сегодня за окостеневшие формулы эпохи Просвещения — ретроградство. Эта социальная догматика оставляет нас беспомощными в испытаниях нынешнего века.

Если и минет нас военная гибель, то неизбежно наша жизнь не останется теперешней, чтоб не погибнуть сама по себе. Нам не избежать пересмотреть фундаментальные определения человеческой жизни и человеческого общества: действительно ли превыше всего человек, и нет над ним Высшего Духа? верно ли, что жизнь человека и деятельность общества должны более всего определяться материальной экспансией? допустимо ли развивать её в ущерб нашей целостной внутренней жизни?

Если не к гибели, то мир подошёл сейчас к повороту истории, по значению равному повороту от Средних Веков к Возрождению, — и потребует от нас духовной вспышки, подъёма на новую высоту обзора, на новый уровень жизни, где не будет, как в Средние века, предана проклятью наша физическая природа, но и тем более не будет, как в Новейшее время, растоптана наша духовная. (апл.)

Этот подъём подобен восхождению на следующую антропологическую ступень. И ни у кого на Земле не осталось другого выхода, как — вверх. (апл.)

## КОММУНИЗМ: У ВСЕХ НА ВИДУ — И НЕ ПОНЯТ

Статья для журнала „Тайм”

Гибельные ошибки Запада относительно коммунизма начались с 1918: с самого начала западные правительства не увидели себе смертельной опасности. В России тогда объединились против коммунизма все прежде враждовавшие силы от государственных до кадетов и правых социалистов. Не соединённо с ними в одних рядах, разрозненно, но тысячами крестьянских и десятками рабочих восстаний сопротивлялась коммунизму вся толща народа. Красная армия была собрана расстрелами десятков тысяч уклонявшихся от большевистской мобилизации. И этого нашего национального противостояния коммунизму западные державы не поддержали. На Западе распространялись самые фантастически-розовые представления о коммунистическом режиме — и „прогрессивная” общественность Запада горячо приветствовала его, хотя уже в 1921 в 30 губерниях России шёл камбоджийский геноцид. (Ещё при жизни Ленина было уничтожено невинного гражданского населения не меньше, чем при Гитлере, — а сегодня американские школьники, единодушно называя Гитлера величайшим злодеем истории, — считают Ленина благодетелем.) Западные страны, соревнуясь между собой, спешили экономически укрепить и дипломатически поддержать советский режим, который не мог бы выжить без этой помощи. Смерть 6 миллионов от голода на Украине и Кубани Европа протанцевала.

Чего этот прославленный режим сто́ит — обнаружилось всему миру в 1941 году: от Балтийского до Чёрного моря Красная армия откатывалась как сдутая ветром, несмотря на своё численное превосходство и прекрасную артиллерию, — откатывалась, как не знала Россия 1000 лет и не знала военная история человечества. За несколь-

ко месяцев сдалось в плен около 3 миллионов воинов! Это и было открытое выражение, что наш народ жаждет конца коммунизма, — и Запад не мог этого не понять, если бы хотел видеть. Но Западу близоруко казалось, что все мировые угрозы — в одном Гитлере, а с его свержением уже не останется опасности на Земле. Запад тогда всеми силами помогал Сталину оседлать национальную лошадь под коммунистическую власть. Так во Второй мировой войне Запад защищал не всеобщую свободу, но лишь свободу для себя. И в конце войны выдавал Сталину на расправу русские дивизии, татарские и кавказские батальоны и сотни тысяч военнопленных и подневольных, стариков, женщин и детей, не желавших возвращаться под гнёт, — и выдача эта производилась со стороны Запада фашистско-коммунистическими методами, британские солдаты сами кололи и стреляли казаков, своих союзников по Первой войне, чтоб только купить дружбу со Сталиным. Сталин играл Рузвельтом как игрушкой, легко обеспечил себе захват Восточной Европы, — от Ялты началась 35-летняя полоса американских капитуляций, лишь коротко прерванная в Западном Берлине и в Корее (когда сопротивлялись — тотчас и выигрывали). Я уже выражал, что весь период от 1945 по 1975 есть как бы ещё одна мировая война, без боя и беззащитно проигранная Западом, отдавшим мировому коммунизму два десятка стран.

Основа этих капитуляций была двойная. Во-первых, духовная слабость всякого благополучия, которое боится собою рисковать. Но во-вторых, и никак не меньше, полное непонимание смертельно-злой и непримиримой природы коммунизма, единой и опасной для всех стран. Феномен коммунизма XX века объясняют неисправимыми свойствами русской нации, — по сути расистский взгляд. (А в Китае? Вьетнаме? Кубе? Абиссинии? да хоть и Жорж Марше?) Ищут порчу только не в самом коммунизме. Агрессивность его объясняют (Гарриман) напуганностью чужой агрессией, — и только поэтому колоссальные вооружения и захват новых стран? Западные дипломаты строят зыбкие расчёты на каких-то несуществующих „правом” и „левом” крыльях Политбюро, когда все там едины в стратегии мирового захвата и неразборчивы в

средствах. Если бывает в Политбюро борьба, то чисто личная, и она не может служить никакому дипломатическому использованию. Средний советский человек, лишённый всей мировой информации и советологической литературы, всё это знает отлично. И неграмотные афганские пастухи разобрались безошибочно: они сжигают портреты именно Маркса и Ленина, а не развешивают уши к тому, что Брежнев был болен и только поэтому их оккупировали. (Трезвые средние американцы тоже понимают природу коммунизма лучше своих публицистов и учёных.)

Спросите раковую опухоль — зачем она растёт? Она просто не может иначе. Так и коммунизм: не может не захватывать новых стран, злобным инстинктом, а вовсе не разумом стремясь к захвату и всего мира. Коммунизм — это новое качество, не виданное во всей мировой истории, и бесплодно искать аналоги. Все предупреждения Западу о беспощадной и ненасытной природе коммунистической власти остаются втуне: этого не хотят принять именно потому, что это слишком страшно. (Разве в Афганистане трагедия произошла не 2 года назад? Но Запад закрывал глаза и оттягивал, сколько мог, — для призрака разрядки.) Десятилетиями отнекиваются: „мирное сосуществование“, „разрядка“, „миролюбие кремлёвского руководства“, — а тем временем коммунизм отхватывает страну за страной и берёт новые ракетные уровни. И самое поразительное: коммунисты десятилетиями не скрывали (пока ещё не поумнели), объявляли громко, что их задача — уничтожить буржуазный мир, — а Запад только улыбался: „какая крайняя шутка“. Но *уничтожить класс* — это уже продемонстрировано в СССР: это значит — физически уничтожить те 10-15 миллионов, которые составляют класс, — и рука коммунистов ещё никогда не дрогнула. Как и сослать целый народ в 24 часа в пустыню. Свои „идеалы“ коммунизм может осуществлять только за счёт уничтожения коренной основы жизни всякой страны. И кто это понимает — не подумает, что китайский коммунизм миролюбивее советского (просто — зубы не отросли), или титовский коммунизм хорош по характеру: на таком же кровавом замесе, на массовых убийствах укрепился и он, — но только Запад по слабонервности предпочёл этого не заметить в 1943-45. Кто понимает —

не будет гадать: доходит или не доходит мировая помощь до умирающих камбоджийцев через власти Сам-Рина? — конечно не доходит, конечно всё отгребаётся для армии и государства, а люди — подыхайте.

Вся комедия „разрядки” нужна коммунизму только для того, чтоб укрепиться за счёт западных финансов (эти займы не будут возвращены) и западной техники, — перед тем, как начать следующее большое наступление. Коммунизм крепче и долговечнее нацизма, он и гораздо тоньше и умней в пропаганде и умеет разыгрывать такие комедии.

Коммунизм не переродится никогда, он всегда будет являть человечеству смертельную угрозу. Это — как инфекция в мировом организме: как бы она ни притаилась — она неизбежно ударит заражением. И не надо хвататься за иллюзии, что есть страны с иммунитетом против коммунизма: любая ныне свободная страна может быть доведена до обморока и полного подчинения.

А тем не менее всё появляются, и в немалом числе, такие целители, которые над остро-инфекционной коммунистической заразой ставят успокоительный диагноз: „эта болезнь — не заразна, это — наследственная русская болезнь, и она никогда не перекинется на нас”. И вот их лечение: только не сердить брежневский режим! но поддерживать его и снабжать, а ненавидеть и противиться надо — всякому возрождению русского национального сознания, — того единственного, что реально ослабляет советский коммунизм изнутри! Это — целая последовательная кампания, её ведут видные американские профессора и публицисты, а безответственную пристрастную информацию им предоставляет группа новых эмигрантов из Советского Союза. Эта пропаганда — безумна для самого Запада и обезоруживает его. После того как национальные силы нашей страны были первый раз преданы Западом в гражданскую войну и второй раз во Вторую мировую — теперь открыто призывают совершить это предательство в третий раз! Этот совет — губительный для русского народа и других народов СССР, — но столько же губительный и для Запада: на погибель нам — но и на погибель вам! Сейчас коммунистическая верхушка со своей одряхлевшей идеологией снова мечтает оседлать русский национализм для своих импер-

ских целей, — а такие западные руки толкают коня под всадника — под всадника против себя самих! — не оставляя коню никакого другого выхода.

Коммунизм враждебен *всякой* национальности и уничтожает *всякую*. Американское антивоенное движение долго тешило себя надеждой, что в Северном Вьетнаме национализм и коммунизм гармоничны, что коммунизм-то и заботится о национальном самоопределении своего любимого народа. Но погребальная флотилия вьетнамских лодок в океане, даже сосчитанная в своей непотонувшей части, — быть может не самым пламенным деятелям того движения, но хоть некоторым объяснила, где истинно находится (и всё время находилось) национальное самосознание. И жгучие страдания миллионов умирающих камбоджийцев (к которым мир уже и привыкает) ещё разительней показывают то же. А Польша — всего лишь молилась несколько папских дней, и только слепые могли не увидеть, где народ, а где коммунизм. А ещё — будапештские повстанцы. А ещё — восточные немцы, зачем-то умирающие под берлинской стеной. А ещё — китайцы, зачем-то переплывающие акульное море под Гонконгом. Китай — глуше всех скрывает свои тайны, — и вот Запад спешит поверить хоть в этот „хороший, миролюбивый” коммунизм. Но та же смертельная пропасть и ненависть лежит между китайским правительством и китайским народом.

В таком же соотношении с коммунизмом находится и русское национальное сознание. Запад беспечно — и горько для нас — путает в употреблении слова „русский” и „советский”, „Россия” и „СССР”, а применять первое ко второму — подобно тому, как признать за убийцей одежду и паспорт убитого. Бездумное заблуждение — считать русских в СССР „правлящей нацией”. Нет, они приняли на себя ещё от Ленина самый первый сокрушающий удар, положили ещё тогда миллионы мёртвых (да убитых по выбору, всех отменных), ещё прежде геноцидной коллективизации. Тогда же вся русская история была облита помоями, церковь и культура раздавлены, уничтожены духовенство, дворянство, купечество, за ними и крестьянство. Впоследствии удары от власти получали и все другие народы, но сегодня русская деревня находится



на самом низком в СССР жизненном уровне, русские провинциальные города — самые низкие по снабжению. На огромных просторах нашей страны — нечего есть, и закупки американского зерна никак не улучшили народного питания (зерно идёт в мобилизационные амбары). Русские — главная масса рабов этого государства. Русский народ измождён, биологически вырождается, его национальное сознание унижено, подавлено. От души русского народа воинствующий национализм сейчас далее всего, империя ему отвратна. Но коммунистическое правительство зорко следит за своим рабом и более всего подавляет его бескоммунистическое сознание, — оттого гноят в лагерях его свободомыслящих (Огурцов — 20 лет, Осипов — 15, Орлов — 12), снова арестовывают священников — духовных учителей народа (о. Глеб Якунин, о. Дмитрий Дудко), невинный комитет защиты верующих, доедино — общины молодых христиан, ссылают академика Сахарова.

В ожидании Третьей мировой войны Запад снова ищет, кем заслониться, — и находит себе в союзники коммунистический Китай! Это снова предательство — не только Тайваня, но всего угнетённого китайского народа, — ибо его толкают конём под коммунистического всадника. Поддерживая дружбу с китайским правительством, Америка помогает укрепить гнёт над китайским народом. Но кроме того — это безумная, самоубийственная политика: снабдив миллиардный Китай американским оружием, вы победите СССР, но уже дальше никакая масса на Земле не удержит коммунистический Китай от мирового господства.

Коммунизм останавливается только тогда, когда встречает стену, — хотя бы стену непоколебимой воли. И такую стену теперь не избежать создавать Западу в его уже крайнем положении. А между тем 20 возможных союзников уже отданы во власть коммунизма после Второй мировой войны. А между тем вашей технологией уже развиты устрашающие военные силы коммунизма. Теперь придётся устанавливать стену из оставшихся сил. Нынешнему поколению Запада придётся самому стать стеной на той дороге, по которой его предки легкомысленно отступали 60 лет.

Но! — все порабощённые народы за вас: и русский народ, и все народы СССР, и китайский, и кубинский. И только в расчёте на *этот* союз и *эту* помощь может иметь успех стратегия Запада. Только *вместе* с ними вы составляете решающую силу на Земле. И принципиально: если отстаивать свободу не только свою, но и всего мира, — то нет другого пути.

Конечно, это потребует от ваших политиков, дипломатов и военных решительной перестройки нынешних представлений, приёмов и тактики.

Пять лет назад всеми моими предупреждениями правительственная Америка пренебрегла. Вольно́ вашим деятелям пренебречь и сегодняшними. Но сбудутся и они.

Январь 1980

Вермонт

## ЧЕМ ГРОЗИТ АМЕРИКЕ ПЛОХОЕ ПОНИМАНИЕ РОССИИ

Статья для журнала „Форин Афферс“

### 1

Люди, не безнадёжно ослеплённые своими иллюзиями, сегодня должны признать, что весь Запад каким-то образом попал в критическое и даже смертельно-опасное положение. Можно указать немало частных объяснений этому и отметить те частные этапы за 60 лет, которые привели к сегодняшней ситуации. Но если указывать главную причину, то это: 60-летняя упорная слепота к природе коммунизма.

Я не говорю о тех, кто и посегодня любит, прославляет и защищает коммунизм. Разумеется — не к ним моя статья. Но есть множество понимающих, что коммунизм — зло, что он опасен миру, — а всё ещё не доведавшихся до непримиримости его природы. И такие люди, занимая посты направляющих референтов или ведущих политических деятелей, — допускают сегодня новые, свежие просчёты, — которые неизбежно ответно ударят в будущем и ударят смертельно.

И самые распространённые ошибки здесь две. Одна — непонимание тотальной враждебности коммунизма всему человечеству. Что он — неизлечим, что у него нет „лучших“ вариантов, что он — не может „подобреть“, что идеологически он не может прожить без террора. Что поэтому никакое сосуществование с ним на одной планете невозможно: либо он прорастёт человечество как рак и убьёт его; либо человечество должно от него избавиться и то ещё потом с долгим лечением метастазов.

Вторая ошибка — тоже очень распространённая: мировую болезнь коммунизма неразделимо смешивают с той страной, которую он овладел первой, — Россией. Эта ошиб-

ка смещает акценты угрозы, все рецепты правильных действий и тем обезоруживает Запад. Это непонимание становится трагичным и угрожает всем народам, причём американскому — никак не позже и не меньше, чем русскому. Не придётся ждать следующих поколений, чтобы нашлось достаточно „благодарных проклинателей” тех, кто внедрил эту ошибку в общественное сознание.

О первой ошибке я много писал и говорил. На Западе немало вызывал этим недоверия, — но, кажется, с годами, по мере обучения реальностью, согласие увеличивается.

Предлагаемая статья посвящена главным образом второй ошибке.

## 2

Прежде всего легкомысленно и неправильно применяют слово „Россия”: его используют вместо слова „СССР”, и слово „русские” вместо „советские”, — и даже с постоянным эмоциональным преимуществом в пользу второго („русские танки вошли в Прагу”, „русский империализм”, „русским нельзя верить”, но — „советские космические достижения”, „успехи советского балета”). А следует твёрдо различать, что понятия эти не только противоположны, но *враждебны*. Соотношение между ними такое, как между человеком и его болезнью. Но мы же не смешиваем человека с его болезнью, не называем его именем болезни и не клянём за неё. Государство как действующее целое, страна с её правительством, политикой и армией — с 1917 уже не могут более называться Россией. Слово „русский” неправомерно применять ни к сегодняшней власти в СССР, ни к армии его, ни к будущим военным успехам и оккупационным властям в разных местах мира, хотя они и будут служебно пользоваться русским языком. (Это равно относится и к Китаю, и ко Вьетнаму, только там не возникло своё слово „советский”.) Один американский дипломат воскликнул недавно: „Пусть на русском сердце Брежнева работает американский стимулятор!” Ошибка, надо было сказать: „на советском”. Не одним происхождением определяется национальность, но

душою, но направлением преданности. Сердце Брежнева, попускающего губить свой народ в пользу международных авантюр, — не русское. Вся их деятельность по уничтожению народной жизни и загаживанию природы, осквернению национальных святынь и памятников, содержанию народа в голоде и нищете уже 60 лет — показывает, что коммунистические вожди чужды народу и равнодушны к его страданиям. (И лютый красный кхмер; и польский функционер, хотя и взращённый матерью-католичкой; и китайский комсомольский надсмотрщик над голодными кули; и разъеденный Жорж Марше с кремлёвской внешностью, — все они ушли от своей национальности, предавшись бесчеловечью.)

Слово „Россия” для сегодняшнего дня может быть оставлено только для обозначения угнетённого народа, лишённого возможности действовать как одно целое, для его подавленного национального самосознания, религии, культуры, — и для обозначения его будущего, освобождённого от коммунизма.

Когда в 20-е годы передовое западное общество восхищалось большевизмом, то не путали, так и называли предмет восторга „советским”. В трагические годы Второй мировой войны два понятия в глазах мира как будто слились (об этой жестокой ошибке — ниже). С лет холодной войны установилась недоброжелательность преимущественно к слову „русский”. И это даёт себя знать поныне, даже в последние годы появились новые острые обвинения против „русского”.

### 3

Сведения и понимание исторической России и нынешнего СССР американский читатель получает в основном: от американских учёных — историков и славистов; от американских дипломатов; от американских корреспондентов в Москве; от новейших эмигрантов из СССР. (Не упоминаю пропагандистских советских публикаций, которым уже верят меньше, и туристических впечатлений — совсем поверхностных, по искусным приёмам „Интуриста”.)

Американская историческая наука, при всей казалось бы незаграждённой ей широте и непредвзятости, но сталкиваясь со скудостью и марксистской деформацией советских источников, часто попадает, сама того не замечая, в принудительное русло, предоставляемое советской официальной наукой, и, в иллюзии самостоятельного пути, невольно повторяет проблематику, иногда и методологию советской науки и вслед за ней обходит некоторые скрытые, совсем затемнённые области. Достаточный пример: что само существование Архипелага ГУЛага, его нечеловеческая жестокость, его размеры, длительность и объёмы смертности до самого последнего времени не признавались западной наукой. Другой пример: мощные явления стихийного народного сопротивления коммунизму в нашей стране в 1918-1922 совсем не были замечены западной наукой, а в замеченной части объявляются (в лад с коммунистами) „бандитизмом” (например — М. Левин). Что касается общей оценки советской истории, то здесь и по сей день дают себя знать те восторги, с которыми „прогрессивная” европейская общественность встречала „зарю новой жизни” в разгар наших террористических уничтожений 1917-1921. И по сей день во многих публикациях американских профессоров вы можете встретить в серьёзном употреблении — „идеалы революции”, а эти идеалы с самого первого шага проявлялись как миллионные убийства. Также и глубинная история России испытала на Западе искажённое влияние страстной радикальной мысли. В последние годы в американской науке заметно господство легчайшего однолинейного пути: неповторимые события XX века — сперва в России, затем и в других странах, объяснить не особенностью нового коммунистического феномена в человеческой истории, — но свести к исконным свойствам русской нации от X и XVI веков (взгляд — прямо расистский). События XX века объясняются неосновательными поверхностными аналогиями из прошлых веков. Пока коммунизм был предметом западного восхищения, — он превозносился как несомненная заря нового века. С тех пор как пришлось его осудить, — его находчиво объяснили извечным русским рабством.

Такая трактовка имеет много сторонников в нынеш-

нем мире, ибо она выгодна многим: коль скоро коммунизм преступен и порочен не сам по себе, а во всём виноваты традиции старой России, то: нет угрозы основам существования западного мира; сохраняются обещающие перспективы разрядки, торговли и дружбы с коммунистическими странами, всем жителям Запада — продолжение безопасного комфорта; все коммунисты западных стран освобождаются от обвинения и подозрения („у них будет лучше, совсем хороший коммунизм”); и облегчается совесть тех либералов и радикалов, которые отдали в прошлом столько своих восторгов и помощи этому кровавому режиму.

Соответственно, в трактовке прежней русской истории учёные этого направления поступают бесцеремонно. Они допускают весьма произвольный отбор явлений, фактов и лиц, поддаются недостоверным, а то и просто ложным версиям событий, но ещё разительней: почти полностью пренебрегают духовной историей тысячелетней страны, как будто она (приём марксизма) и не имела влияния на течение материальной истории. При изучении китайской, тайландской или любой африканской истории и культуры считается необходимым испытывать уважение к её своеобразию. По отношению же к русскому тысячелетнему восточному христианству западные исследователи во множестве испытывают лишь презрение и удивление: почему этот странный мир, целый материк, всё не принимал западного мировоззрения и всё не шёл по столь явно преимущественному западному социальному пути? Россия решительно осуждается за всё, в чём она не похожа на Запад.

В длинном ряду выступлений, искажающих облик России, характерна хотя бы книга Ричарда Пайпса „Россия при старом режиме”. \* Пайпс вовсе пренебрегает духовной жизнью русского народа и его миропониманием — христианством, рассматривает века русской истории вне зависимости от православия и его деятелей (достаточно сказать: Сергей Радонежский, несравненно повлиявший на

---

\* Richard Pipes — *Russia Under the Old Regime*, Charles Scribner's Sons, New York, 1974, 361 pp

века русской духовной и государственной жизни, вообще ни разу не упомянут в книге, а Нил Сорский выставлен в анекдотической роли). То есть вместо показа живого народного существа — анатомируется труп. Самой Церкви Пайпс отводит одну главу, при этом лишь как гражданскому учреждению и трактуя его в духе советской атеистической пропаганды. Этот народ и эта страна представлены как не доразвившиеся до духовной жизни, движимые одними лишь грубыми материальными расчётами, от мужика и до царя. Даже внутри тематических разделов нет убедительного последовательного изложения истории: хаотически смешаны исторические эпохи, события разных веков (и часто без указания дат). Автор произвольно игнорирует события, лица и стороны русской жизни, которые мешали бы его концепции: что вся история России никогда не имела другого смысла, как создать полицейский строй. Он отбирает только то, что помогает ему дать пренебрежительно-насмешливое и открыто-враждебное описание русской истории и русского народа. Из его книги возможен только один вывод: об античеловеческой сути русской нации, никуда не годившейся все 1000 лет и очевидно безнадёжной для будущей жизни. Даже честь мирового изобретения тоталитаризма Пайпс приписывает императору Николаю I. Не говоря уже о том, что тоталитарный феномен никогда не был осуществлён до Ленина, у г. Пайпса достаточно эрудиции, чтоб он мог указать, что идею тоталитарного государства первый предложил Гоббс в „Левиафане” (глава государства — господин не только над имуществом и жизнью, но и совестью граждан). Да и Руссо давал к тому основания, объявляя демократическое государство „неограниченным сувереном” не только над собственностью, но и над личностью граждан.

Меня как писателя, выросшего и всю жизнь прошедшего в стихии русского языка и фольклора, особенно поражает такой „научный” приём Пайпса: из 40 тысяч русских пословиц, составляющих в своём единстве и внутренних противоречиях ослепительное художественное и философское создание, Пайпс вырывает (искусственно подобранные Горьким) подходящие ему полдюжины пословиц — и ими „доказывает” жестокую циничную природу



русского крестьянства. На меня этот приём производит такое же впечатление, как, вероятно, на ухо Ростроповича произвёл бы волк, севший играть на виолончели.

Все учёные и публицисты этого направления с каким-то тупоумием повторяют из книги в книгу, из статьи в статью два имени: Иоанн Грозный и Пётр I, подразумеваемо или открыто сводя к ним весь смысл русской истории. Но и по два, и по три не менее жестоких короля можно найти и в английской, и во французской, в испанской и в любой другой истории, — однако никто не сводит к ним полноту исторических объяснений. Да никакие два короля не могут определить историю 1000-летней страны. Однако, рефрен продолжается. Таким приёмом одни учёные хотят показать, что коммунизм только и возможен в странах с „порочной историей”, другие — очистить и сам коммунизм, переложив вину за его дурное исполнение на свойства русской нации. Подобный взгляд повторился и в серии недавних статей, посвящённых столетию Сталина, например у профессора Роберта Таккера (R. C. Tucker, NYTimes, 21.12.79).

Короткая, но энергичная статья Таккера изумляет: неужели она написана не 25 лет назад? Как же может учёный политик и сегодня настолько не понимать коммунистического феномена? Мы снова встречаем всё те же увядшие идеалы революции, которые загубил гнусный Сталин, потому что уроки брал не у Маркса, а у гнусной русской истории. Профессор Таккер спешит спасти социализм тем, что Сталин, оказывается, не был *настоящим* социалистом! — он действовал не по теории Маркса, а по стопам всё тех же настрявших Иоанна Грозного из XVI века и Петра из XVIII. Что будто вся сталинская эпоха есть радикальный возврат в прежнюю царскую эпоху, а совсем не последовательное применение марксизма к современным реальным условиям, что Сталин разрушал большевизм (а не продолжал его). Я, по авторской скромности, не смею просить и надеяться, чтобы профессор Таккер прочёл хотя бы 1-й том „Архипелага ГУЛАГа”, а лучше бы все три. Это может быть освежило бы у него в памяти, что коммунистический полицейский аппарат, промолвивший потом 60 миллионов жертв, создали Ленин, Троцкий и Дзержинский, сперва в виде ЧК, имевшей неограничен-

ное право бессудного расстрела неограниченного числа людей. Что Ленин собственным пером сформулировал 58-ю статью уголовного кодекса, на которой и был основан весь сталинский ГУЛАГ. И весь красный террор и миллионные подавления крестьянства сформулированы Лениным и Троцким. Вот эти инструкции Сталин и выполнял честно, лишь ограниченно по своим умственным возможностям. Единственное, в чём он осмелился отойти от Ленина, — это в том, что стал уничтожать (для укрепления собственной власти) верхушку коммунистической партии. Но и в этом он лишь выполнял всеобщий закон больших кровавых революций: они непременно пожирают своих делателей. В СССР верно говорилось: „Сталин — это Ленин сегодня“, и действительно: вся сталинская эпоха есть прямое продолжение ленинской, лишь более зрелое по результатам и длительной плавности развития. Никакого „сталинизма“ никогда не существовало ни в теории, ни на практике, ни такого явления, ни такой эры, — это понятие придумала после 1956 левая западная мысль для спасения „идеалов“ коммунизма. И только в злом фантазме можно назвать „русским националистом“ Сталина, уничтожившего 15 миллионов отборных крестьян, сломавшего хребет русскому крестьянству — то есть самой России, и положившего свыше 30 миллионов голов во Вторую мировую войну, не выбирая экономных методов ведения, не бережа народных жизней.

И какой же образец мог, по Таккеру, увидеть для себя Сталин в прежней царской России? Лагерь — вообще не было, и понятия даже такого. Отсидочных тюрем — очень мало, и поэтому политические (кроме крайних террористов) и в том числе все большевики посылались в благополучную сытую ссылку на казённом содержании, где никто не принуждал их к труду, — и откуда все желающие беспрепятственно бежали за границу. Но и уголовная тогдашняя каторга не составляла 1/10000 части ГУЛАГа. Всякое следствие велось в строгой законности по устоявшимся законам, всякий суд — открыт и с участием адвокатуры. Секретная полиция в сумме по всей стране имела штатов меньше, чем сегодня госбезопасность одной Рязанской области, охранные отделения существовали в нескольких крупных городах и то со слабым надзо-

ром, а всякий уехавший за черту этих городов сразу уходил из-под наблюдения. В армии — вообще не было секретного осведомления и наблюдения (что весьма облегчило февральскую революцию), ибо Николай II считал это оскорблением своей армии. Добавим к этому: отсутствие специальных пограничных войск, пограничных укреплений и полная свобода эмиграции.

Многие западные историки отдаются устойчивой ложной традиции в представлении дореволюционной России, тем отчасти повторяя советскую пропаганду. Россия перед войной 1914 года была страна с цветущим производством, в быстром росте, с гибкой децентрализованной экономикой, без стеснения жителей в выборе экономических занятий, с заложенными началами рабочего законодательства, а материальное положение крестьян настолько благополучно, как оно никогда не было при советской власти. Газеты были свободны от предварительной политической цензуры (даже и во время войны), существовала полная свобода культуры, интеллигенция была свободна в своей деятельности, исповедание любых взглядов и религий не было воспрещено, а высшие учебные заведения имели неприкосновенную автономность. Многонациональная Россия не знала национальных депортаций и вооружённого сепаратистского движения. Вся эта картина не только не схожа с коммунистической эпохой, но прямо противоположна ей во всём. Александр I был с войском и в Париже, — но не присоединил к России и клочка европейской земли. Советские завоеватели никогда не уходят ниоткуда, где однажды ступила их нога, — и оба феномена признаются одноприродными! Та „плохая” Россия не нависала захватом над Европой, ни тем более Америкой и Африкой. И экспортировала она — хлеб и сливочное масло, а не оружие и не инструкторов терроризма. И сокрушилась-то она из верности западным союзникам, из-за того что Николай II продолжал бессмысленную войну с Вильгельмом, вместо того чтобы пойти на сепаратный мир (как сегодня Садат) — и спасти свою страну. Недружелюбие к прежней России на Западе было раздуто усилиями русской революционной эмиграции, предложившей самую примитивную схему, движимую их политическими увлечениями, — и никогда не уравновешенную никакими

русскими ответами и разъяснениями, ибо в старой России понятия не имели о роли „агитации и пропаганды”. (И так, например, 9 января 1905 в Петербурге, когда было несчастным образом убито 100 человек из демонстрации и ни один не арестован, осталось вечным клеймом и характеристикой России, а 17 июня 1953 в Берлине, когда было злоумышленно убито 600 демонстрантов и арестовано 50 тысяч, — не поминается упреком СССР, но скорей ставится в уважение его силе: „надо искать общий язык”).

Как-то с веками совсем забылась дружба России с юными, новообразованными Соединёнными Штатами в XVIII веке. С начала XX века в американском обществе распространилась недружественность к России. Её последствия мы видим и сегодня. Но сегодня они выходят из рамок отдалённых чувствований и грозят привести весь Запад к роковой ошибке.

#### 4

После таких коренных ошибок, проявляемых в понимании России и СССР американскими учёными, мы уже меньше удивимся промахам политиков — хотя работников как будто практических, но всегда головой под влиянием существующих общих теорий, а руками сильно скованными обстановкой момента.

Совокупным действием этих причин только и можно объяснить чудовищную резолюцию Конгресса США 17 июля 1959 о порабощённых нациях (Public Law 86-90, с тех пор возобновлявшуюся), где даже отсутствует всеобщий виновник — СССР, где всемирный коммунизм назван русским, России приписано порабощение континентального Китая и Тибета, и русским отказано числиться в составе угнетённых наций, к каким причислены несуществующие Идель-Урал и Казакция.

Очевидно, пятно непонимания и невежества гораздо шире, чем эта резолюция.

Так и многие действующие или прежде действовавшие дипломаты Соединённых Штатов своими постами и своим авторитетом помогли создать вокруг советского коммунизма опасное горючее облако иллюзий и легковес-

ных расчётов. Такого наследства много оставили дипломаты рузвельтовской школы, как Гарриман, до сих пор уверяющий легковверных американцев в миролюбии кремлёвских владык, у которых, мол, только очень ранено сердце болью за свой советский народ, пострадавший в войне. (Достаточно вспомнить несчастных крымских татар, которых и сегодня не пускают в Крым по той единственной причине, что они стеснили бы охотничьи уголья Брежнева.) А на самом деле кремлёвскому руководству народ бесконечно чужд, безразличен, эксплуатируется до полного истощения и вымирания, а когда потребуется, — его погонят на уничтожение миллионками без жалости.

Выдающийся вред в конструкцию и направление американской внешней политики годами удавалось вносить и Джорджу Кеннану своими статьями, высказываниями и советами, основанными на глубоком якобы познании советского опыта. Он — как раз из упорных создателей мифа о „мягких” членах Политбюро, — которые однако никогда ничем себя не проявили. Он настойчиво советует больше прислушиваться к заявлениям советских руководителей и даже сегодня восклицает: как можно не верить Брежневу, энергично отрицающему агрессивные намерения? Захват Афганистана Кеннан приписывает... „скорее защитным импульсам” советского руководства!

Вместо пронизательного анализа многим западным дипломатам свойственен неизлечимый самообман, и это видно на таких ветеранах политики, как В. Брандт с его самоубийственной для Германии „Ostpolitik”, — и именно такие разрушительные действия увенчиваются нобелевскими премиями мира.

Тут небезынтересно отметить явление, которое я назвал бы „эффетом Киссинджера”, но свойственное не ему одному: в период занятия важного поста вести политику уступок и капитуляции, за которую Западу ещё придётся платить в будущем многими годами и жизнями, — но едва уйдя в отставку, вдруг прозревать и начинать давать самые решительные советы. Отчего это может происходить, как объяснить? Не прозревают же они так внезапно! Не следует ли допустить, что они всё истинно понимали и раньше, но просто плыли в политической рутине, держась за свой пост?

Многолетняя дипломатия умиротворения сводилась неизменно к отдаче всех позиций и укреплению своего противника. Сегодня уже глобально обозрим 35-летний итог совместных усилий всех главных западных дипломатов: они так всемерно укрепили СССР и коммунистический Китай, что лишь идеологическая ссора между этими двумя правительствами (возникшая отнюдь не усилиями Запада) ещё спасает западный мир. То есть существование Запада уже зависит не собственно от него.

И ещё остались этим дипломатам зыбкие расчёты на мнимый раскол в советском Политбюро между несуществующими там „консервативным и либеральным крыльями“, „ястребами и голубями“, „правыми и левыми“, старыми-молодыми, злыми и добродушными, — последний рубеж банкротов: никогда не содержало в себе Политбюро ни человеческих, ни миролюбивых людей, — такие не могут даже подняться до верху по условиям коммунистической бюрократии, и они тотчас бы задохнулись и умерли там.

Тем не менее и сегодня Америку тешат и успокаивают иллюзиями и мнимыми надеждами. То — надеждами на раскол в Политбюро и версией, что не Брежнев оккупировал Афганистан! То — иллюзиями лучших экспертов, что „СССР получит свой Вьетнам“ — то в Анголе, то в Абиссинии, то в Афганистане. (Можно заверить этих экспертов и их читателей, что сегодняшний СССР способен проглотить ещё пять таких стран — быстро и не подавиться.) То — новыми и новыми надеждами на „разрядку“, несмотря на растоптание очередной страны. (И тут можно успокоить, что „разрядку“, какая она была, покупку всего нужного между двумя захватами, советские вожди охотно восстановят и после Афганистана.)

Само собой понятно, что из информации, доставляемой такими дипломатами, Америка не почерпнёт понимания СССР и глубины опасности.

Но политики этого рода за последнее время получили подкрепление: фальшивым „объяснением“ СССР и России занялась активная группа новейших эмигрантов оттуда. Среди них нет крупных имён, но они быстро признаются тут профессорами и специалистами по России, оттого что быстро ориентируются, какое направление свидетельства

желательно. Они настойчивы, громки, повторительны в прессе разных стран, статьями, интервью, уже и книгами — все вместе довольно дружно проводят сходную линию, которую суммарно можно бы обрисовать так: „сотрудничество с коммунистическим правительством СССР — и война русскому национальному самосознанию”. Как правило, они, будучи в СССР, служили коммунизму в советских институтах и даже активно и многолетне участвовали в лживой коммунистической печати и никогда не высказывались оппозиционно. Затем они выехали из СССР по израильской визе, но не поехали в Израиль (drop-outs по израильской терминологии), а в странах Запада объявили себя тотчас истолкователями России, её исторического духа и нынешней жизни русского народа (которой они и не наблюдали по своему привилегированному положению в Москве). Самые активные из этих новых информаторов даже не ставят советской системе в вину уничтожение 60 миллионов, и не ставят в вину её воинствующий атеизм, прощают её тотальное подавление, но возглашают Брежнева „миротворцем” и открыто призывают к максимальной поддержке коммунистического режима в СССР как „наименьшего зла”, наилучшей альтернативы для Запада, — и одновременно обвиняют в таком сотрудничестве русское национальное направление. Смысл духовных течений у нас на родине передаётся Западу превратно. Пытаются вселить в западное общественное мнение — страх и даже ненависть к возрождению почти насмерть подавленного коммунистической властью за 60 лет русского национального самосознания, — искусственно и недобросовестно связывая его с правительственным манёвром антисемитизма. Для этого изображают советский народ поголовным стадом баранов, который никак не способен разобраться в своей 60-летней судьбе, в причине своей нищеты и страданий, — и только ждёт официального объяснения от коммунистических верхов, а они ему подсунут антисемитизм — и народ удовлетворится этим. (На самом деле средний советский человек намного отчётливей понимает античеловеческую природу коммунизма, чем многие публицисты и политики Запада.)

Некоторые из этих эмигрантов делают при том довольно безграмотные экскурсы в историю предыдущих

русских веков, — как раз прилегая к упомянутой выше близорукой американской школе. Из всего этого ряда можно назвать хотя бы Дм. Симеса или А. Янова — 17 лет кряду верного коммунистического журналиста, никогда не выступавшего против советского режима, а теперь с большой лёгкостью представляющего доверчивому американскому читателю то превратные картины советской действительности, то произвольно прыгая по поверхности русского прошлого, обходя его устои и раздувая мыльные пузыри. Янов приписывает русскому национальному сознанию почти на соседних страницах одновременно: и мессианиззм (бредовая выдумка), и тут же — отрицающий его изоляционизм, в котором видит почему-то угрозу миру.

Поскольку в традиции американской исторической науки уже существует искажённое и недоброжелательное представление о прежней России, — такие семена могут дать ядовитые всходы.

Усилия этих пристрастных информаторов дополняются и подкрепляются за последний год потоком статей американских журналистов, из них часто — московских корреспондентов американских газет. Содержание этих статей всё то же: грозная опасность для Запада возрождения русского национального самосознания, затем — беззащитное смешение православия с антисемитизмом (если не прямо пишут, что они тождественны, то назойливо ставят их в смежных фразах и абзацах), и затем ещё одна особая теория: что подымающееся русское религиозно-национальное самосознание и снисходящие прожжённые коммунистические вожжи не имеют другой мечты как слиться воедино в некоей „новой правой“, — и лишь непонятно, что им все эти годы мешало слиться, чей же запрет? На самом деле религиозные и национальные круги в СССР только преследуются — всеми уголовными методами.

На первый взгляд такое совпадение картины от эмигрантов-информаторов и от свободных американских корреспондентов поражает: коль два независимых источника сообщают одно и то же — значит, что-то есть воистину. Но надо хорошо знать положение всех западных корреспондентов в СССР: подлинная советская жизнь от них закрыта каменной стеной, особенно провинция и деревня (всякие поездки туда исключительно декоративны, строго



обставлены КГБ, а для простых советских людей в провинции разговоры с иностранцами без подстройки КГБ — смертельно опасны). Характерно признание Р. Кайзера, корреспондента „Вашингтон Пост”: прожив в Москве 4 года корреспондентом, — он ни разу ничего не слышал о крупнейшем новочеркасском восстании 1962 года! Источники информации западных корреспондентов: тщательная обработка холостой пустой официальной советской прессы; кулуарное соби́рание соображений от западных дипломатов (источники совпадают!); затем случайные встречи со второстепенными представителями коммунистической знати (но это — настолько низкий и неискренний человеческий материал, что нельзя рассматривать его серьёзно). А главный источник — беседы с теми немногими москвичами, кто бесповоротно переступил черту запрета близости с западными людьми (а часто — это представители того же столичного круга, из которого уже уехали упомянутые информаторы). Вот они-то и являются главным источником сведений для широковещательных грозных статей о русской национальной опасности для всего мира. И так анонимная антисемитская листовка в московской подворотне подаётся в западной прессе с обобщающим размахом. Но так и открывается совпадение источников: картина мира строится по отражению её в одном и том же маленьком осколке. В физике это всё называется: систематическая ошибка измерительного прибора.

Если же вдруг информация — иная по направлению, не подходит к тому, что настроена искать сейчас в Москве западная пресса, — то такая информация попросту гасится, как сделал, например, корреспондент „Нью-Йорк Таймс” К. Рэн, получив большой важности интервью от академика Шафаревича и нигде его не напечатав. Так же точно западные учёные, западные органы печати не принимают в соображение журнал „Вестник Русского Христианского Движения”, выходящий уже полвека в Париже при содействии именно культурных русских кругов и чрезвычайно популярный в них. Они узнали бы совсем другую картину, далёкую от рисуемых ужасов.

При такой степени осведомлённости только и может возникнуть переко́с, что главная проблема сегодняшнего СССР — это проблема эмиграции. Как вообще проблемы

большой страны могут свестись к отъезду из неё кого бы то ни было? То там, то здесь по русской провинции (недавно в Перми) происходят многотысячные голодные рабочие забастовки, разгоняемые оружием, даже с парашютным десантом на заводскую крышу, — но разве у Запада есть внимание это заметить и прореагировать? Так и грандиозный процесс в СССР, губительный для существования русского народа, процесс, уже идущий и рассчитанный лет на 10-15, — процесс окончательного уничтожения русского крестьянства — физического уничтожения изб, деревень, сгона крестьян в многоэтажные посёлки индустриального типа, конца связи с землёю, последнего конца национальных традиций, быта, очевидно — и народного характера, конца русского пейзажа, — этого наступления, которое повели коммунистические убийцы народной души, — скудные информаторы Запада даже вообще не заметили! Первая революция (1917-1920) была — резать Россию кривым ленинским ножом. Россия всё же осталась жива. Вторая революция (1929-1931) — раздробить Россию сталинской кувалдой. Россия всё же осталась жива. Наступила третья бесповоротная революция — соскрести Россию с лица земли брежневским бульдозером. И в этот момент смертельного уничтожения русского национального существования — информаторы Запада вопят о самой большой угрозе для всего мира: русского национального сознания...

## 5

Москва — это не Советский Союз. С начала 30-х годов общий жизненный уровень всей Москвы был — за счёт ограбления остального народа и особенно деревни — искусственно поднят по сравнению с прочей страной. (Отчасти в таком положении ещё Ленинград и некоторые закрытые научные посёлки.) Таким образом, всё московское население вот уже 50 лет искусственно подкармливается и искусственно поддерживается на ином психологическом уровне, нежели вся остальная ограбленная страна. (Большевики научены уроком февральской революции 1917 в Петрограде.) От этого Москва получилась неким

уголком, промежуточным между СССР и Западом: она почти настолько же комфортабельнее остального Советского Союза, насколько Запад комфортабельнее Москвы. Но поэтому и все суждения, собранные по московскому опыту, прежде чем быть перенесены на общесоветский опыт, должны быть исправлены большим поправочным коэффициентом. Истинный общесоветский опыт — только в провинции, в деревне, в лагере и в жестокой армии мирного времени.

Сам я все 55 лет своей советской жизни провёл исключительно в глубинном СССР, никогда не имел привилегий столичного жительства и свой жизненный опыт могу использовать без коэффициента. Я и буду говорить не о Москве, но — о стране.

Прежде всего: западные глаза затуманены ложным газетным представлением, что русские являются „господствующей нацией” в СССР. Они не были ею никогда: от 1917 и по сегодня. Первые 15 лет советской власти сокрушительный, уничтожительный удар советского коммунизма пришёлся по русским, украинцам и белорусам (нынешний упадок рождаемости происходит ещё оттуда) — с почти полным истреблением их высших классов, духовенства, культурной традиции, интеллигенции — и питающего слоя крестьянства. Запрещались и проклинались лучшие имена русского прошлого, вся прошлая история покрывалась бранью, церкви уничтожались сплошь, десятками тысяч, города и улицы переименовывались в имена палачей — так, как могут делать только оккупанты. По мере же того, как коммунисты чувствовали себя у власти твёрже, они переносили подобный удар и по остальным национальным республикам, применялся известный принцип Ленина, Гитлера и уголовников: бить врагов поодиночке. И так — „господствующей нации” вообще в СССР не оказалось: коммунистам-интернационалистам никогда не была нужна такая. То обстоятельство, что в качестве государственного языка сохранился русский, — чисто механическое, какой-то один должен был быть. Русский язык только изгажен этим употреблением. От этого русские не почувствовали себя господами: если насилуя женщину, её командуют на её родном языке, — это не значит, что не было акта изнасилования. И то обстоятельство, что с кон-

ца 30-х годов в коммунистическом руководстве стали получать перевес русские и украинцы по происхождению, — никак не сделало эти нации господствующими. Во всём мире (и в Китае, и в Корее) закон таков: люди, отдавшие себя коммунистическому руководству, уходят душой не только от своей нации, — но и от человечества вообще.

Но шерсти можно больше состричь с более крупной овцы — и так раскладки экономического гнёта все советские годы были наиболее жестоки по отношению к РСФСР.\* К другим национальным республикам экономические приёмы были всё же осторожнее: боялись национальной вспышки. Повсюду введена бесчеловечная колхозная система, — но всё же расценка за центнер апельсинов в Грузии была — при меньшей затрате труда — несравненно преимущественней, нежели за центнер русского картофеля. Эксплуатировались беспощадно все, — но предельная степень эксплуатации была в РСФСР, и сегодня самая нищая в СССР деревня — русская. Так же и города в русской провинции десятилетиями не знают не только мяса, сливочного масла или яиц, но грезят о простых макаронах или о маргарине.

Такая материальная пропасть существования — и уже полвека! — ведёт и приводит к биологическому вырождению нации, к упадку телесному и духовному, — тем более усиленному отупляющей политической пропагандой, насильственным отнятием религии, подавлением независимой культуры, свободой для одного лишь пьянства, двойным трудовым изнеможением женщины (на казённой работе — наравне с мужчиной, и дома без бытовых приборов) и ограблением детского ума. Падение бытовых нравов — жестоко, но не потому, что так плох народ, а потому что коммунисты лишили его пищи физической, пищи духовной — и отстранили всех, кто мог бы оказать духовную помощь, в первую очередь священство.

Русское национальное сознание сегодня — исключительно подавлено и унижено всем произошедшим и происходящим с нами. Это — сознание долго больного и при

---

\* РСФСР — официальное название той части страны, которая остаётся за вычетом 14 окраинных национальных республик.

смерти больного человека, у которого одна только мечта — о покое и выздоровлении. Все помыслы русской семьи в глубине страны неизмеримо скромней и робче, чем можно услышать западному корреспонденту в досужных московских беседах. Все помыслы эти: как-нибудь прекратился бы бесконтрольный произвол местного мелкого коммунистического сатрапа, да удалось бы наесться, да обути детей, да запасти топливо на зиму, да удалось бы иметь хоть по одной комнате на двух человек, да открылась бы церковь ближе, чем 200 километров от их жительства, да не запрещалось бы крестить детей и воспитывать их в добре, да отвлечь отца семейства от пьянства.

И вот эту тягу глубинной России подняться от животного существования к человеческому и вернуть себе элементы религиозно-национального сознания — легкоязычные быстроязычные современные информаторы Запада называют: русским шовинизмом — и величайшей угрозой современному человечеству, — гораздо большей, чем откормленный дракон коммунизма, уже занесший ракетно-танковую лапу над остатком нашей планеты. Вот этим несчастным людям, этому смертельно-больному народу, беспомощному спасти себя от гибели, приписывают фанатическую идею мессианства и воинствующий национализм!

Пугают — фантомом. „Русским национализмом” клеймят сейчас простое чувство любви к своей родине, естественный патриотизм. Но страну, не знавшую 50 лет простого хлеба, — уже никому не настроить к воинствующему национализму. Держать в плену другие народы, держать в капкане Восточную Европу, захватывать и вооружать дальние заморские страны — это нужда злобного Политбюро, а не рядового русского человека. Что же касается „исторического русского мессианизма”, то это — сочинённый вздор: за несколько веков никакие духовно-влиятельные, или правительственные, или интеллигентские слои в России не страдали мессианской болезнью. Да я допустить не могу, чтобы в наше погрязшее время на Земле какой-нибудь народ смел бы считать себя „избранным”.

Все народы Советского Союза нуждаются в долгом выздоровлении после коммунистической порчи, а русскому народу, по которому удар был самый истребительный и затяжной, нужно 150–200 лет выздоровления, мирной

национальной России. Но такая Россия подсекает коммунистическое безумие. Русское национальное возрождение и освобождение стало бы гибелью советского коммунизма, а за ним и мирового. И советский коммунизм отлично сознаёт, что русское национальное сознание — отменяет его. Для людей, искренно любящих Россию, никакое примирение с коммунизмом никогда не было и не будет возможно. И потому коммунизм наиболее беспощаден был всегда — к христианским деятелям и к национальным. Первые годы это был сплошной расстрел, потом — гноение в лагерях. Но и по сегодняшний день их продолжают преследовать неотвратимо: Владимир Шелков уморён насмерть 25 годами лагерей, 13 лет уже отсидел Огурцов, 12 — Осипов, этой зимой разгромлен совсем аполитичный „Комитет защиты прав верующих”, арестованы независимые священники о. Глеб Якунин и о. Дмитрий Дудко, пересажаны члены христианского семинара Огородникова. Власти и не скрывают, что всей тяжестью своего террористического аппарата они открыто давят христианскую веру. И в этот-то момент, когда религиозные круги в СССР преследуются отъявленно жестоко, — как красиво, как морально слышать поношения православия со стороны западной печати!

Нынешняя антирусская кампания западных информаторов, прорастающая и в центральной американской прессе, — исключительно полезна и спасительна для советского коммунизма, хотя не стану обязательно настаивать, что она вся инспирирована им самим.

Но и, обратно: эта кампания переворачивает для Запада реальность вверх дном, понуждает бояться своего естественного союзника — угнетённый русский народ, а верить своему смертельному врагу — коммунистическому режиму, и слать ему обильную помощь, в которой он так нуждается после полувекового экономического банкротства.

## 6

Но и поверженный, разгромленный, ограбленный народ — продолжает физически существовать, и коммунистическая власть — одинаково в СССР, в Китае или на

Кубе — имеет цель заставить его: и безотказно на себя работать и безотказно воевать, когда потребуется. А для войны — в СССР коммунистическая идеология уже давно не тянет, никого она не воодушевляет. Итак, несомненно намерение власти: снова сэксплуатировать ими же угнетённое русское национальное чувство — для своей новой войны, для своих жестоких империалистических целей, и тем судорожней и отчаянней, чем больше будет коммунизм идеологически тонуть, — чтобы получить от национальных чувств недостающую себе физическую и духовную крепость. Верно, такая опасность есть.

Упомянутые информаторы — её видят и даже видят только её одну (не истинные поиски национального духа). И в грубом случае за это уже вперёд бранят нас шовинистами и фашистами, а в самом предупредительном случае говорят: раз вы видите, что религиозно-национальное возрождение русского народа может быть подло использовано советской властью, — то и откажитесь от возрождения и откажитесь от всяких национальных чаяний.

Но ведь советская власть использует и еврейскую эмиграцию из СССР для успешного разжигания антисемитизма („вот, смотрите, единственные, кому разрешено спастись из ада, и за это Запад платит товарами”), — следует ли отсюда, что можно дать евреям совет отказаться от поисков своих религиозных и национальных истоков? Конечно, нет. Позволительно нам всем — жить на Земле естественно и стремиться к тому, к чему мы каждый стремимся, без оглядки на то: а кто как об этом подумает, что напишут в газете или какие тёмные силы будут пытаться использовать для себя?

Да зачем говорить всё в предположениях будущего времени? У нас есть недавняя история. В 1918-1922 годах во многих местах России тысячные крестьянские толпы шли с вилами (или даже только с иконами, и эти случаи описаны в литературе) на красные пулемёты как на силу, враждебную своему народному существованию, — и крестьян убивали тысячами же.

А 1941-45 годы? Вот когда впервые — в масштабе многомиллионном и полностью на глазах всего мира, коммунизм действительно оседлал русский национализм, убийца оседлал полуубитого — и в Америке, и в Англии

не только никого это не устрасило, — но вызвало единодушный восторг всего западного мира, и „России” простили её неблагозвучное название и всякую недобрую память прошлого, её впервые безоглядно полюбили (парадоксально: когда она перестала быть сама собой) — и ликовали и аплодировали: потому что такое оседлание тогда спасало западный мир от Гитлера. И не упрекали, что это „величайшая опасность”, хотя на самом деле это и была величайшая опасность. Тогда Запад даже и мысли не допускал, что у русских могут быть какие-нибудь иные чувства, кроме коммунистических.

А что испытывали тогда подсоветские народы на самом деле? А было вот как. Прогремело 22 июня 1941 года, прослезил батяня Сталин по радио свою потерянную речь, — а всё взрослое трудящееся население (не молодёжь, оболваненная марксизмом), и притом всех основных наций Советского Союза, задышало в нетерпеливом ожидании: ну, пришёл конец нашим паразитам! теперь-то вот скоро освободимся. Кончился проклятый коммунизм! Литва, Латвия, Эстония встречали немцев ликованием. Белоруссия, Западная Украина, потом первые русские области встречали немцев ликованием. Но нагляднее всех показала настроение народа Красная армия: на виду у всего мира, на фронте в 2000 километров шириной она откатывалась — хотя пешком, но с автомобильной скоростью. Ничего нельзя придумать убедительнее этого голосования ногами — одних мужчин расцветного боевого возраста. Всё численное превосходство было на стороне Красной армии, превосходная артиллерия, немало танков, — но армии откатывались неуподобляемо, невиданно для всей русской и всей мировой истории. За короткие первые месяцы в плен сдались около 3 миллионов солдат и офицеров!

Вот было настроение народа (народов), испытавших кто 24 года коммунизма, а кто — даже только 1. Для них весь смысл новейшей войны был — освобождение от коммунистической чумы. Народ, естественно, стремился в первую очередь решить не европейскую задачу, а свою национальную — освободиться от коммунистов.

Видел ли Запад это катастрофическое отступление? Не мог не видеть. Истолковал ли как-нибудь для себя?



Нет, ослеплённый своими заботами и своими болями, не истолковал даже и до сегодняшнего дня. А между тем, при бесстрашной преданности принципу *всеобщей*, универсальной свободы, он не должен был покупать лендлизом помощь кровавого Сталина, укреплять его господство над народами, ищущими своей свободы. Запад должен был открывать независимый фронт против Гитлера — и сокрушить Гитлера своими *собственными* силами, и эти силы у демократических стран были, но их жалели, и предпочли загородиться несчастными народами СССР.

После 24 лет террора никакими силами, никаким убеждением не удалось бы коммунизму оседлать русский национализм для своего спасения, — если бы не оказалось (а под коммунистическим колпаком нет внешней информации, и мы заранее не знали), что с запада на нас катится другая такая же чума да ещё со специальной антинациональной задачей: русский народ частью истребить, а частью обратить в рабов. И первое, что немцы делали: восстанавливали уже разбежавшиеся колхозы для лучшей эксплуатации крестьянства. Так наш народ попал между молотом и наковальней. И из двух лютых врагов пришлось выбирать того, который говорит на твоём языке. Так и произошло оседлание нашего национализма коммунизмом. На несколько лет коммунизм как забыл и оглох к своим лозунгам и теориям, как забыл марксизм, а всё твердил о „славной России” да ещё и восстанавливал Церковь. (Впрочем, лишь до конца войны.) Так в этой злополучной войне мы своею победой только укрепили на себе ярмо.

Но кроме того ещё было русское движение, искавшее третий путь: всё же использовать эту войну для освобождения от коммунизма. Они никак не были сторонниками Гитлера, лишь невольно оказались включёнными в систему его империи, внутренне они считали своим союзником только Запад (искренно считали, не лукаво, как коммунисты). Но для Запада всякий, кто хотел бы освободиться от коммунизма в ту войну, — был предатель дела Запада. Пропади хоть все народы Советского Союза и погибни в советских концлагерях сколько угодно миллионов, — лишь бы Западу благополучно и побыстрее выйти из этой войны. Так пожертвовали сотнями тысяч этих

русских, и казаков, и татар, и кавказцев: не разрешили даже сдаться в плен американцам, а выдали на расстрелы и расправу в СССР.

Но ещё поразительней, что английская и американская армии сдавали коммунистам на расправу — сотни тысяч мирных жителей, обозы стариков, женщин и детей, и просто бывших военнопленных и подневольных рабочих, — сдавали не только против их воли, но даже видя тут же их самоубийства. А английские отряды и сами застреливали, кололи, рубили этих людей, почему-то не желающих возвращаться на свою родину. Однако ещё поразительнее: из тех английских и американских офицеров не только никто никогда не был наказан и не получил упрёка, — но свободная, гордая, ничем не связанная английская и американская печать — почти 30 лет невинно единодушно промолчала об этом предательстве своих правительств, — 30 лет не находилось ни одного честного пера! Не этому ли удивиться больше всего? Бесперебойная гласность Запада вдруг в этом случае отказала. Почему?

Тогда казалось: выгоднее заплатить коммунистам каким-то миллионом-другим глупых людей и купить себе вечный мир.

Так же — и безнадобно! — пожертвовали Сталину всею Восточной Европой.

Теперь, через 35 лет, можно подвести итоги этой мудрости: западные страны держатся только на непредвиденной советско-китайской ссоре.

## 7

Свою эгоистическую и пагубную ошибку во Второй мировой войне Запад с тех пор повторял ещё не раз: всей силой желания и мольбы он только хотел бы не противопоставить себя коммунизму! Где можно и где нельзя — он не замечал ни массовых коммунистических убийств, ни коммунистической агрессии. Он быстро прощал и Восточный Берлин (1953), и Будапешт, и Прагу, и спешил поверить в миролюбие северокорейских правителей (они ещё себя покажут), и в благородство северовьетнамских, давал (и даёт) позорно дурачить себя хельсинкским согла-

шением (в уплату признав навсегда все захваты коммунизма в Европе), хватался за миф прогрессивной Кубы (даже Ангола, Абиссиния и Южный Йемен ещё не разубедили сенатора Мак-Гаверна), за спасительность еврокоммунизма, до одурения заседал и верил в издевательские венские переговоры о европейском разоружении и старался 2 года (с апреля 1978) не замечать захвата Афганистана. Историки и потомки будут изумлены, не найдут объяснения такой трусливой слепоте. Только леденящий камбоджийский геноцид распахнул перед Западом всю глубину той смертной пропасти, привычной для нас, где мы живём уже 60 лет, — но кажется, и тут западная совесть начала уже привыкать и отвлекаться.

А понять бы до конца всем розовым мечтателям, что природа коммунизма — едина во всём мире и во всех странах и всегда — антинациональна, всегда направлена на убийство того народного тела, в котором он развивается, а затем и на убийство соседних тел. Какие бы иллюзии „разрядки” ни строились, с коммунизмом никогда ни у кого не будет устойчивого мира: коммунизм будет только жадно распространяться. Какой бы спектакль „разрядки” ни разыгрывался, но идеологическую войну коммунизм ведёт с вами всегда и непрерывно, и вы никогда не называетесь у них иначе, как „врагами”. Коммунизм никогда не остановится в своём стремлении захватить мир: прямым ли завоеванием, подрывной ли террористической деятельностью или разложением структуры общества. Вон, ещё свободны Италия, Франция, — но уже дали проесть себя сильным коммунистическим партиям. Каждому отдельному человеку и целому обществу, особенно демократическому, свойственно питаться надеждами. Но в отношении коммунизма надеяться не на что: никакого сговора с коммунистической доктриной быть не может, возможны только: или полное торжество её во всём мире или полное её крушение повсюду. Единственное спасение и для России, и для Китая, и для всего мира, — чтоб от неё отказались. Иначе весь мир скоро будет подвергнут разорению и уничтожению. Коммунистическая оккупация Восточной Европы и Восточной Азии не прекратится никогда, но в любой момент возможна оккупация Западной Европы и других многих стран. Африканские и южноамер-

риканские возможности коммунизма тоже уже продемонстрированы наглядно, и едва только страна „плохо лежит” — тотчас её захватывают. Конечно, есть надежда и на другой исход: что коммунистические завоеватели в конце концов сорвутся, как и все завоеватели мировой истории. Им кажется, что пришёл час их мирового господства, они рвутся к победе, а на самом деле — к своей гибели. Но за эту их гибель в будущей войне человечеству придётся заплатить уже миллиардными жертвами.

Казалось бы, в предвидении этой смертельной угрозы, — как должны бы быть направлены усилия американской дипломатии? Единственно к тому, чтоб эти империалистические „всадники” не были так страшны и сильны, чтобы ни в одной стране они не могли снова оседлать национальных чувств и почерпнуть в них народную силу. Но не только не избирается этот путь — а прямо противоположный.

Американская дипломатия за последние 35 лет производит впечатление неумелой и жалкой. Недавно — бесспорно ведущая держава мира, победительница во Второй мировой войне, вождь Организации Объединённых Наций, — Соединённые Штаты быстро и систематически теряли и свою руководящую роль в ООН (испытыв там множество унижений), и своё решающее влияние на всех континентах (и часто унижительно), и теснились даже в глазах своих западноевропейских союзников, и всё время понижались в соотношении с СССР. (До того, что уже совершаются извинительные сенаторские визиты в Москву: объяснить там, чтоб не сердились на прения в Сенате.) Все усилия американской дипломатии были: всячески оттягивать конфликты, хотя бы ценой непрерывного упадка своих сил.

Никак не поняв урока Второй мировой войны, что только совершенно безвыходные, безжалостные обстоятельства могут привести к совместным действиям коммунизма и порабощённой им нации, — Соединённые Штаты держались по отношению к советскому и восточно-европейским правительствам как к лучшим выразителям национальных чаяний захваченных ими народов, почтительно общались с их фальшивыми представителями. То есть они заранее, на будущее, самым неблагоприятным для себя же образом, отказываются от союза с порабощёнными

народами и подгоняют их под прочный захват коммунизмом. Они оставляют и русский народ, и китайский народ в отчаянно-безвыходном одиночестве, в котором мы уже побывали в 1941.

В 50-е годы одному нерядовому деятелю из русской эмиграции военного времени на его проект организации русских антикоммунистических сил было отвечено видным чиновником американской администрации: „Нам не нужна никакая Россия, ни прошлая, ни будущая!” Чван-ный, глупый и самоубийственный для Америки ответ. Теперь дела в мире стали так, что без возрождения здоровой национальной России не существовать и Америке, — всё будет уничтожено в кровопролитном состязании. В том состязании будет гибелью Америки, если она будет соединять в своих представлениях и действиях — коммунистических агрессоров и страдательно завлечённые народы СССР, бороться не против коммунизма, а против „русских”, — то есть снова загонит их в ситуацию 1941 года, когда они так же будут порываться освободиться и не находить себе сочувствия.

Сегодня практика американской дипломатии всячески поддерживает эту искусственную губительную сдачу национального самосознания — его владетельному коммунизму. После 35 лет всех своих неудач американская дипломатия теперь взяла новую недалёковидную, неразумную — безумную — ставку: загородиться Китаем, то есть отдать, толкнуть и китайские национальные силы в полное распоряжение своего коммунизма, для чего не жалко показалось внести аванс Тайванем.

Этот поступок (это предательство) — и против китайского национального чувства и против русского национального чувства (Америка открыто поддерживает тоталитарных угнетателей — и готовит их против нас).

Уж не спрашиваю: где тут остатки демократической принципиальности? Где тут уважение к свободе народов? Но и стратегически — близорукий расчёт: может внезапно произойти и роковое примирение двух коммунизмов — и тогда оба вместе обернутся против Запада. А если и не помирятся, то Китай, вооружённый Америкой, справится и с Америкой.

Стратегическое непонимание, что угнетённые народы

— союзники Запада, приводит западные правительства к реальным непоправимым ошибкам. Все годы у них мог быть открытый мост к угнетённым народам — эфир, но его либо вовсе не использовали, либо бездарно. Америка легко могла осуществить телевизионные передачи со спутников, — и ещё легче отказалась от этого проекта после гневного протеста советского правительства (оно-то знает, чего боится!). Конечно, это средство требует понимания высоты запросов и мысли того страдающего народа, к которому обращаются. Конечно, не мерзость коммерческих передач была бы нужна — она только оскорбила бы сознание тех голодных народов, это было бы ещё хуже, чем ничего.

Недоброкачественная передача в Америку информации об СССР отзывается роковой разобщающей взаимностью: тем трудней становится и американцам увидеть себя с другой стороны. И, например, русский отдел „Голоса Америки” в большинстве своих передач делает как будто всё, что в его силах, чтоб не привлечь к Америке вдумчивого русского слушателя, но изумлённо оскорбить, ранить и оттолкнуть его от понимания Соединённых Штатов.

Оттого что Запад получает сведения об СССР в искажённой диспропорции, — он и не способен соразмерить и правильно составить со своей стороны радиопередачи на Советский Союз. Многолюдная и стоящая немалых денег русская секция „Голоса Америки” плохо служит американским интересам, а часто прямо вредит им. Кроме последних известий и самых актуальных политических комментариев, многие часы ежедневных передач наполнены пошлой дребеденью, которая вызывает только раздражение голодных угнетённых миллионов слушателей, лишённых прежде всего правды о собственной истории. Вместо того, чтоб доносить им (и многократно повторять по условиям трудного слушания) эту историю и те книги, за которые в СССР преследуют тюремными сроками, вместо того чтобы поддерживать их антикоммунистический дух, укрепляя реальных будущих союзников Америки, — часы радиовещания наполняют ничтожными рассказами о коллекционерах пивных бутылок, о прелестях путешеств-

вий на океанских лайнерах (со смакованием: как кормят, какое казино и дискотека), подробностями из жизни американских эстрадных певцов, много о спорте, о котором и без того не запрещается знать жителям СССР, и о джазе, который они беспрепятственно могут ловить со всех иностранных радиостанций. (Не более удачная находка и подробные рассказы евреев, приехавших в США, как они тут живут, устроились и довольны. Так как в СССР все знают, что право выехать есть только у евреев, — эти передачи не способствуют ничему иному, кроме выращивания антисемитизма.) Руководители „Голоса Америки” явно имеют всё время в виду — не сердить советское руководство. Поэтому, в детантском усердии, они убирают из передач то, что могло бы раздражить правящих коммунистов. Примеров этой политической угодливости „Голоса Америки” к ЦК КПСС — много, но приведу из собственного опыта, поскольку мне их легче документировать. Из моего заявления об аресте Гинзбурга 4 февраля 1977 — всего из трёх фраз, цензурой „Голоса Америки” было выброшено две:

„Эта расправа касается западных людей более, чем можно сразу представить. Это — существенное звено в неуклонной тотальной подготовке советского тыла: чтобы он не мешал тому наступлению внешнему, которое так успешно ведётся последние годы, а будет развёрнуто ещё шире: на силу, дух и само существование Запада.”

Моё послание к римским Сахаровским слушаниям того же года было полностью задержано из-за фраз:

„... пожелать, чтобы леденящие рассказы с вашей трибуны нашли бы путь сквозь глухоту благополучия, которое дожидается лишь звука смертной себе трубы, а меньших звуков не слышит. Пробились бы к близо-рукому сознанию, которое радо потешиться и отдохнуть в змеиных песнях еврокоммунизма.”

Политически целомудренный „Голос Америки” не мог допустить, чтоб это услышали люди Востока, да и люди Запада. Но ещё и гораздо хуже того: нередко „Голос Америки” и сам звучит в масть советским властям, а то и прямо по-коммунистически, вполне как радиостанция Москвы.

Недавно, во время болезни Тито, было передано: но есть и радостные новости из Югославии — в эти дни болезни вождя тысячи граждан охотно вступают в Союз коммунистов! Ну — буквально то ленинско-сталинское издевательство, которое каждый день гремит из репродукторов над головами советских слушателей. Такая передача может вызвать у них только сомнение в умственных способностях передающих. И даже в религиозные передачи почти не допускаются православные службы, в которых больше всего нуждаются наши слушатели, лишённые церковью, и даже на этом малом отрезке теснится (как и коммунистами в СССР) само православие — как „религия, не характерная для США”. Для Соединённых Штатов пусть не характерная, но она характерна для России! — а передача ведётся ведь на русском языке.

Если ещё к этому добавить, что вещания ведутся языком, который трудно назвать русским: с грубыми грамматическими ошибками, плохим синтаксисом, неверными ударениями, плохой фонетикой, то надо сказать: сделано достаточно много, чтоб отвратить русских слушателей от этой радиостанции.

Так бездарно используется самое могучее средство, которое есть в руках Соединённых Штатов для того, чтоб установить взаимопонимание и даже союз с угнетённым русским народом.

Впрочем, и другие западные радиостанции на русском языке имеют сходные пороки. Так же и Би-Би-Си свойственны предупредительность, чтобы не оскорбить коммунистические вкусы, и поверхностное представление о нынешнем русском народе, — оттого неспособность отобрать главное, нужное как хлеб, и многие драгоценные часы вещания забиваются чуждой нам и бесполезной чепухой.

## 8

Для многонациональной человеческой массы, заключённой сегодня границами Советского Союза, дилемма такова: или кроважно-империалистическое развитие коммунизма, с захватом множества стран в разных частях планеты, — или отказ от коммунистической идеологии и пе-



реход на путь умиротворяющий, выздоравливающий, родолюбивый, заботливый к своим народам.

Для меня, как для русского, мало утешения в надежде, что при первом пути советский коммунизм может быть всё-таки потерпит поражение и какая-то кучка нынешних заправил, кто не успеет сбежать, попадут на вторую Нюрнбергскую скамью. Нет утешения, потому что истинно расплатится за то — обманутый истерзанный народ.

Но как открыть второй путь? Из-под коммунистической диктатуры внутренними силами совершить это чрезвычайно трудно, особенно оттого, что весь остальной мир, в затемнении своего разума, недружелюбно относится к нашим попыткам освобождения из-под коммунизма: в лучшем случае — умыванием рук.

Осознав дилемму, я, в моих слабых силах, 7 лет назад надумал предпринять такое доступное мне действие: написал „Письмо вождям Советского Союза” с призывом к ним — очнуться от коммунистического бреда и позаботиться о своей разорённой стране. Конечно: попытка почти равная полной безнадёжности, но цель моя была по крайней мере: громко поставить этот вопрос, и может быть не нынешние вожди, но кто-либо из их преемников прислушается к моим предложениям. В этом „Письме” я попытался сформулировать тот минимум разумной национальной политики, который можно мыслить, не вырывая власти у современных коммунистических властителей как личностей (ибо утопично надеяться, что они отдадут свою личную власть). Я предложил им: отбросить коммунистическую идеологию, хотя бы пока только. (Но каково им отбрасывать такое оружие, если именно к коммунистическим идеям Запад наиболее податлив?..)

В области внешней там было следствие: „не замышлять о судьбах других полушарий”, „отказаться от невыполнимых и ненужных задач мирового господства, от Средиземного моря и помощи южно-американским революционерам”, оставить в покое Африку, убрать войска из Восточной Европы (то есть все эти марионеточные режимы оставить перед лицом своих народов без советских дивизий), не удерживать насильственно в пределах нашей страны какой-либо окраинной нации и освободить нашу молодёжь от обязательной всеобщей воинской повинно-

сти. „Потребности внутреннего развития несравненно важнее для нас, как народа, чем потребности внешнего расширения силы”, — писал я тогда.

Как восприняли эту программу вожди СССР — известно: ухом не повели. Но как восприняла западная и американская печать? Это меня изумило! Как: консерватизм — ретроградство — изоляционизм — и величайшую угрозу всему миру!!! Настолько, значит, угнетено западное сознание несколькими десятилетиями своих капитуляций, что когда Советский Союз, захватив пол-Европы, лезет в Азию и в Африку, — это вызывает у Запада большое уважение: надо не сердить их, надо найти общий язык с этими прогрессивными (спутали с „агрессивными”) силами. Когда же я предложил немедленно прекратить агрессию, и даже прекратить думать о ней, и освободить все желающие народы, и убраться к своим внутренним задачам, — это было понято и даже крикливо представлено как — реакционность и угрожающий всему миру изоляционизм.

Но надо хотя бы различать: изоляционизм всемирного защитника (Соединённых Штатов) или изоляционизм всемирного нападчика (Советского Союза). Первый — действительно смертельно опасен для всего мира и всеобщего мира, второй — спасителен. Если советские (а теперь и кубинские, и вьетнамские, а завтра китайские) войска перестанут захватывать весь мир и уберутся прочь: кому же это так опасно? Кто бы мне объяснил? — не понимаю посегодня.

Но я и не предлагал никакого принципиального (культурного или экономического) изоляционизма, — уединиться так, будто на планете никого кроме нас больше нет. Нашей нации — глубоко больному человеку после 60 лет коммунизма и потеряв 60 миллионов человек, это кроме войн, — я предложил то, что единственно можно предложить больному: перестать тратить драгоценные силы на драку и толкотню здоровых людей, но отдаться только своему выздоровлению, но экономить для него каждую крупницу национальных сил: „достало бы нам наших сил, ума и сердца на устройство нашего собственного дома, где уж нам заниматься всею планетой”, „физическое и духовное здоровье народа должно стать целью”. Я

призывал подняться из бытовой и моральной бездны, в которой живёт наш народ, и прежде всего спасти детей от оболванивания идеологией, женщин — от непосильного физического труда, мужчин — от пьянства, природу — от отравы, восстановить совершенно разрушенное семейное воспитание, поднять школу и спасти сам русский язык, губимый коммунистической системой. На всё это и нужно 150–200 лет внешнего покоя и терпеливого занятия внутренними проблемами. И кому же это в мире опасно?

Но письмо было — действительно реальным обращением к реальным вождям, держащим в своих руках безмерную власть, и нельзя было не считаться, что самое большее можно ждать от них только уступки, но не капитуляции: ни реальных свободных всеобщих выборов, ни полной, ни частичной смены руководства. Наибольшее, к чему я призывал, — отказаться только от коммунистической идеологии и её самых безжалостных последствий, дать хоть немного распрямиться национальному духу — ибо только национальные характеры во всей истории создавали общества. И со скалы ледящего тоталитаризма я мог предложить только медленный плавный спуск через авторитарную систему (неподготовленному народу с той скалы сразу прыгнуть в демократию — значит расшлёпаться насмерть в анархическое пятно). И вот этот „авторитаризм” тотчас так же был поставлен мне в вину западной прессой.

Но в „Письме вождям” я тут же оговаривал: „авторитарный строй, основанный на человеколюбии”, „авторитарность — с твёрдой реальной законностью, отражающей волю населения”, „устойчивый покойный строй, не переходящий в произвол и тиранию”, „отказ от негласных судов, от психиатрического насилия, от жестокого мешка лагерей”, „допустить все религии без притеснений”, „свободное книгопечатание, свободные литература и искусство”. Как временную меру по выходу из нашей тюрьмы — я думаю, никто не может предложить ничего более быстрого и спасительного.

Что же касается принципиального выбора или отвержения для России авторитарности в будущем, — я не высказывался по этому поводу, я не имею конечного мнения.

Моя критика некоторых сторон демократии известна. И я не считаю, что осуществлялась воля английского народа, когда Англию годами губило лейбористское правительство, избранное всего лишь 40 процентами избирателей. Или воля немецкого народа, когда левый блок имел в парламенте перевес на 1 место. Или воля всякого народа, когда половина его, разочаровавшись, не является к избирательным урнам. Я не могу отнести к достоинствам демократий их бессилие против малых террористических кучек или расцвета гангстеризма, или безудержной наживы капиталистов в ущерб морали народов. И я напомним, что страшный тоталитаризм, родившийся на земле, скажем, четырежды, ни один раз не родился из авторитарной системы, но всегда — из слабых демократий: Февральской, Веймарской, итальянской, чанкайшистской. А ведь большей частью государства человеческой истории были авторитарными, — а вот тоталитаризма никогда не рождали.

Я никогда не брался и не берусь разбирать этот вопрос теоретически, ибо я — не государствовед и не политик. Я — лишь художник, больно зацепляемый слишком кричащими событиями современности, её общим кризисом. Я думаю, этот вопрос и не может решиться никаким газетно-журнальным спором и никакой скороспелой, даже научной, рекомендацией. Решение может быть получено лишь органическим развитием векового народного опыта и безо всякого насилия со стороны.

Тут я ещё раз напомним о том большом уважении, которое проявляет мировая наука ко всяким особенностям культурного развития даже малых народов Африки или Азии, некоему „локальному комплексу”. И призыву: не отказать в таком „локальном комплексе” так же и русскому народу и не диктовать нам хотя бы так же, как не диктуют Африке. Русский народ живёт на земле уже 1100 лет — дольше многих из своих нетерпеливых учителей. И за эти 1100 лет в нём создались и накопились некие свои традиционные общественные понятия, которые не надо спешить осмеивать со стороны. Вот несколько примеров. Традиционное древнерусское понятие правды — как справедливости высшей, не юридической, а онтологической, от Бога. Общественным идеалом считалось (не

значит, что каждый так жил, но идеал был надо всеми): жить праведно, жить моральным уровнем выше, чем всякие возможные требования законов. И пословицы были такие:

Одно слово правды весь мир перетянет.

Не в силе Бог, а в правде.

Коли бы все жили по правде — и законов не надо.

Или ещё: по исконным русским представлениям истина не может быть найдена голосованием, большинство не обязательно лучше видит её. (А по особенностям массовой психологии, скажем — часто и хуже.) И когда для важных решений собирались представители земли („Земские Соборы”), на них не бывало голосований: истина искалась путём долгих взаимных убеждений — и определялась конечным общим согласием. И такое решение Собора юридически не было обязательно для царя, — но морально неизбежно. Судя с таких представлений, создание *партий*, то есть частей, борющихся за свои частные *интересы* за счёт других частей народа, представляется нелепостью. (Да и не соответствует достоинству человечества, каким ему пора бы стать.)

Не случайно могучая власть, перед которой сегодня трепещет вся свободная планета (и западные свободные вожди, парламентарии и публицисты), за 60 лет ничего так концентрированно, яростно не выжигала в подвластной стране, как её мировоззрение — христианство. И — не смогла уничтожить!

А новейшие информаторы Запада спешат уверить, что это нескудеющее христианство и есть величайшая опасность.

## 9

Всякое публицистическое выступление неизбежно влечёт за собой много откликов — большей частью рассудительных, добросовестных, но зато искажительные всегда крикливы, лезут в истерические заголовки, стараются запасть в людскую память, даже берут и верх. По роду своей жизни, работы и принципам поведения, я обычно никак не откликаюсь на весь этот ворох. Но коль скоро сейчас

я уже высказываюсь по существенным вопросам, решусь очень коротко отозваться на некоторые искажения.

По поводу „Письма вождям” и дальше по другим поводам меня часто упрекали, что я — сторонник теократического государства, прямого управления государством религиозными лидерами. Это — ложь, ничего подобного никогда мною не сказано, не написано. Практическая государственная деятельность никак не из области религии. Но я считаю, что в государстве религия должна быть не только не гонима, а занимать достойное духовновлиятельное место — как например, в Польше, в Израиле, и никто этого не осуждает, — не понимаю, почему же это запрещается России, которая за 1000 лет вынесла свою веру и за 60 лет выстрадала её смертями миллионов мирян и десятков тысяч священников?

Тогда же обвиняли меня, что я предлагаю какой-то общий „путь назад” — надо совсем считать человека идиотом, чтобы приписывать ему движение против хода времени. Будто бы я предлагаю будущей России „отказаться от современной технологии” — ещё одна лжишка: я предлагал технологию „современную, но дробную, а не гигантскую”.

Какой путь я действительно предлагаю — я закончил этим гарвардскую речь и могу повторить: *путь вверх*. Я считаю, что роскошно-материальный XX век слишком передержал нас в полуживотном состоянии — кого от избытка, кого от голода.

Гарвардская речь вознаградила меня потоком сочувственных откликов простых американцев (кое-кому из них удалось напечататься и в газетах), поэтому я спокойно относился к потоку упрёков, который сыпала на меня рассерженная пресса (я ждал от неё большей восприимчивости к критике): фанатик; одержимый; расколотый разум; циник; мстительный поджигатель войны; наконец и просто: „убирайся вон из страны!” (изящное применение принципа свободы слова, чем это отличается от Советов?). Возмущались, как я смею употреблять „наша страна” по отношению к той, которая меня изгнала, — да дело в том, что не родина меня изгнала, а коммунистическое правительство. Р. Пайпс написал: „Свобода слова, которая так неприятна Солженицыну”. Я думаю, он достаточно грамо-

тен по-английски, чтобы прочесть, как было сказано: не свобода слова, а только безответственное аморальное злоупотребление ею.

А самое распространённое обвинение было: будто я „призываю Запад идти освобождать” наш народ от коммунистов. Это — совершенное нежелание читать и понимать текст добросовестно. Не только в гарвардской речи, но и никогда прежде я не призывал ни к чему подобному и даже за все годы моей публичной деятельности не обратился за помощью ни к одному западному правительству, ни к одному западному парламенту. Я всегда говорил: мы освободимся — сами, это — *наша* задача, как бы она ни была трудна, а к Западу только одна просьба и один совет. Просьба: пожалуйста, не заталкивайте нас под диктатуру, не предавайте нас миллионами, как поступили в 1945, и не укрепляйте наших угнетателей вашими техническими средствами. И совет: в вашем безграничном отступлении — поберегите сами себя, не отступайте в ту последнюю яму, из которой вам уже нельзя будет выбраться.

Ещё притворилась часть прессы после Гарварда: как это я защищаю „право не знать” (обычно обрывали цитату: „не забивать своей божественной души сплетнями, суетой, праздною чепухой”)? В обрыве — уже и ответ. Упрекают: и это Солженицын, который в СССР добивался права *знать*. Да, я добивался права всему миру знать: об Архипелаге ГУЛАГе, о народном сопротивлении, о миллионах умерших, о голоде 1933 года и предательстве 1945. Но нас, проживших суровые годы, оскорбляет получать от прессы подробности, что у бывшего британского премьера оперировано не что-нибудь, а именно яичко, и какое одеяло у Жаклин Кеннеди, и какой напиток предпочитает певица дешёвых песен.

А серьёзное непонимание вышло в том месте, где я сказал, что смертно давящая жизнь Востока выработала характеры более глубокие, чем регламентированная жизнь Запада. Некоторые недоумели: так что это значит: коммунизм — хорош? духовное превосходство советской системы? О нет, конечно! А только древняя истина: что силу человеческому характеру придают страдания и испытания. О, конечно, множество людей у нас там, в вечной гонке нищеты и под гнётом, — растоптано, принижено, искаже-

но или отвращено от человеческого облика. Но открытое давление Зла не так коварно растлеивает людей, как его привлекательное вползание: под прямым гнѐтом рождается и противоположный процесс — душевного подъѐма и даже взлѐта. На наших лицах почти нет церемонийных улыбок, но у нас больше друг другу поддержки — неюридической, когда жертва не списывается с налогов, такой системы и не существует. Наша атмосфера там — риск не ради себя, и мне лично приходилось наблюдать такое же преображение и некоторых западных людей, когда они долго действовали в советских условиях. Один американский читатель опубликовал, что предлагал своим дочерям по 100 долларов за прочтение 2-го тома „Архипелага” — и дочери отказались. А у нас его читают под страхом сесть в тюрьму. Да сравните двух юношей: трусливый террорист в Западной Европе, выходящий с бомбой против мирных людей и демократического правительства, — или инакомыслящий в Восточной Европе, выходящий с голлой грудью против Дракона? Молодые американцы, не охотные к воинской повинности, или молодые советские солдаты, отказавшиеся стрелять в повстанцев (Берлина, Будапешта, Афганистана) — и тут же за это расстрелянные (и знали, что будут расстреляны!).

Я не вижу никакого спасения человечеству, кроме самоограничения каждого человека и каждого народа. И в этом — дух идущего сейчас в России религиозного национального возрождения. И я изложил это в качестве своей основной программы в статье „Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни”, 5 лет назад изданной в Америке. Эту статью мои оппоненты почему-то избегают и вспоминать и цитировать.

Недавно „Нью Йорк Ревью оф букс” дала крупный зловеший заголовок „Опасность национализма Солженицына”. Но ни у неё, ни у её информаторов не достало ума указать в самой статье, обнимаемой заголовком: в чём же эта опасность? Что ж, я возьмусь помочь им цитатами из напечатанного мной.

Из „Письма вождям”:

„Я желаю добра всем народам, и чем ближе к нам живут, чем в большей зависимости от нас, — тем более горячо.”



„Щемящее сочувствие вызывают и рядовые китайцы, — потому что они будут самыми беспомощными жертвами той войны.”

Из „Раскаяния и самоограничения”:

„Нам придётся решиться в себе найти на признание грехов *внешних*, перед другими народами.”

„По отношению ко всем окраинным и заокраинным народам, насильственно втянутым в нашу орбиту, только тогда чисто окажется наше раскаяние, если мы дадим им подлинную волю самим решать свою судьбу.”

„Как нельзя построить хорошего общества при дурных отношениях между людьми, так и хорошего человечества не будет при дурных, затаённо-мстительных отношениях наций... Между государствами принять индивидуальную мораль: не делай другому, чего не хотел бы себе.”

Вот в чём опасность „национализма Солженицына”. Вот в чём мировая угроза русского религиозно-национального возрождения.

## 10

Но и после Афганистана, как и после Чехословакии, Анголы или любого следующего советского захвата, — ах, как хочется всё-таки верить в разрядку! Да неужели же она кончена?.. „Да ведь советские руководители не отказались от неё! — об этом ясно заявил Брежнев, об этом писала „Правда”!” (Маршалл Шульман, никогда не теряющий оптимизма о коммунистическом руководстве, и другие эксперты в том же духе).

О, конечно же, советские руководители готовы продолжать детант, отчего же? Тот самый детант, в котором благодушествовал Запад, пока Камбоджу вымаривали миллионами в джунглях. Тот самый детант, которому радовался Запад, когда в афганской деревне (да не одной же такой!) расстреливали тысячу мужчин от 12-летних мальчиков, — и мы, русские, сразу узнаём этот случай — это по-советски! так убивали и нас с 1918 года! Советскому коммунизму ещё очень пригодится детант: додушить последнее инакомыслие в стране и докупить недостающее электронное оборудование.

Запад просто не хочет поверить, что пришло время жертв, Запад просто не готов к жертвам. Даже пожертвовать выгодами торговли не способны торгующие до самого пушечного залпа: разум отказывает им понять, что их бабыши не достанутся их детям, что сегодняшние мнимые выгоды скоро отзовутся полным разорением. Между западными союзниками идёт лавирование, как бы каждому жертвовать меньше другого. Всё это — от жира благополучия, провозглашённого целью жизни и заменившего высокий дух и высокое мировоззрение, растерянное Западом.

Коммунизма нельзя остановить никакими уловками детанта, никакими переговорами — его может остановить только внешняя сила или развал изнутри. Гладкое лёгкое многолетнее шествие западного отступления должно было кончиться когда-то — и вот оно кончается: пусть не последний рубеж, но уже предпоследний. Не защитив дальних границ, придётся защищать ближние. Уже сегодня весь Запад под опасностью большей, чем нависала в 1939 году.

Сегодня было бы непоправимо для всего мира, если бы Америка считала пекинское руководство своим союзником, а русский народ своим врагом вместе с коммунизмом: она затолкала бы в эту пасть оба великих народа, но и туда же бы упала сама. Она отняла бы у обоих великих народов последнюю надежду на освобождение. Неутомимые обвинители России и русского забывают сверить стрелки часов: все ошибки Америки в понимании России могли быть академичными, но лишь до сегодняшнего динамического момента.

Накануне планетарной битвы между мировым коммунизмом и мировой человечностью хотя бы ясно видел Запад, где враги человечности и где друзья её, — и не искал бы союза врагов, но искал бы союза друзей. Так много уже уступлено, отдано и расторговано, что сегодня Запад уже не может устоять даже при единении всех западных государств, — а лишь в союзе с поработёнными народами коммунистических стран.

Февраль 1980

Вермонт

## ИМЕТЬ МУЖЕСТВО ВИДЕТЬ

Полемика в журнале „Форин Афферс”

Уровень политической полемики заставляет выслушивать весьма плоские, а притом дружные обвинения, — например, что я идеализирую прошлое России, не знаю истории собственной страны, а уж тем более не понимаю Америку и всё современное человечество, ибо мало разговариваю на бензоколонках. Я предупреждал против злостных искажений русской истории, — мне приписали это как исчерпывающую систему взглядов. Историей русской революции я занимаюсь более 40 лет, сейчас оканчиваю 8-томное повествование, которое начнёт выходить по-русски через 2 года, по-английски может быть через 5. В объёмном художественном анализе открываются куда более коренные пороки и ошибки многовекового русского развития, чем могут мне представить мои горячие оппоненты по газетной поверхности или привременной страсти. Конечно, художнику не место в политической полемике, она огрубляет аргументы, — но больно слышать легковесные безответственные суждения, произносимые с научным видом, а между тем поражаться беззащитности и ненаходчивости современного Запада перед мировой ситуацией — прежде всего в составе идей и уровне их исполнителей. При таком течении трудно найти покой отложить высказывание ещё на 5 лет.

### 1

Жизнеспособность всякой системы хорошо характеризуется её приемчивостью к критике. Я всегда был уверен, что американская система жаждет критики и даже любит её. Уверенность поколебалась после моей гарвардской речи, когда в потоках гнева прессы отчётливо прозвучало: „не рассуждай, замолчи и даже убирайся прочь!” Никак

не ожидал встретить такую тональность и на страницах „Форин Афферс” (г. Тривс). Я не „читаю нотации”, я передаю коммунистический опыт. Мне-то лично проще всего замолчать и предоставить заботу о будущем Америки исключительно единомышленникам мистера Тривса. Когда они испытают всё на себе, — у нас будет полное понимание. Но боязнь критики и свежих мыслей — роковая черта обречённых систем.

Статья Тёрстона — как будто специально написана показательной иллюстрацией к моей статье: как легко западного человека дурачить в СССР. Юмористично звучит его ссылка на „личный 10-месячный опыт” наблюдаемого иностранца в советской столице, в отработанных условиях советской „показухи”, — опыт, который он отважно противопоставляет полувековому коренному опыту жителя в запретных глубинах страны. Вот и результат: его открытие о „советском патриотизме” и „гордости материальным прогрессом” (металлургии? военной промышленно-сти?), когда нечего есть, — оскорбительно звучит цитатой из „Правды” или „Жэньминь жибао”. Спор о локальных и искажаемых Тёрстоном юридических деталях прежних русских десятилетий никак не вмещается на страницы „Форин Афферс” и в эту дискуссию. Но поразишься, с какой опрометчивостью он заключает о „социалистических симпатиях” России на основе „выборов” в Учредительное Собрание — уже после большевистского переворота, когда не социалистические партии реально были жёстко ограничены. Он механически переносит американское понятие „выборы” в крестьянскую Россию 1917 года, не понимавшую даже этого процесса „выборы”, не готовую ни к какому сознательному голосованию. (В 1945 американцы спрашивали советских: „так если вы недовольны Сталиным, отчего вы его не переизберёте?”)

Более неловко чувствуешь себя, когда такой советолог, как профессор Далин, внушает нам, что живое полувековое наблюдение за скрытыми глубинами советских пространств не столь важно, как вникнуть в мотивы тех, кто направляет советскую политику, — а для этого, очевидно, нужны только встречи с ними в Москве и анализ „Правды”. Но сам же Далин в другом месте соглашается, что деятели СССР скрывают свои мотивы. Результаты та-

ких бесед мы и видим на сплошных многолетних промахах Запада. Видел ли профессор Далин своими глазами предмет своего изучения — пространства этой порабощённой страны и жителей провинции и деревни? По каким данным он так уверенно судит о неоскудении русской деревни и подъёме уровня советской жизни? Его суждения о Луне были бы точней, ибо доклады астронавтов надёжней. О советской провинции, где не хватает картофеля до весны, а других продуктов вообще не знают (и это, мистер Далин, никак не „гипербола”, вам только трудно это вообразить), наш оппонент серьёзно пишет, что там распространены гордость за успехи космонавтов и шахматистов. Или вознаграждает нас расцветом „безопасной” для правительства культуры, — какой именно? Гуманитарная пропитана ложью, „точная” поставлена на службу войне, — что ж остаётся от „культуры”? (А в провинции и такой нет.)

Законно желание г. Далина узнать, откуда взялись при утаённой советской статистике цифры погибших в СССР. Но цифры профессора статистики Ивана Курганова были опубликованы в Соединённых Штатах 16 лет назад („Новое Русское Слово”, 12.4.1964) на языке, доступном профессору Далину, — и странно, что он их не заметил. О новых подсчётах наших потерь Иосифом Дядькиным, сейчас арестованным, можно прочесть в „Уолл Стрит Джорнал”, 23.7.1980. Порядок этих цифр — десятки миллионов — совпадает у обоих авторов. Конечно, ещё много времени пройдёт, пока мы получим уточнённые данные; советская пасть не выдаёт тайн, даже и в доверительных беседах функционеров.

Далее нам предлагают (г. Лёбль) не вдаваться в историю возникновения коммунизма в СССР, а судить лишь о сегодняшней угрозе. Но во *всех* областях знаний установлено, что всякое явление можно понять только зная историю его развития. От того, считать ли сегодня коммунизм (в том числе кубинский, вьетнамский, китайский) явлением исключительно русского происхождения или интернациональным и даже метафизическим, — определяются совершенно разные ответы на него: губительная ли капитуляция, идущая со времён Ф. Рузвельта, или попытка твёрдого стояния. Утверждение мистера Лёбля, что коммунизм так же национален по природе, как и нацио-

нал-социализм, совсем не убедительно: тот никогда и не проявлял себя интернациональным, а только национальным, ввёл понятие „высшей нации“; и не выжигал и не вырезал прежде всего жизнь „своей“ нации, как это делает в каждой стране каждый коммунизм с первого шага. И именно поэтому (как никогда не делает хитрый коммунизм) нацизм открыто заявлял, что идёт обратить народы СССР в своих рабов, — и на этом, как правильно пишет Лёбль, потерпел поражение. Однако Лёбль приписывает моей статье свою тенденциозную трактовку, что только украинцы и прибалты готовы были поддержать Гитлера, — я же свидетельствую, что и все захваченные русские области ожидали от этой войны себе освобождения, и Красная армия потому бежала с такой лёгкостью. Но Гитлер объявил войну именно русскому народу, не оставляя ему выхода. И именно этот совет повторно предлагают сегодняшнему Западу те, кто считает нависшую над миром опасность не коммунистической, а русской. И этот совет будет иметь тот же уничтожительный результат.

В тоталитарных государствах самой разрушительной деятельностью считается и более всего преследуется — восстановление исторической правды. Но и в условиях Запада этой цели достичь нельзя, если разрешать себе высказывания недобросовестные и даже неграмотные. Тот же Лёбль: „в конце прошлого века русское правительство было союзником всех деспотических правительств“. Интересно — каких именно? Справка: в конце прошлого века (с 1892) Россия имела единственного союзника — республиканскую Францию, с 1907 — Англию. „Царские мечты о мировом господстве захватили души русского народа.“ В XIX веке единственный „царь“, который мечтал о мировом господстве, был Наполеон. Более нигде такой феномен не наблюдался, кроме необъятной Британской империи на 5 материках. Где в русской литературе, искусстве и народном фольклоре Лёбль может указать жажду мирового господства? Каким другим способом он подслушал это из „душ русского народа“? „Русская культура на первом месте повсюду в Советском Союзе.“ Мистеру Лёблю простительно не знать, что такое русская культура, но не следует судить по газетной наслышке. Я свидетельствую, что русская культура разгромлена и уничтожена с нена-

вистью в первое же советское десятилетие. Сегодня под псевдонимом „русской культуры” выступает антинациональная и атеистическая *советская культура* — притом на испорченном изгаженном русском языке. Интересы коммунистической Москвы — „в первую очередь русские интересы”, — пишет Лёбль в споре против моей статьи, даже видимо не прочтя целых разделов её. Я именно указываю, что никакая нация под советским господством не разорена в такой степени, как русская.

Впрочем, подобные безответственности мы обнаруживаем и у более видных американских лиц. Руководитель русского цикла Принстонского университета профессор Стефан Кохен пишет („Нью Рипаблик”, 29. 12. 1979): „за период 1-й и 2-й пятилетки (то есть 1928–1937) в основном отсталое общество было преобразовано в преимущественно промышленное, получившее доступ ко многим благам современного государства всеобщего благополучия”! Фантастическое высказывание! Будь оно известно у меня на родине, его восприняли бы как глумление: это всё сказано о десятилетии всеобщего разорения, голода, хлебных карточек в мирное время, 6 миллионов голодных смертей на одной Украине, 15 миллионов уничтоженных крепких крестьян, конца сельскохозяйственного изобилия, конца промышленности изделий массового потребления, отсутствия по всей стране одежды, обуви, тканей, домашних предметов, — с заменой на тяжёлую индустрию и показные для иностранцев магазины в Москве. В эти годы пещерного оскудения и озверения, которые Кохен сравнивает со всеобщим благополучием, — населению моей страны казался утерянным чудом последний предвоенный 1913 год. И к изобилию того „царского” года наша страна и издали не приближалась за минувшие 70 лет.

Если такой промах может допустить руководитель всего русского обучения ведущего университета, — удивляться ли, что один из кандидатов в президенты США, Э. Кеннеди, недавно выразился, что стеснения в мясе несколько не страшны советскому руководству: оно „просто” будет кормить население курами. Человек, который претендует направлять мировую политику и экономику, не знает такого простого, что в СССР куриное мясо — на

вес золота, что его нигде нет, невозможно достать даже для диетического больного.

Это парение в сфере иллюзий, этот как будто нарочитый самообман — характерная черта западной прессы и многих западных политических деятелей: верить только в желаемое и словесно заклинать, чтобы осуществлялось именно оно. Так „Нью-Йорк Таймс” в июне 1945 собственным авторитетом подтверждала — для какой же цели? — что катынские убийства совершены не коммунистами, а гитлеровцами. Это с тех пор едва не всеобщее желание иметь дело с иллюзиями, а не с фактами, и доверчивое приятие недобросовестных сплетен о русской и советской истории — закрывают глаза Западу в нынешний грозный момент, закрывают возможность понять истинное положение и найти пути спасения. Запад как будто *не хочет* знать истины до того момента, когда знать её будет уже поздно.

## 2

Статья профессора Таккера явно выражает не только его личные взгляды, но устойчивые взгляды целой среды, весьма влиятельной, даже определяющей для направления американской политики: приходят ли к власти демократы или республиканцы, тот или иной президент, — все ведущие эксперты и советчики набираются из этой среды. (И характерно, что проф. Далин присоединяется к существенным опорным пунктам статьи проф. Таккера.)

Центральная точка здесь — непонимание природы коммунизма: как концентрации непримиримого и динамического Зла (ведь слово „зло” теперь считается ненаучным, и даже неприличным, ни „зла”, ни „добра” нет, а есть только плюрализм равноценных мнений); как явления интернационального и всеисторического (лишь крайний полюс социализма), а вовсе не локально русского. От этого — непонимание всего нынешнего советского феномена.

Кто вчитается внимательно в статью Таккера, — увидит, что Таккер испытывает сочувствие к „чистому” коммунизму, к ранним ленинским годам его и, конечно, никакого осуждения марксистскому учению. Ему, быть может, неловко выразить это сегодня прямыми словами, но это —



во всей композиции его мышления. Для того и понадобилось ему передвинуть всё зло коммунизма на сталинские годы и от них потянуть хобот в поисках происхождения в русский XVI и XV век. За ленинскими годами Таккер отрицает даже насильственную систему ГУЛАГа, отрицает принудительность труда в ленинских концлагерях, и даже оправдывает их тем, что в них заключались будто бы лишь „противники большевистской власти”, — а не просто подряд все яркие личности и кто не нравился большевикам по происхождению и личному поведению. (Это всё достаточно изложено в „Архипелаге ГУЛАГе”, и я предлагаю профессору Таккеру решиться на то, на что не решилась советская власть: прямо опровергать „Архипелаг” по пунктам.)

Пора же, наконец, называть вещи своими именами: что октябрьский переворот Ленина и Троцкого против слабой русской демократии был бандитским. Что он был произведен с большой финансовой помощью вильгельмовской Германии. Что коммунизм первых лет был такой же грязной, коварной, жестокой, бесчеловечной системой, как потом и сталинский. Что заслуга изобретения многомиллионного насильственного ГУЛАГа принадлежала Троцкому (принудительные „трудармии”), и ему же — бессмертное изобретение первых „газовых камер” (баржи, потопляемые в море с сотнями людей), и ему же — массовые расстрелы собственных военнообязанных, не идущих воевать за большевиков. И народный геноцид на Дону — расстрел более 1 миллиона 200 тысяч гражданского казачьего населения, принадлежит тем же двум бессмертным авторам. Весь замысел: пропагандно наделить крестьян землёй и тут же отобрать её вместе с урожаем — Ленин. Объявить войну зажиточному крестьянству (ниже уровня среднего американского фермера), и с тысячными расстрелами крестьян, — Ленин. Согнать крестьян в управляемые коммуны и артели — Ленин. Подавить всякую печать, кроме коммунистической, — Ленин. Разгромить независимое рабочее движение („съезды заводских уполномоченных”) и профсоюзы — Ленин и Троцкий. Неумеренно эвфемистично называет Таккер такой строй „авторитарным”, — а слово „тоталитарный” он не может выговорить в отношении к нему.

Читая полную переписку Маркса и Энгельса, опубликованную по-русски (такая возможность у проф. Таккера есть), — можно было бы изумиться крайней беспринципности и бессовестности этих заговорщиков и их яростной „ортодоксальности” („русская черта” по Таккеру), если бы не иметь перед глазами более поздних множественных примеров. В их взглядах мы уже узнаём и лютый атеизм как главный стержень мировоззрения, и лютую нетерпимость и злобу ко всем остальным партийным направлениям и даже к некоторым славянским народам, взятым в целости. А вот из их известных высказываний:

„Существует лишь одно средство сократить, упростить и сконцентрировать кроважадную агонию старого общества и кровавые муки родов нового общества, только одно средство — революционный терроризм.”

(К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения /на рус. яз./, 2-е издание, т. 5, стр. 494.)

„Мы беспощадны и не просим никакой пощады у вас. Когда придёт наш черёд, мы не будем прикрывать терроризм лицемерными фразами.” (Там же, т. 6, стр. 548.)

„Народная месть прорвётся с такой яростью, о которой и 1793 год не может нам дать никакого представления.” (Там же, т. 2, стр. 515.)

„Противодействовать попыткам буржуазии внести успокоение, вынуждать демократов привести в исполнение их теперешние террористические фразы... Не только не выступать против так называемых эксцессов, против случаев народной мести к ненавистным лицам или официальным зданиям... но и взять на себя руководство ими.” (Там же, т. 7, стр. 263.)

„Насилие (то есть государственная власть) — это тоже экономическая сила.” (Там же, т. 37, стр. 420.)

„Политическая свобода — ... хуже, чем самое худшее рабство.” (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, М, 1929–1935, Госиздат, т. 2, стр. 394.)

„Смотря в будущее, я вижу нечто такое, что будет сильно отдавать изменой отечеству; вот это для нас фатально.” (Там же, т. 22, стр. 138.)

„В одно прекрасное утро наша партия благодаря беспомощности и вялости всех остальных партий вынуждена будет стать у власти... Мы будем вынуждены проводить

коммунистические опыты и делать скачки, о которых мы сами отлично знаем, что они несвоевременны... Прежде, чем мир будет способен дать историческую оценку подобным событиям, нас станут считать... чудовищами, на что нам, конечно, наплевать." (Там же, т. 25, стр. 187.)

Маркс и Энгельс не раз повторяли, что „став у кор-  
мила власти, мы вынуждены будем разыграть 1793 год."

И Ленин никогда не скрывал своих исторических исто-  
ков и не приписывал им происхождения из русских тра-  
диций. Он и постоянно цитировал и клялся именами, и применял на деле Маркса и Энгельса (что, однако, не де-  
лает коммунизм немецким явлением). И, следуя им, от-  
крыто и многократно восхищался якобинским террором  
— и массовыми казнями и массовым потоплением обре-  
ченных. Он говорил: „террор обновляет страну" и не  
скрывал, что следует Бабёфу: побеждённые классы пол-  
ностью уничтожить. (Но это не делает коммунизма и фран-  
цузским.) Именно во Французскую революцию возникла  
расправа по классовой принадлежности. И названия и фор-  
ма „революционных трибуналов" и даже „чрезвычайных  
комиссий" (по-советски ЧК) заимствованы от якобинцев  
(не от Ивана IV из XVI века). Сходство теории и тактики  
большевиков и якобинцев имеет школьную наглядность  
для всякого, кто только пожелает перечитать те историче-  
ские материалы. (До всех подробностей: запрещение сво-  
бодной печати; уничтожение фракций; „диктатура как  
лучшая форма свободы"; монолитное единство всего насе-  
ления; слияние государственного аппарата с партийным, а  
партийный подчиняется диктатуре одного лица; и даже —  
продовольственные отряды, грабящие крестьян, разруше-  
ние церквей, переливка колоколов, отнятие церковных  
ценностей.)

Странно, что проф. Таккер как будто никогда ничего  
об этом не слышал и не задумывался над этой прямой об-  
нажённой преемственностью. В изложении, претендующем  
быть научным, он применяет совершенно несерьёзный до-  
вод в доказательство „исконно-русского" происхождения  
большевизма: так полагал Бердяев!..

Уже, кажется, давно ни в какой науке не считается  
аргументом ссылка на авторитет. Осмелимся возразить,  
что философия Бердяева вообще есть весьма капризное

творчество. В течении своей жизни он по меньшей мере два, а в чём и три раза менял свой образ мыслей почти на 180 градусов\*, выступая против своих прежних взглядов как против чужих. Его книга о коммунизме в России не есть объективное историческое исследование, не анализ исторических фактов, а претворение его индивидуальных философских переменчивых установок, законченных тем, что он вывесил на своём доме советский красный флаг. Многие общемировые процессы (как подмена религиозного творчества социальным) он искусственно приписывает одной России. Не останавливается перед тем, чтобы человеконенавистнический марксизм назвать „этическим учением“, о Марксе и Ленине заявить, что они „хотели добра“, — это звучит кощунственно над трупами замученных миллионов и перед рылом сегодняшнего мирового завоевателя. Бердяев признаёт, что в русской истории были „перерывы органического развития“, — и тут же, сам себе противореча, всё строит на „органической традиции“, по удобству — то от Московской Руси, то от исключаящей её Петербургской.

Однако Бердяев писал в 1937 году, когда ещё не выступил весь исторический объём явления. Но как можно в 1980, при 25 коммунистических странах на 4 континентах и во всех расах, — продолжать считать, что коммунизм (и его Интернационал Террора, разветвлённый ещё в 20 странах) — определился русскими чертами?

Идея Таккера, что сталинский период коммунистического Левиафана создан заимствованием из XVI и XVIII веков русской истории, не только ненаучна, но производит впечатление импрессионистической фантазии. Неужели это научный аргумент: что Сталин, для того чтобы рубить головы своим врагам и наводить ужас на население, нуждался в примере Ивана Грозного? А без Грозного — он бы не догадался? Мировая история даёт мало примеров тираний? Глубокие познания, что тиран должен держать народ в страхе, Сталин мог почерпнуть из первого школьного учебника по всеобщей истории, а может быть — из исто-

---

\* См. например — Н. Полторацкий, „Бердяев и Россия“, Нью Йорк, 1967

рии грузинского феодализма, а ещё раньше — из собственного лукавого и злобного нутра: что-что, а именно это он от рождения понимал, ему ничего не надо было читать. Или, пишет Таккер: ГУЛАГ происходит от насильственного труда при Петре I, — оказывается, насильственный труд изобретен в России! А почему не от египетских фараонов? А ближе по векам: демократические Англия, Франция и Голландия применяли насильственный труд в своих колониях, а США — даже на собственной территории, и все — позже Петра. А уж гребцы на галерах — хрестоматийны. (К чему приводит Таккер отрывок из Кеннана-старшего — совершенно не ясно, разве: доказать, что в дореволюционной России и каторга была так же открыта иностранным наблюдателям, как и суд? Можно не полениться найти у французских романистов ещё более яркое описание каледонской каторги, — и что это доказывает относительно 5-й республики? Когда в Англии впервые вышел (1881) перевод „Записок из Мёртвого дома” Достоевского, один из ведущих журналов отмечал отсутствие строгости, которая „привела бы в ужас английского тюремщика”.\*) Исконной русской чертой объявляются и захваты территорий, — хотя Англия имела захватов побольше, и Франция немало, значит ли это, что английский и французский народы хищны по своей природе? И уж тем более колхозы — всемирная социалистическая идея коммуны — объясняется как проявление русского крепостного права.

Неужели это научный метод: объявить перенос приёмов управления и учреждений через 4 столетия — при отсутствии каких-либо конкретных носителей, передатчиков, партий, сословий, лиц, вперепрыг через тотальное уничтожение всех общественных институтов в 1917, — какой-то мистический перенос, очевидно через кровавые гены? (Или, как изящнее выражается проф. Далин, — „что-то в русской почве, созданное наследственностью или средой”.) И тут же рядом „не заметить” прямое наследование всего через 5-10 лет всех нужных традиций и готовых

---

\* The Athenaeum, № 2788, April 2, 1881, p. 455. Более тяжёлые условия английских заключённых по сравнению с заключёнными русскими отмечали и другие журналы.

учреждений! — от Ленина и Троцкого: того же самого ЧК-ГПУ-НКВД, тех же самых „троек” вместо суда (при чём тут Александр III?), того же самого (уже в наличии) ГУ-ЛАГа, той же самой 58-й статьи, того же самого массового террора, той же самой партии, той же самой идеологии — в пределах того же поколения и через живых носителей, успевших убивать там и здесь, и тот же самый принцип сверхиндустриализации (подавить потребности народа и съесть его тяжёлой промышленностью), выдвинутый Троцким? (Нет никакой „двусмысленности” в наследии Ленина и Троцкого, которую ищет Далин.)

Я отказываюсь приписать профессору Таккеру такую невероятную слепоту! Я вынужден увидеть в этом сознательную попытку обелить ранний коммунистический режим, будто все его дьявольские преступления и учреждения вообще не существовали, а созданы позже Сталиным, который будто бы „разрушал” большевизм, — и почерпнуты якобы из русской традиции. Какую такую „революцию сверху” (избитый марксистский термин у Таккера) совершил Сталин? Он честно и последовательно углублял и укреплял доставшееся ему ленинское наследство в его же формах. Но даже если бы Таккеру (и многим его единомышленникам) удалось бы доказать невозможное: что ЧК, ревтрибуналы, институт заложников, ограбление народа, тотальное насильственное единство мнений, партийная идеология и диктатура взяты не у своих коммунистов и не у якобинцев, но у Ивана IV и Петра I, — то и тут бы Таккер просёкся с „русской традицией”. Дело в том, что для национальных мыслителей России оба эти царя были предметом порицания, а не восторга, а народное сознание, фольклор, решительно осудили первого как злодея, второго как антихриста. Что Пётр I *разрушал* русский быт, обычаи, сознание, национальный характер, подавлял религию (и встречал народные бунты) — это лежит на поверхности, это всем известно.

Неужели это исконная русская традиция: коммунистическая подрывная деятельность во всём мире, система экономического саботажа, идеологического разложения, террора и восстаний? Горячая сегодня среднеазиатская точка даёт нам понять разницу. Да, бухарский эмир (не Афганистан) был захвачен Россией — в том XIX

веке, когда и все демократические страны Европы с моральной лёгкостью позволяли себе любые завоевания. (И Англия пыталась, но не сумела, взять Афганистан.) Мне горько и стыдно, что и моя страна участвовала в общеевропейском насильственном покорении слабых народов. Но за 50 лет российского протектората в Средней Азии был мир: не подавлялась религия, быт, личная свобода — и не было движения к восстаниям. А едва захватил власть Ленин, — он с 1921 года готовил, под видом „революционной федерации“, захват Турции, Персии и Афганистана. А с 1922 в Хивинской и Бухарской областях в ответ на методы коммунистов вспыхнула мусульманская повстанческая война, как сегодня в Афганистане, и продолжалась 10 лет, и подавлена уже при Сталине безмерными расправами над населением. Вот чья „традиция“ — вторжение в Афганистан.

Справка Таккера (поддержанная и Далиным), что слово „сталинизм“ изобретено в 20-х годах троцкистской фракцией в борьбе со Сталиным, — мне конечно известна. Но называть сегодня „сталинизмом“ осуществлённую 25-летнюю эпоху гигантского коммунистического государства — значит отвлекаясь прикрывать непримиримую античеловеческую сущность коммунизма — главную угрозу сегодняшнему миру.

Оттого, что коммунизм — явление интернациональное, значит ли, что вовсе исключаются какие-либо его национальные признаки или обстоятельства? Не совсем, ибо коммунизму приходится действовать на живой земле, в среде конкретного народа и поневоле пользоваться его языком (для своих целей калеча его). В Китае преследуют стенные плакаты, а в СССР — самиздат. Русское городское население насильственно выгоняют работать на картофельные поля, а кубинское — на сахарный тростник. В СССР уничтожали население ссылкой в тундру, а в Камбодже — в джунгли. В Югославии провели манёвр одним способом: Тито поспешно совершил массовые убийства 1945 года, — а затем притворился барашком, чтобы получить западную помощь. А Чаушеску виртуозно достиг доли внешнеполитической независимости, — но укрепленим внутреннего тоталитарного духа выше 100%. По восточногерманскому коммунизму ясно, что страна не должна

объединяться, а по северокорейскому так же ясно, что должна. (Не знаю, откуда взял Далин, что по моему мнению всякий итальянец, голосующий за коммунистов, или всякий узбек, принудительно вовлечённый в партию, теряют свою национальность? У меня сказано: „люди, отдавшие себя коммунистическому руководству, уходят душой от своей нации и от человечества вообще“, — и профессор Далин мог бы не делать этого ошибочного переноса. „В ряде случаев коммунизм служит инструментом для развития национальных движений или интересов“, — уверяет Далин, и так действительно думали в Штатах относительно Северного Вьетнама. Но теперь-то, кажется, разуверились? Теперь-то всем ясно, что ни в Эстонии, ни в Польше, ни в Монголии и нигде никогда коммунизм не служил национальным интересам?) В дополнение к коммунистической пропаганде — отчего не использовать ловко ещё и национальную? — этим коммунистические правительства не брезгуют. Но значит ли это, что „коммунизм во всех странах разный“? Нет, он во всех одинаковый: везде тоталитарный, везде с подавлением личности, совести, и даже уничтожением жизни, везде с идеологическим террором и везде агрессивный: конечная цель мирового коммунизма, всех видов коммунизма — захватить всю планету, в том числе и Америку. Можно понять кремленологическую кастовую обиду профессора Далина, что так неприятно упрощается проблема, хотелось бы видеть более тонкие градации в увлечённости вождей идеологией, — но идеология влечёт их помимо личных убеждений, — например, бессмысленно и неудержимо влечёт на мировой захват, не нужный им самим лично: как в фанатизме захватывают они Анголу, Абиссинию, Афганистан. Плохую услугу оказывают американской политике те, кто предлагают играть на „тонких вариациях“ между разными коммунизмами.

Меня пытаются опровергнуть моим личным опытом: вот как заметно развивается коммунизм: при Сталине Солженицын сидел в тюрьме, при Хрущёве — напечатали „Ивана Денисовича“, а при Брежневе — выслали. Удобный бродячий сюжет, он кочует из статьи в статью, прикочевал и к Таккеру! — потому ли, что не могут найти другого за 63 года благодетельного примера, чем „Иван Денисович“? (А не появись „Иван Денисович“ — ещё лучше:



или вовсе не было при коммунизме лагерей, или русский народ не способен сам о них сказать.) Но пример Хрущёва — это то самое исключение, которое ещё строже подтверждает правило: из всех коммунистических правителей он единственный был свергнут внутренними партийными силами именно за то, что он единственный иногда оступался от коммунистической догмы в сторону человечности, уж Ленин-Троцкий-Свердлов-Сталин-Молотов-Брежнев в сторону человечности никогда не делали ни шагу. Но и Хрущёв был верен марксизму в его главном сатанинском стержне: в истребительной ненависти к религии.

Тактические манёвры у коммунизма можно найти и покрупней, чем „Иван Денисович”, — НЭП, обманное „восстановление” понятия родины и церкви Сталиным, „борьба за мир” во времена американской ядерной монополии, „пусть цветут сто цветов”, „мирное сосуществование”, даже уход из Австрии, теперь „разрядка”, — но это всё показывает не изменение природы коммунизма, а его маневренную гибкость и беспощадность.

Полемизируя со мной, Таккер — да и Далин — избежали кардинального вопроса, а жаль: коммунизм („чистый”, марксистский) — зло или нет? Способен он „подобреть и излечиться”? Угрожает он, как удав, удушением всему остальному миру, или нет?

От этого вопроса Таккер уклонился. Зато он спешит предупредить мир о несравненно большей опасности: „остро-злокачественной форме национализма”, которая „прорастает” разгромленный, обезглавленный, в порошок истёртый, при последних вздохах своей жизни русский народ.

### 3

Плодоносность политической теории определяется её практическими результатами. Теория о том, что коммунизм есть явление по своей природе национальное русское, что коммунизм и русский народ едины и надо воевать против них соединённо, есть не только повторение обезумелой гитлеровской тактики, которая в самой себе несёт поражение. Но она и в других отношениях питает иллюзиями вме-

сто реальности: она заставляет видеть в нынешнем коммунистическом СССР наследника прежней России, а значит „нормальное” государство, которое стремится к обеспечению интересов своих и своего населения, — а потому с ним можно действовать традиционно, вступать в разумные переговоры, договоры, компромиссы, делить сферы влияния. А это с о в с е м н е т а к: никакое коммунистическое государство не заботится об интересах своего населения, и не зависит от его мнения, — и готово хоть полностью этим населением пожертвовать, чтобы достичь интернациональной победы. (Может быть, это виднее поблизости, на примере Кубы.) Поэтому с коммунизмом невозможен никакой реальный компромисс, его невозможно ни задобрить, ни подкупить, ни умиротворить, — и вереницей уступок западный мир лишь ухудшает своё положение. Советская держава отнюдь не преследует своей государственной выгоды, советские народы только страдают от бесконечной мировой агрессии и растраты капиталов и людских жизней по всем материкам, — но ничто, ни даже личность правителей не может остановить свойства коммунизма расширяться. Для коммунистических стран нетерпимо само существование на Земле других стран с преимуществами экономики или свободы, невыносим этот завидный для населения пример другой жизни, — такие страны необходимо подавить и завоевать. Коммунизма нельзя объяснить на дипломатическом, юридическом, экономическом языках.

Но самый большой успех, достигнутый коммунизмом, — даже не военный, а пропагандный: что остальной мир верит в его смягчение и в „хорошие” варианты коммунизма. Что западный мир послушно принимает даже язык коммунизма: называет тиранические режимы Восточной Европы — „народными демократиями”, подрывную войну по расшатыванию Запада изнутри — „разрядкой”. В первые месяцы коммунистической Камбоджи по тону из Пномпеня иные западные газеты попугайски называли начавшийся там геноцид — „крестьянской революцией”. Да советские агенты имеют свободу даже на страницах крупнейших американских газет высмеивать, что никакой советской агрессии не существует вовсе, расслаблять американцев ложью, что коммунизм — не интернационален и никому не угрожает. Напротив, западная чи-

тающая масса уже и поверить не может, что в Советском Союзе и в Китае — посегодня всеобщее недоедание и нет главных товаров для населения, во многих снабжение по карточкам, — а считает это „пропагандой” врагов коммунизма. 35 лет идёт реальная война, вереница западных отступлений, отдано более 20 стран, — а на Западе все согласно называют эту Третью Мировую войну — „мирным сосуществованием”. Меняются президенты, государственные секретари, эксперты Белого дома и Госдепартамента, а новых идей нет, идеи всё те же: проводить всё более „тонкие различия” между разными коммунизмами, группировками их и лидерами, и балансировать на них, — то есть неуклонно сползать в пропасть ступенями уступок и капитуляций. (И ещё следующие, быть может, зреют сегодня в Государственном департаменте.) Теперь мы слышим настойчивую „новую” идею: предупреждают бояться не того давящего катка, который прокатал уже полчеловечества и скоро прокатает вторую, — но бояться возрождения национальной России к своему излечению.

Новых идей нет. Мудрено им и вспыхнуть в самодовольной секулярности, замкнутой сама на себя.

Теория тонких различий в разных коммунизмах (или, по Далину: „значительных вариаций внутри коммунизма”, „вариаций, градаций и перемен”, „более дифференцированного и сбалансированного понимания”, „искусного подхода”) в вопросах более крупных, чем продажа партии товара, мало сказать бесполезна, — она для Запада губительна. Перед лицом всеуничтожающей мировой силы, нависающей уже над самою Америкой, предлагается: верить, что коммунизм вдруг переменится к доброму и откажется от агрессии; что существуют „миролюбивые советские руководители” (особенно — Брежнев); что есть принципиальные расхождения в Политбюро; что сменится их поколение — и всё смягчится... Надеяться, что коммунистические правительства Восточной Европы или Азии вдруг выйдут из повиновения Москве (пример Албании или Северной Кореи не слишком укрепил Запад, пример Румынии не принёс добра её народу), и для того подкупать их торговыми льготами (облегчая финансовое бремя СССР). Что расколется европейское коммунистическое движение (не слишком долго французская компартия играла в само-

стоятельность, и все компартии в момент оккупации готовно предоставят кадры для управления своими странами). Что вьетнамский, кубинский, ангольский, абиссинский и другие рассыпаемые по земле метастазные коммунизмы будут проводить свою национальную политику и охотно дружить с Соединёнными Штатами. Что коммунистическое движение увянет в исламе.

В цепи этих несбыточных надежд пока не осуществилась ни одна, кроме советско-китайского раскола, на котором и строятся теперь надежды и планы Соединённых Штатов. Уж Китай — мыслится, как будто это и вовсе не коммунистическая страна, как будто там нет тоталитарного угнетения своего миллиарда людей. А Китай — как Советский Союз в 30-е годы — остро нуждается в западной технической помощи и для того старается изобразить собой приличное государство. Но в глубинах Китая, для народа, поддерживается прежняя неприязнь к Америке и отвращение к американскому образу жизни, — и поворот против Соединённых Штатов будет для властей осуществим в одну ночь. Да даже и сегодня, твёрдый во внешних действиях, как всякий коммунизм, Китай уже потребовал снять защиту с Тайваня, а вот и предложил американцам убираться из Южной Кореи. Придёт время, Китай взвесит: стоит ли ему сталкиваться с СССР, а не выгодней ли сговориться? (Нынешняя отмена культа Мао в Китае — уже шаг в этом направлении.) И в отношении Китая просчёт американской дипломатии всё тот же: его рассматривают как „нормальное” государство, а это только — корпус коммунистической агрессии, для которой сегодня просто ещё нет сил.

35 лет Соединённые Штаты и весь Запад идут дорогою добровольных поражений — треть столетия! это движение уже исторических масштабов, и оно не пройдёт даром. Соединённые Штаты начинали это отступление ещё при подавляющем превосходстве своих сил, а сегодня в Вашингтоне спохватились, что баланс мировых военных сил — уже против Запада, перевес весов пропустили по благодущию и самодовольству. Если не устояли тогда, — то теперь устоять труднее. Нагонять — труднее. Но самая большая слабость — не военная, а психологическая. От молодых людей-призывников и до руководителей государства все

надеются на хороший исход и робеют принять самоотверженные и смелые решения, — до тех пор, пока это станет уже поздно: когда придётся биться за собственную территорию. Запад морально не готов к конфликту и борьбе, не готов дать себе отчёт, как далеко, если не бесповоротно, зашла опасность. Запад всё питает надежды на ложную „разрядку” — наиболее удобную форму затяжной победоносной войны для СССР. Советские вожди и предпочитают захватывать все мировые позиции именно в форме „разрядки”, терроризма и государственных переворотов, — зачем им всеобщая война, особенно атомная? (Атомная война, я думаю, уже исключается — к счастью для человечества — из обоюдной стратегии: советские вожди становятся основательно уверенными, что завоюют мир и без неё, а Запад морально не сможет применить атомное оружие первым, — да и что такое был бы западный атомный „успех”? уничтожение не столько своих действенных врагов, сколько потенциальных союзников — поработщённых народов.) Под видом „разрядки” Западу ещё удаётся оттягивать прямое столкновение, но с тем, что оно произойдёт в обстановке куда более тяжёлой для Запада. Скоро Соединённые Штаты узнают горячей и свою близкую южную границу: уже и так 20 лет прямо в американский живот наставлен кубинский пистолет. Теперь Соединённые Штаты ещё немного помогут, как уже и делается, никарагуанским коммунистам и панамским революционерам, — уже палач Кастро похвалил их за это, — и Южный фронт против Соединённых Штатов будет готов. Кубинский пистолет, 20 лет беспрепятственно наставленный на Америку, каждый день демонстрирует миру и унижение американских принципов и степень американской слабости. Сегоднешняя американская внешняя политика — утлое, робкое лавирование, угождение и задабривание возможных врагов. (Но не поможет оно ни в Зимбабве, ни в Анголе, ни в Никарагуа, и атомное снабжение Индии не отвернёт её от СССР, пустой лотерейный номер.) И даже те, кто предлагают твёрдую позицию относительно коммунизма, удерживают иллюзию, что коммунизм можно обратить к внутренним демократическим реформам. Всерьёз — никогда.

Только если признать неотвратимость мировой опас-

ности, интернациональность коммунистической задачи от самого начала, понять, что решающего конфликта с коммунизмом западному миру избежать не удастся и уже откладывать осталось недолго, — только в этом случае Запад способен будет перейти к открыто-принципиальной и гордой защите свободы во всём мире — от Кубы до Тибета, до Волги и до Берлина, а не сделок с угнетателями. Только внятия в тотальную непримиримость коммунизма даёт единственную трезвую надежду на спасение человечества при стольких уже загубленных и сданных позициях. Зрение состоит в том, что в с е народы, поработанные коммунизмом, от кубинского под вашим боком и до русского в противоположном бастионе, суть жертвы коммунизма и враги коммунизма, а потому — естественные ваши союзники. Запад так чуток к пожеланиям народов Третьего мира — и так глух к чаяниям народов коммунистических стран.

Единственная и глубокая политика Соединённых Штатов может состоять не в заигрывании с каждым переворотчиком в шатко-нейтральной стране, не в угождении каждому советскому эмиссару, который представляет не население, а свою правящую клику, не в игольчатом балансировании между мнимо соперничающими коммунистическими фракциями, — но: открыто стать на сторону всех поработанных народов против поработившего их всемирного коммунизма. Открыть пропагандное наступление такой же силы и проницательности, как 60 лет ведут коммунисты против вас, и не трепетать, что в ответ будет браниться лживая „Правда“. В моей статье я и поражался, как бездумно отбросил Запад мощную невоенную силу эфира, зажигающий эффект которой в коммунистической мгле даже не может вообразить западное сознание. Так можно установить прямой контакт с подневольными народами и способствовать росту их самосознания и высвобождения. (Радиостанции и телестанции Запада в их сегодняшнем виде совсем не готовы к такой роли. А, например, „русская секция“ радиостанции „Свобода“, несмотря на многолетнюю работу, из-за своей принципиальной чужести и даже враждебности русскому национальному сознанию катастрофически утерьяла контакт с русским населением и русскими интересами.) Для всего этого нужна крутая ломка

традиционной межгосударственной „вежливости”, но коммунисты давно её растоптали, да и в Тегеране мы видели цену ей.

Для спасения Запада из сегодняшнего положения нужно вырваться из рутинного процесса, нужны смелые решения выдающихся руководителей.

Я мог бы и не спешить со всеми этими аргументами. Уже становится ясно, что ни одна моя статья, ни десять моих статей, ни десятеро таких, как я, — не посильны перенести Западу наш кровавый выстраданный опыт и даже нарушить тот эвфорический комфорт, который царит в американской политической науке. Я мог бы не спешить, — потому что уже на пороге те события, которые сами бесповоротно откроют Западу его просчёты.

Июль 1980

Вермонт





**Нобелевская лекция** — По статуту нобелевских премий выражается пожелание, чтобы лауреат в один из дней, ближайших к церемонии, прочёл лекцию по своему предмету. Жанр и состав лекций — не определён. Поездка автора в Стокгольм в 1970 году не состоялась. Лекция написана в конце 1971–начале 1972 в Ильинском, под Москвой, к ожидаемому вручению премии в Москве, в частных условиях, учёным секретарём Шведской академии Карлом Рагнарсом Гировым. Однако советские власти отказали ему в визе, и церемония не состоялась. Текст лекции был тайно переслан в Швецию и там напечатан в 1972 году на русском, шведском и английском языках в официальном сборнике Нобелевского комитета „*Les prix Nobel en 1971*”. Тогда же лекция разошлась в Самиздате в СССР. Многократно издана по-русски и на европейских языках.

**На возврате дыхания и сознания** — История написания и выхода в гласность изложена перед самою статьёй. Четыре года статья была без движения, и оно определилось только после того, как возникла идея публицистического сборника группы авторов „Из-под глыб”.

**Раскаяние и самоограничение** — Статья писалась для сборника „Из-под глыб” в течении 1972 и 1973. Вышла из обдумывания русского и советского опыта и питалась спором с возникшими тогда течениями в Самиздате и в эмигрантских публикациях авторов из СССР (Вестник РСХД, № 97). Статья закончена незадолго до высылки автора за границу.

**Образованщина** — Основана на опыте общения с интеллигенцией разных советских десятилетий — от старой технической в 20-х годах до разных слоёв провинциальной и столичной в 60-х-70-х. Закончена в самые последние дни перед высылкой автора из Советского Союза — последнее, что написано на родине.

Высылка автора задержала окончание всех работ над сборником, затруднила общение составителей и вместо намеченной прежде весны 1974 сборник вышел лишь в ноябре 1974. Он был объявлен одновременно по обе стороны границы, в Москве и в Цюрихе, одновременно начал свою жизнь в Самиздате и опубликован в Париже в изд-ве YMCA-press в 1974, где все три статьи и напечатаны впервые по-русски. В 1975 сборник был издан во Франции, США, Англии и Западной Германии.

**Письмо Патриарху** — Толчком к нему послужило рождественское послание пастве Патриарха Пимена, где он призывал русские эмигрантские семьи сохранять веру детей в Бога, но к семьям в метрополии такого призыва не было. Окончено на Великом посту, на 4-й неделе его, в марте 1972, послано Патриарху почтой. Вскоре пушено в Самиздат. С конца марта стало широко публиковаться русской эмигрантской и западной печатью.

**Мир и насилие** — Статья написана в Фирсановке (под Москвой) летом 1973. Эти мысли родились под многолетним давлением советской ложной трактовки понятия „мира“, которая в начале 70-х годов наивно, беспечно и широко принималась Западом. В сентябре предложена газете *Le Monde* через её московского корреспондента. Отвергнута. Тогда передана в Норвегию, где и напечатана в газете *Aftenposten* (11. 9. 1973). Сразу вслед опубликована по-английски (*New York Times*, 15. 9. 73), по-немецки (*Neue Zürcher Zeitung*, 16. 9. 73) и по-русски в ряде эмигрантских изданий. Практическая цель её была — выдвинуть кандидатуру академика Сахарова на награждение Нобелевской премией мира. Первое книжное издание по-русски (с сокращениями) — изд-во „Посев“, Франкфурт, 1974, сборник публицистических статей и выступлений автора под общим названием „Мир и насилие“.

**Письмо вождям Советского Союза** — Написано в августе 1973 в Рождестве-на-Истье. Форма „письма“ не была жанровым приёмом, но реальной попыткой обратить внимание властей на неизбежность народной катастрофы при существующих методах управления. Послано в ЦК КПСС 5 сентября. Никакой реакции властей ни в каком виде не было. В январе 1974 отправлено для публикации за границу. Напечатано на многих европейских языках, в газетах, журналах и отдельными изданиями. Первое русское издание — УМСА-press, Париж, 1974. Первое иностранное — *The Sunday Times*, Лондон, 3. 3. 1974.

**Жить не по лжи** — Это воззвание готовилось в ходе 1972 и 1973 годов и первоначально было задумано как призыв к кампании идеологического неповиновения (вместо гражданского неповиновения). Затем эта задача была снята как преждевременная, воззвание приобрело форму более личного обращения. Было готово к сентябрю 1973, и предполагалось публиковать его одновременно с „Письмом вождям“. При обострении обстановки с января 1974, после публикации „Архипелага“, заложено в несколько тайных мест с уговором — пускать через сутки после ареста автора, не ожидая более никакого подтверждения. Так и произошло 13 февраля 1974. Распространялось в Самиздате и включено в самиздатский сборник

„Жить не по лжи” (впоследствии изданный в Париже — YMCA-press, 1975). Впервые опубликовано в Daily Express, Лондон, 18. 2. 1974. Вслед за тем — неоднократно по-русски и на многих европейских языках.

**Слово при получении премии „Золотое клише”** — Написано в мае 1974 в горах близ Цюриха (Штерненберг). „Золотое клише” — премия союза итальянских журналистов, присуждённая автору за его предыдущую деятельность в СССР. Для вручения премии 31 мая в Цюрих прибыла большая делегация итальянских журналистов и корреспондентов. Перед ними и была произнесена эта короткая речь. В ней автор хотел выйти за пределы ожидаемого от него политического заявления, но посмотреть на Восток и Запад совокупно, сколько это позволяло короткое пребывание на Западе. В 1974 вышли итальянский, немецкий и французский переводы. Первое русское книжное издание — „Посев”, Франкфурт, 1974, сб. „Мир и насилие”.

**Собору Зарубежной Русской Церкви** — Написано в июле-августе 1974 в ответ на приглашение Синода Зарубежной Русской Церкви приехать на Собор в Соединённые Штаты, — взамен приезда. После атмосферы советских гонений Церкви и стояния в ней верующих вызывал тяжёлое недоумение юрисдикционный раскол церквей русской эмиграции. Это и стало главным тоном письма. Прочтено на одном из заседаний Собора (Джорданвилль, сентябрь 1974). Первая журнальная публикация по-русски — в „Вестнике РХД”, № 112-113, 1974.

**Сахаров и критика „Письма вождям”** — Ответ на критическую статью А. Д. Сахарова по поводу „Письма вождям”, опубликованную на Западе в апреле 1974. Ответ был отложен до появления осенью 1974 сборника „Из-под глыб”, где выяснялись те же кардинальные вопросы. Но и после того мог быть дан лишь краткий и неполный, из-за неравного положения авторов в отношении советской государственной власти. Сахаров этой дискуссии не продолжал. По-русски ответ опубликован в 1975 году, в журнале „Континент” № 2. Вышел в переводах (вместе со статьёй Сахарова) в иностранных изданиях „Континента”.

**Слово на Нобелевской церемонии** — Обязательное ответное слово каждого нобелевского лауреата на банкете после вручения премии. По сути — уже второе для такой церемонии, первое посылалось в 1970 из СССР и было прочтено в отсутствие автора. Опубликовано на русском (не вполне точно) и английском языках в официальном

сборнике Нобелевского комитета „Les prix Nobel en 1974”, Стокгольм, 1975.

**Третья Мировая?..** — Статья написана 28 апреля 1975 во время перелёта из Европы в Северную Америку. Изложенные мысли зрели давно, но подтолкнула их окончательная развязка во Вьетнаме. Первая публикация — по-французски, в газете Le Monde (31.5.1975), затем по-английски, в New York Times (22.6.1975). Первая журнальная публикация по-русски — „Вестник РХД”, № 115, 1975.

**Речь в Вашингтоне** — Профсоюзы АФТ-КПП приглашали автора выступить в Соединённых Штатах тотчас по высылке его из СССР в 1974, но тогда он не был готов ехать в Америку. Поездка состоялась в 1975, в ходе её последовало вторичное приглашение. В поездке по штатам и подготовлены эти речи.

Произнесена, по тезисам, 30 июня 1975 в отеле Хилтон перед 2 тысячами участников съезда АФТ-КПП. Перед выступлением на подиум поднялись долгий узник ГУЛАГа американец Александр Долгун и недавно освобождённый (перед тем выданный советским властям американской береговой охраной и заточённый в СССР) литовец Симас Кудирка.

Речи А. Солженицына было предпослано вступительное слово многолетнего председателя профсоюзов Джорджа Мини:

*... сегодня, в этот грозный час человеческой истории, когда силы, вступающие против свободы человеческого духа, стали более мощными, более жестокими, более смертоносными, чем когда-либо раньше, тот человек, который выше всех поднял светоч свободы, — не возглавляет государства, не командует армией и не руководит движением, доступным нашему взору.*

*Но движение есть, — сокрытое движение людей, у которых нет кабинетов и нет штаб-квартир, которые не представлены в просторных залах, где встречаются нации, которые ежедневно страдают за право свободы слова, за право думать, за право быть самим собой, и рискуют больше, чем любой из нас за всю свою жизнь.*

*Где же члены этого сокрытого движения? В то время как мы сегодня вечером готовимся почтить среди нас одного из них, давайте подумаем об остальных: о миллионах, томлящихся в советских лагерях рабского труда; о бесчисленных тысячах, одурманенных и сидящих в смиренных рубашках в так называемых „психических лечебницах”; о массах бессловесных рабочих, которые заняты рабским трудом на фабриках, управляемых комиссарами; о всех тех, кто пытается услышать частицы и обрывки правды на глушистых радиоволнах запрещённых передач, и кто, в тени тирании, записывает и передаёт из рук в руки запретные мысли.*

*Но даже если они остаются для нас невидимыми, теперь мы можем их услышать: из-под гнёта притеснений вырвался голос, который должен быть услышан, и ему в этом отказано не будет.*

*Мы прислушиваемся к этому голосу не потому, что он говорит за*

*левых или за правых, или за какую-либо фракцию, а потому, что он бесстрашно бросает правду в зубы тоталитарной власти. Насколько легче и удобнее было бы подчиниться и принять ложь, которой эта власть живёт!*

*В чём сила этого голоса? Как он проник к нам, в то время как другие голоса были заглушены? Его сила — в искусстве.*

*Александр Солженицын — не крестоносец, не политический деятель, не генерал. Он — художник.*

*Искусство Солженицына — озаряет правду. В известном смысле оно — подрывное: оно подрывает лицемерие, подрывает обман, подрывает Великую Ложь.*

*... Его искусство — исключительный дар. Его не передать другому. Но давайте помолимся, чтобы отвага его была заражительна. ...*

**Речь в Нью-Йорке** — Произнесена, по тезисам, 9 июля 1975 в отеле „Американа“ перед представителями АФТ-КПП.

**Речь на приёме в Сенате США** — Прочтена 15 июля 1975 в зале приёмов Конгресса США по приглашению группы сенаторов.

Все три речи многократно издавались по-английски, в США и Англии, вышли отдельными изданиями во Франции и Западной Германии, опубликованы (первые две) в специальных выпусках журнала АФТ-КПП „Новости свободных профсоюзов“ на одиннадцати языках. По-русски печатались в США и Европе в русских периодических изданиях и вышли отдельной книжкой („Американские речи“, УМСА-press, Париж, 1975).

**Выступление по английскому радио** — Написано по предложению BBC как получасовая лекция по радио, в связи с поездкой автора в Англию в 1976. Передавалась по внутреннему британскому радиовещанию (BBC-Radio 3) 24 марта 1976. Полный английский текст впервые опубликован в Times (Лондон, 2.4.1976), затем в публицистических сборниках автора в Англии и США. По-русски — „Вестник РХД“, № 117, 1976.

**Слово на приёме в Гуверовском институте** — Написано в Пало Альто в мае 1976, при работе в Гуверовском институте Войны, Революции и Мира (Стэнфорд, Калифорния). Вызвана всё более обнаруживаемым непониманием в американской научной и общественной среде проблемы России и СССР, искажённым представлением о русской истории. По-английски опубликовано Гуверовским институтом в книге „Solzhenitsyn speaks at the Hoover Institution...“ (May-June 1976) и в Russian Review, vol. 36, n. 2, 1977. По-русски — в „Вестнике РХД“, № 118, 1976.

Слово при получении премии „Фонда Свободы” — „Фонд Свободы” (Freedoms Foundation at Valley Forge) — американская общественная патриотическая организация. Представители Фонда приехали для вручения награды (American Friendship Medal) в Гуверовский институт, где и прочтена была эта короткая ответная речь (1.6.1976). По-английски напечатана в книге „Solzhenitsyn speaks at the Hoover Institution...” (May-June 1976), по-русски — в „Вестнике РХД”, № 118, 1976.

Речь в Гарварде — Ежегодно на годичный выпускной акт Гарвардского университета собираются его устроители — выпускники предыдущих десятилетий. Их ассоциация приглашает одного оратора произнести после выпускного акта речь. В 1978 таким оратором был приглашён А. Солженицын.

Речь написана в мае 1978 в Вермонте. Хотя она посвящена более Западу, но исходит из общего взгляда на Запад и Восток, взятые не в политической плоскости, но в свете общего мирового духовного кризиса. На университетском дворе присутствовало 20 тысяч человек. Одновременно речь транслировалась американским телевидением. Широко цитировалась множеством американских газет и журналов, вызвала бурную дискуссию. Полный английский текст напечатан в Harvard Magazine (Июль-Август 1978) и в Times (Лондон, 26.7.1978), в том же году вышел отдельной книгой („A World Split Apart”, Harper & Row, 1978); речь опубликована во многих странах мира; по-русски напечатана в четырёх эмигрантских журналах (см., например, „Вестник РХД”, № 125, 1978).

Коммунизм: у всех на виду — и не понят — Статья написана в январе 1980 по заказу журнала Time на тему, которой автор касался и раньше: о проблеме „Россия — СССР” и о природе коммунизма. Статья была попыткой обратиться к самой широкой аудитории. Писалась одновременно с последующей пространной статьёй для специального круга и является сжатым вариантом некоторых её мест. По-английски в журнале Time (Feb. 18, 1980) ещё немного сокращена по издательским условиям; опубликована в нескольких странах Европы. По-русски — первая журнальная публикация в „Вестнике РХД”, № 130, 1980.

Чем грозит Америке плохое понимание России — Статья написана для журнала Foreign Affairs. Начата в ноябре 1979, под влиянием участвовавших искажений русской проблемы, затем отставлена. В январе 1980, после советской оккупации Афганистана и перед нарастающими мировыми угрозами, жестокие ошибки распространённого западного взгляда стали особенно опасны, — и статья была

закончена в январе же. По-английски напечатана в журнале *Foreign Affairs* (Vol. 58, No. 4, Spring 1980) и вышла отдельным изданием в июне 1980 („The Mortal Danger", Harper & Row). Вышла отдельными изданиями во Франции и в Западной Германии. По-русски первая журнальная публикация в „Вестнике РХД", № 131, 1980.

**Иметь мужество видеть** — Предыдущая статья вызвала на страницах *Foreign Affairs* оживлённую дискуссию (в летнем и осеннем выпусках журнала), что вынудило автора продолжить изложение своих взглядов. По-английски напечатана в *Foreign Affairs*, Vol. 59, No. 1, Fall 1980. По-русски — „Вестник РХД", № 132, 1980.

# С О Д Е Р Ж А Н И Е

## В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ (1969 — 1974)

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Нобелевская лекция                                              | 7   |
| На возврате дыхания и сознания                                  | 24  |
| Раскаяние и самоограничение<br>как категории национальной жизни | 45  |
| Образованщина                                                   | 79  |
| Письмо Патриарху                                                | 120 |
| Мир и насилие                                                   | 125 |
| Письмо вождям Советского Союза                                  | 134 |
| Жить не по лжи!                                                 | 168 |

## НА ЗАПАДЕ (1974 — 1980)

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Слово при получении премии „Золотое клише”              | 175 |
| Собору Зарубежной Русской Церкви                        | 179 |
| Сахаров и критика „Письма вождям”                       | 193 |
| Слово на Нобелевской церемонии                          | 201 |
| Третья Мировая?..                                       | 203 |
| Речь в Вашингтоне<br>перед деятелями профсоюзов АФТ-КПП | 206 |
| Речь в Нью-Йорке<br>перед деятелями профсоюзов АФТ-КПП  | 231 |
| Речь на приёме в Сенате США                             | 252 |
| Выступление по английскому радио                        | 256 |
| Слово на приёме в Гуверовском институте                 | 269 |
| Слово при получении премии „Фонда Свободы”              | 276 |
| Речь в Гарварде                                         | 280 |
| Коммунизм: у всех на виду — и не понят                  | 298 |
| Чем грозит Америке плохое понимание России              | 305 |
| Иметь мужество видеть                                   | 345 |



**ACHEVÉ D'IMPRIMER  
EN JUIN 1989  
PAR L'IMPRIMERIE  
DE LA MANUTENTION  
A MAYENNE  
N° 141-89**



ISBN 2-85065-160-5